

СОДЕРЖАНИЕ:**КЛАССИКА**

- Георгий ИВАНОВ.** «Настанут холода...», «Зима идет своим порядком...», «Как древняя ликующая слава...», «Мы из каменных глыб создаем города...», «Мы живем на круглой или плоской...», «Я научился понемногу...» 3

ПОЭЗИЯ

- Борис ОРЛОВ.** «Что за народ – святая простота...», «Горнист – в дурдоме, умер барабанщик...», «А ну, ответьте: кто там на коне?..» 4
- Сергей НИКОЛАЕВ.** 21. ЭТЮД, 26. НОЧЬ, 80. ЖЕЛЕЗНЫЙ СУНДУК 4
- Александр САМОХИН.** «Природа молчалива и мудра...», ОКТЯБРЬСКИЕ МОТИВЫ 5

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

- Вячеслав ОВСЯННИКОВ.** ЗАГИНАЙЛО. (Отрывок из повести) 5
- Людмила БУБНОВА.** В ЧУВСТВИТЕЛЬНОМ ЖЕНСКОМ КРУГУ. (Окончание романа) 14
- Ольга АНИСИМОВА.** НЕПРИКАЯННАЯ ДУША. Повесть. (Окончание) 52

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

- Виталий ДМИТРИЕВ.** «Мелодии горькая завязь...», «Захлестнуло с головою...», «Похмелье затянулось, господа...», «Вот город, в котором давным-давно...», «Захлебнешься встречным ветром...», «История, как правило, не лжет...», «Что видит младенец, внесенный во храм?..», «Спелая ветка спружинит под тяжестью птицы...», «Костей дорогих, этих ребер, ключиц, черепов...», «Ночью в подъезде, где лампочки то ли разбили...», «До бетонной плиты доплыву и нырну...» 61
- Бахыт КЕНЖЕЕВ.** «В подметной тьме, за устричными створками...», «Смеется, дразнится, шустрит, к закату клонится...», «Утром воскресным под звон крутобедрых колоколов...», «Так долга и необратима, так требовательна, и все-таки выкрикнуть «каюсь!», «Да, у времени есть расщелины, выход для родниковой тоски...», «Одинокое облако по небу не спеша уплывает – домой...» 64
- Евгений ЛИНОВ.** «Когда я жил в стране великого подтекста...», «Как говорят теперь – мне жаловаться "влом"...», «Прохожу в арку с Невского...», АЛЛЮЗИОН, «Возвращение не лучший способ понять...», «Лгать, верить самому в легенду, миф, парить...», «Нету сил отрубить. Похотливость Орды Золотой...», «Вот, приснится такое: все же запряжены...» 66
- Татьяна СЕМЁНОВА.** «Я долго буду привыкать...», «Если долго мечтать, то мечта воплотится...», СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС, «Берег, выгнувший спину...», «Десять окон глядят вокруг...», «Ждала, как Иосифа Мут-э-Менэт...», «Мои друзья – небритые мужчины...», «Сердечностью старшего брата...», «Мне мало глаз для слёз...» 67
- Наталья ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА.** «А поезд грохочет над темной широкой рекой...» «В истлевших пальцах – призрачная роза...», «В Мариенбурге не сойдемся никогда...», «Город, отмеченный литературой...», «Дом расселен и пойдет на слом...», КУТЕЖ В ДУХЕ ПИРОСМАНИ 68

ВЕРНИСАЖ

- Л.Е.Н.** СОЛО ДЛЯ КИСТИ В НЕБЕСНОМ СВЕЧЕНИИ 70

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

- Татьяна ДУПЛИНСКАЯ** МИХАИЛ, КНЯЗЬ БЕЛОЗЕРСКИЙ, или ВОЗВРАЩЕНИЕ АГНИИ.
Повесть о первых Ростово-Белозерских князьях 71

НЕУВЯДАЕМЫЙ СОНЕТ

- А.И. АГАТОВ.** «Спросили вы: "Как пишутся сонеты?"...»; **Михаил ГАЛЬПЕРИН.** ШАЛОСТЬ; **Андрей ЛИВЕН.** «Венчанный царь стиха – изысканный сонет...»; **Георгий СУВОРОВ.** «Хотя теперь сонеты и не в моде...»; **Николай АСТАХОВ.** СОНЕТ О СОНЕТАХ.; **Константин ГЕРАСИМОВ.** «Строго огранка – ярче слов сиянье...»; **Леонид МИСЮК.** «Четырнадцать по счету равных строк...»; **Ирина ШАБАНОВА.** «Жто остановит шествие сонета?..»; **Иван АКСЕНОВ.** СОНЕТ О СОНЕТЕ. 81
- Николай СУРАТОВ.** ВЕНОК СОНЕТОВ О ВЕНКЕ СОНЕТОВ. 83

О «ЗВЁЗДАХ»

Павел КРУСАНОВ. ГЕОРГИЙ ОРДАНОВСКИЙ: ИСТОРИЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА. Эссе. 85

ДЕТЕКТИВ, ФАНТАСТИКА

Григорий АРТЮХОВ. БРОНЗОВОЕ СЛОВО. Часть вторая. 91

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Алексей ЦВЕТКОВ. БЕГЕМОТЫ. ВЕРБЛЮД. ПОНИ. 104

Вера МАХМУДОВА. Я ХУДОЖНИК, ГДЕ ЖЕ МОСТИК?, ТРУДНЫЙ ВОПРОС, В ЭЛЕКТРИЧКЕ. 105

ГОСТИНАЯ «ИС»

Ираида ЛЁГКАЯ (США). (ЗНАКОМЫЙ ГОЛОС. РУССКИЕ ЗА РУБЕЖОМ). «Ничего нет на свете...», «Этот город фонтанов...», «Покачиваясь на грани...», Как у Красных ворот, «Я тебя не ждала не гдала...», «На перекрёстке замирая...» 106

Наталья АРТЁМЕНКОВА. (Донецк). «Знаете, Жизнь, я устала от Ваших причуд...», «Снов силуэты снуют по остывшей стене...», «Который день одно и тоже...», «Облегчаю муку расставанья...» 107

Роман НЕНАШЕВ. (Самара). «Война случится, и, положим, в среду», ИЗ ДНЕВНИКА. 108

Андрей КУХНО. (Самара) «Многим людям я нужен...», В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ, ЗАГАДКА 108

Алексей БОЛДЫРЕВ. (Павловск-Воронежский). ВЕСНА, ОН ВИДЕЛ..., ПРОСТУДА, ЗАРАЗА! 109

Снежана ХОЛОДОВА. (Беларусь). МЕТАМОРФИКА, КИБЕР. 110

Георгий РАБЗЕТ. (Санкт-Петербург). ANAMNESIS № 2, ПРОЩАНИЕ С ГОРОДКОМ КРАСНОЕ СЕЛО, НА КАНАЛЕ ГРИБОЕДОВА, ОСЕНЬ, МОСКОВСКАЯ НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ 110

Петр ОБРАЗЦОВ. (Москва) ВРАГ, ЖИЗНЬ Ё, ВЕЩЬ В СЕБЕ. Зарисовки 111

Уважаемые читатели!

Редколлегия журнала «ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ», стремясь к обогащению наших с Вами взаимоотношений, предлагает Вашему вниманию встречу с известным русским художником, петербуржцем Борисом Пономаренко, и надеется, что эта встреча окажется приятной.

Пользуясь моментом, Редакция

поздравляет Бориса с 60-летием
и желает ему здоровья и больших творческих
успехов!

ББК-84

С-18

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ № 8-2007 г.

Тираж 250 экз., из них 100 экз. – с цветными вклейками.

Главный редактор – Юрий Воропайкин

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Борис Орлов, Александр Скоков, Людмила Бубнова (проза), Виталий Дмитриев (поэзия), Татьяна Семенова (зам. главного редактора), Владислав Федотов (отв. секретарь), Григорий Артюхов.

Перепечатка разрешена только со ссылкой на журнал «Изящная словесность»

© Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России

Георгий ИВАНОВ

* * *

Настанут холода,
Осыпятся листья –
И будет льдом – вода.
Любовь моя, а ты?

И белый, белый снег
Покроет гладь ручья,
И мир лишится нег...
А ты, любовь моя?

Но с милою весной
Снега растают вновь.
Вернутся свет и зной –
А ты, моя любовь?

* * *

Зима идет своим порядком –
Опять снежок. Еще должок.
И гадко в этом мире гадком
Жевать вчерашний пирожок.

И в этом мире слишком узком,
Где все потеря и урон,
Считать себя, с чего-то, русским,
Читать стихи, считать ворон.

Разнежась, радоваться маю,
Когда растаяла зима...
О, Господи, не понимаю,
Как все мы, не сойдя с ума,

Встаем-ложимся, щеки бреем,
Гуляем или пьем-едим,
О прошлом-будущем жалеем,
А душу все не продадим.

Вот эту вянущую душку –
За гривенник, копейку, грош.
Дороговато? – За полушку.
Бери бесплатно! – Не берешь?

* * *

Как древняя ликующая слава,
Плывут и пламенеют облака,
И ангел с крепости Петра и Павла
Глядит сквозь них – в грядущие века.

Но ясен взор – и неизвестно, что там –
Какие сны, закаты, города –
На смену этим блеклым позолотам –
Какая ночь настанет навсегда!

* * *

Мы из каменных глыб создаем города,
Любим ясные мысли и точные числа,
И душе неприятно и странно, когда
Тянет ветер унылую песню без смысла.

Или море шумит. Ни надежда, ни страсть,
Все, что дорого нам, в них не сыщется ответа.
Если ты человек — отрицай эту власть,
Подчини этот хор вдохновенью поэта.

И пора бы понять, что поэт не Орфей,
На пустом побережье вздыхавший о тени,
А во фраке, с хлыстом, укротитель зверей
На залитой искусственным светом арене.

* * *

Мы живем на круглой или плоской
Маленькой планете. Пьем. Едим.
И, затягиваясь папироской,
Иногда на небо поглядим.

Поглядим, и вдруг похолодеет
Сердце неизвестно отчего.
Из пространства синего повеет
Холодом и счастьем в него.

Хочешь что-то вспомнить – нету мочи,
Тянешься – не достает рука...
Лишь ныряют в синих волнах ночи,
Как большие чайки, облака.

* * *

Я научился понемногу
Шагать со всеми – рядом, в ногу.
По пустыкам не волноваться
И правилам повиноваться.

Встают – встаю. Садятся – сяду.
Стозначный помню номер свой.
Лояльно благодарен Аду
За звездный кров над головой.



ПОЭЗИЯ

Борис ОРЛОВ

* * *

Что за народ – святая простота,
Но что ни вождь – всегда бубновой масти.
Мы ближе к дьяволу и дальше от Христа,
Чем находились при советской власти.

Банкнотами шуршат, звенят монетами...
Всё продано. Над прошлым – черный дым.
Умершим нет покоя, и поэтому
В России не найти покой живым.

* * *

Горнист – в дурдоме, умер барабанщик –
Устали жить, весь мир вокруг любя.
Вы не вините тех, кто были раньше.
За то, что есть, вините лишь себя.

Ещё шумит минувшая эпоха,
Как старый дуб. Но верхний ветер стих.

Не надо думать хорошо иль плохо
О людях – нужно разбираться в них.

Народ – творец. Не слушатель, не зритель.
Сомненьями не залатать дыру
В истории...

Умом своим живите –
Ум, что займы, не приведет к добру.

* * *

А ну ответьте: кто там на коне?
Из грязи – в князи... Расплодилось дряни.
Что будущее? Прошлого стране
Не предсказать - она опять в тумане.

В стране царит беспамятных орда.
Дела ничтожны. Воровство солидно.
Когда не видно прошлого, тогда
И будущего впереди не видно.



Сергей НИКОЛАЕВ

21. ЭТЮД

Трамвай ночной – тяжелый носорог
Газет осенних кожу разрывал,
Крыло зонта прохожий раскрывал,
Хотел взлететь над слякотью дорог.

Ах, осень Бах в кудрявом парике!
Но сдуть его, и осень лысый Вий.
В прохожем муравьишке-старике
Мне виден однокрылый Муравий.

Постой, старик, я тоже без судьбы,
Открой глаза, закурим, не робей!
Наш муравийник в полчаса ходьбы
От неба цвета мертвых голубей

26. НОЧЬ

Вползают мысли сфинксов в телефоны,
Гуляет Медный всадник без коня,
А в Летний сад осенние грифоны
Слетаются, графинами звеня.

80. ЖЕЛЕЗНЫЙ СУНДУК

От деда осталось пять лезвий
Да пара заштопанных брюк,
От деда остался железный,
Трофейный немецкий сундук.

Я часто играл в его чреве,
В тяжелой его тишине,
И страшные мысли, как черви,
Вползали в меня о войне...

Молчащий охранник на вышке,
Молчание минных полей.
А дед барабанил по крышке:
– Заснул? Вылезай поскорей!

В кошмарах сундук настигает,
Бросает железную тень,
Но дедов кулак заставляет
Поверить в сегодняшний день.



Александр САМОХИН

* * *

Природа молчалива и мудра,
А люди – недобры и говорливы:
Всё золото осеннего двора
Для них лишь труд
Несносно хлопотливый.

Вот дворник, матерясь, его метет
В сырую кучу питерских отбросов,
А клен ослабшей пятерней трясет
И никому не задает вопросов...

Не подавая дружеской руки,
Расходятся, бранясь на непогоду,
И рады лишь дворовые щенки
Спешащему к автобусам народу.

И ластятся они к ногам, скуля,
Подачки на бегу лоя усердно,
И старые вздыхают тополя
О тех, кто губит их немилосердно.

ОКТАБРЬСКИЕ МОТИВЫ

Ах, эта красная рябина
Уж не кровавит душу мне.
Накатан путь, тепла кабина
И все тревоги в стороне.

Давно в столице небумажной
Люблю я женщину одну
И домик древний, двухэтажный,
Не давший нам пойти ко дну.

Я в пятьдесят, как в двадцать, верю
Что не в обидах от невзгод,
Все перемерив, перемелет
Непостижимый мой народ.

И всех простит, и всё осилит
Назло свихнувшимся умам,
И венценосный прах России
Вернет отеческим гробам.

**СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА****Вячеслав ОВСЯННИКОВ****ЗАГИНАЙЛО***

1

Морской офицер шел по городу. Вразвалочку, медведь в черной флотской шинели. Шапка-ушанка с кокардой-крабом, белое кашне, старший лейтенант. Адрес: Лиговский проспект, дом № 145. Траурная телеграмма с вестью о смерти брата. Эта телеграмма, полученная два месяца назад, и причина его целенаправленного движения. Офицер дошел до переулочка Тюшина. То самое, желто-этажное, хрен-горчица. Обводный канал. Трамвай гремит через мост. Одна дверь – ВИНО, другая – ПОЛК ОХРАНЫ № 3. Тугая пружина – для руки геркулеса, слабосильный не войдет. Внутри стража: сержант с автоматом. В отдел кадров? Третий этаж. Офицер поморщил нос: в гальюне чище, чем в этом учреждении. На лестничной площадке третьего этажа бутылка на виду поставлена, посередине, на проходе, длинное красивое горлышко. Пустая бутылочка, вино выпито. Зачем тут стоит, черт знает. Окно на площадке разбито, зубцы торчат, острые, как ножи. Со двора несет ужасным смрадом. Черный дым и чад. Как будто там дохлых кошек жарят. Морской офицер посмотрел: что там? Дворники костер жгут. Эх какой кострище запалили!..

За его спиной раздался яростный вопль и удар ногой в дверь. На площадку вышел, изрыгая ругательства, седоусый майор милиции в форменной голубой рубашке с закатанными рукавами; он нес в руках аквариум, в котором плавали кверху брюхом дохлые рыбки. Вода, бултыхаясь, переливалась через край и мочила майору его штаны-бриджи с красным шнуром, лилась за раструб голенища ему в сапог.

– Чего тебе? – спросил майор, узрев посетителя.

– Начальник отдела кадров нужен, – заявил морской офицер.

– Я начальник отдела кадров, – буркнул майор. – Подержи.

Моряк угрюмо взял аквариум. Майор, засучив еще выше рукав рубашки и обнажив до плеча сильную, поросшую седым волосом руку, стал вылавливать дохлых длиннохвостых рыбешек в чешуйках, и одну за другой выбрасывал через разбитое стекло в колодец двора. Всех до последней. Как будто побоище.

– Отравы подсыпали! Сволочи! – майор злобно выругался. Забрал обратно стеклянный ящик с осиротелой водой. Заметив у моряка татуировку на кисти правой руки, якорь, обвитый двуглавым змеем, воскликнул, заинтересованный:

* Отрывок из остросужетной повести, изданной в книге: Вячеслав ОВСЯННИКОВ «ЗАГИНАЙЛО», АСПИН, СПб, 2006.

– Дай-ка, дай-ка! – Держа аквариум под мышкой, взял руку моряка, разглядывал. – С двумя башками впервые вижу. Всегда с одной рисуют. У нас тоже мастера есть. Похлеще, чем у вас на флоте. По татуировкам я спец. У меня альбом. Коллекционирую. Ты кто? Загинайло? Роман? Данилыч? Знаю. Запрос о тебе. У нас был Загинайло. В первом батальоне. Петр. Брат твой?

Моряк кивнул.

– Идем! – Майор ринулся в проем двери со своим аквариумом, как тараном.

Коридор-кишка. Майор впереди, Загинайло – за ним. Двери кабинетов по обеим сторонам открывались, выглядывали любопытные, остриженные под ежик лбы и тут же прятались.

– Мерзавец на мерзавце! – охарактеризовал их майор. – Подонки все до одного! Кляузы на меня каждый день строчат в Управление!

Майор остановился у двери отдела кадров, она была приоткрыта.

– Иван Кузмич идет! – раздался изнутри чей-то предостерегающий голос. – Помочь, Иван Кузмич?

– Помощнички! – рявкнул, входя, майор. Пригласил Загинайло следовать за ним.

Помещение, не сказать, обширное. Тесненько. Накурено – топор вешай. Всего тут четверо. Машинистка сержант, могучего телосложения, громздясь на высоком табурете, как орлица на скале, закрыв веки, автоматически, вслепую стучала по лязгающим клавишам. Дальше три инспектора кадров, каждый за своим столом: капитан и два лейтенанта – просто лейтенант и младший. Капитан черняв, лейтенант – рус, младший лейтенант – рыж. Все трое пили чай в граненых стаканах с подстаканниками. Они вели веселый разговор, лица лоснились. Майор-начальник грозно зыркнул на них из-под косматых бровей:

– Так. Чаек попиваем да похабными анекдотами развлекаемся! Что-то у вас подозрительно рожи сияют. Глаза как у кроликов. На десять минут нельзя оставить без присмотра.

Майор, минуя машинистку, которая все также сомнамбулически шлепала по клавишам и передвигала каретку, направился к себе в кабинет. Загинайло следом. Майор поставил аквариум на свой широкий, как пристань, двухтумбовый стол.

– Садись, – сказал он Загинайло. Сам сел напротив. Окно с решеткой. Шум проспекта.

Все требуемые документы Загинайло принес. И рекомендацию с флота.

– Ну что, морской волк, – сказал майор. – У нас ведь тут нет ни северного сияния, ни полярных-заполярных, ни мармелада, никаких таких прелестей. У нас, знаешь, другой профиль: воры, грабители, насильники, убийцы, проститутки, бандитизм. Выбирай, что твоей морской душе угодно. У нас мор на командиров взводов, везде дыры, как в космосе. Вот и залатывай. Вопиющий недокомплект на эту собачью должность. Такое уж у нас черное и неблагоприятное дело, белым оно только в бинтах, на больничных койках, да вот на бумаге. Я человек прямой и поэтому говорю тебе со всей откровенностью, чтобы ты потом не рвал себе волосы на голове, у тебя их и так не густо, плешь, как полярная льдина, больше моей, а тебе ведь еще и тридцати нет. Ну что?

– Решено. – Загинайло посмотрел в глаза майору твердым взглядом.

– Тогда пиши заявление! – майор протянул лист бумаги. – У нас контракт. Как душу черту. Кровью пишем. Для офицерского состава бессрочный. По гроб. Из Мурманска – и прямо к нам. Лихо, лихо у тебя получается. Да. Бумеранг.

– Что? – не понял Загинайло.

– Да, да, бумеранг, – вздохнул майор. – Возвращение с того света. Вот гляжу я на тебя, не нагляджуся, и у меня большое недоумение насчет того, чего ты сюда приперся, по какой-то охоте или велению сердца. К нам идут по-разному. А ты что? Твой брат капитан милиции Петр Загинайло погиб при загадочных обстоятельствах. Труп нашли в Малой Невке. С пробитым черепом. Темная история. А ты на смену, значит. Бороться с преступностью. Так, так. А ты, как вылитый, на него похож, на своего братишку, как две капли. Тот повыше был, потоньше, стройный, быстрый. А ты – увальень. А вот мордой очень похожи. Близнецы? А?

– Нет. Не близнецы. Он старший. Два года разницы. – Загинайло сидел тяжело. Левша. Пишущую ручку держал в левой, а каменный кулак правой с крепко сжатыми толстыми пальцами увесисто покоился на столе.

Он написал заявление и заполнил анкету. Оформление и проверка займет месяц, может, и меньше, это как повернется. Во всяком случае, майор примет меры, чтобы не тормозить дело, а наоборот: ускорить процедуру приема столь ценного для них кадра. А пока вот: направление в приемную медкомиссию. Сегодня, пожалуй, уже поздновatelyнко. А вот завтра, пораньше, к восьми утра, на улицу Гоголя, дом десять, и начать. Майор, закончив разговор, сидел в своем кресле обмякший, седые усы повисли, как будто от последних сказанных им слов силы вдруг его покинули. Он уже не обращал внимания, здесь Загинайло или ушел, все равно, а с тоской смотрел на свой опирательный аквариум, где не плавало ни одной рыбки.

Загинайло миновал комнату инспекторов. Они, кончив пить чай, зарылись в бумаги. У рыжего младшего лейтенанта два его уха над грудой папок пылали, как два алых мака. Машинистка-титанша хоть и продолжала без усталости колотить по клавишам своего пишущего бронтозавра, открыла одно око и взглянула на Загинайло с хищным интересом, проследив его путь до двери.

Коридор пустовал. Лестничная площадка. А бутылочка-то – тью-тью. Испарилась. Костер на дворе догорел. Загинайло неспеша спустился на первый этаж. Вдруг дверь парадной рванули, так что пружина чуть не слетела. Грохот, борьба, грубый окрик:

– Стоять! К стене!

Два дюжих милицейских полшубка, овечьи шапки-мерлушки, и какой-то хлыщ, лысый, как пузырьник, кожаное пальто до пят. Подозрительный тип гулял по Лиговскому проспекту с голой головой – вот и попался патрулю. Поставили лицом к стене, под углом 45 градусов, приказав раздвинуть ноги циркулем, до упора, и полшубок-прапорщик, склонясь, проворно обшмонал обеими руками покорную фигуру. Товарищ его, здоровяк-старшина, наблюдал, ковыряя в носу. Страж-автоматчик отвернулся со скучающим видом. Блюстители порядка пропустили Загинайло, не взглянув на него.

Загинайло пошел пешком по Обводному. К Балтийскому вокзалу. Еще один адрес. Куда якорь бросить. Глаза щипало. Дым, вонь, гарь, грохот. Густой автопоток. Грузовики проносились, ревя и крутясь громадными колесами; за ними тянулся черный выхлопной хвост. Дошел до Варшавского вокзала. Трамвайное кольцо. Церковь без креста, мрачная, закопченная. Чугунный колосс с вытянутой рукой. Мутно. И как бы вечер, толпа, сутолока. Тарелки на тротуаре, на тарелках черное мясо. Схватят кусок и бегут прочь. Одноногий старик на костылях пытался дотянуться до тарелки, поскользнулся и грохнулся затылком об асфальт... Загинайло закрыл глаза, опять открыл. Площадь. Это уж он добрал до другого вокзала. Это Балтийский вокзал. Они как два брата, рядышком, эти два вокзала. Стекланные своды. Как бы рынок. Свинные рыла, зажмурив мертвые веки, выставили пятаки с ноздрями... Зал ожидания, гул пчел. Окошечко, часы чинят. Золотые, подарок, с гравировкой на крышке: «Помни брата». Не чирикают часики-то. Сутки напролет показывают одно и то же время: половина шестого... Услышал за спиной свое имя и почувствовал крепкий удар дружеской руки по плечу. Обернулся: перед ним Рашид Абдураимов, веселая душа, глаза-черносливы смеются.

– Гора к Магомету! – закричал, белозубо смеясь, Абдураимов.

– Нет! – возразил Загинайло: – Магомет к горе. Я к тебе шел, а ты сам тут!

Абдураимов – богатырь. Природа, любя, не скупясь, дала ему от щедрот своих всё: рост, силу, здоровье, грудь шире Кара-Кум. Бригадир водолазов в порту. Скафандра не могли подобрать его размера, по спецзаказу на Канонерском заводе изготавливали.

– Славная, славная встреча! – радовался Абдураимов и опять хлопнул Загинайло по плечу. – Эх, мурманские ночки-денечки! Как врежу стакан, так и вспомню. – Абдураимов кричал громовым голосом во всю силу своих могучих водолазных легких, заглушая шум толпы в зале ожидания. Радость встречи его распирала, и сдерживать свои чувства он не находил нужным, да просто не умел. Люди в испуге глядели на него со скамей, как на хулиганское явление.

– Я сюда пожрать прихожу, – объяснил он Загинайло. – Тут на вокзале ресторанишка, директор – земляк, узбек. Гребем! Угощаю! Закатим пир горой! У меня там личный столик, до гробовой крышки, никому там нельзя сидеть, все знают, официанты подносами посетителей отгоняют. Там и табличка стоит: занимать запрещено! Столик водолаза Абдураимова! Но дураков у нас хоть режь, хоть под поезд бросай, сам знаешь. Все равно, олухи безграмотные, лезут. Я к столику ток высокого напряжения подключу, проташу подводный кабель сюда из порта по дну Обводного, чтоб, как дотронется какой-нибудь баран, так и убивало бы этого гада на месте! Будут знать, кто такой водолаз Абдураимов, известный всему Мурманску и Заполярному краю! А? Как ты думаешь? – болтал без умолку Абдураимов, таща своего друга в вокзальный ресторан. Загинайло слушал с усмешечкой. Сели за тот самый персональный столик у окна. В зале накурено страшно, фигуры как в тумане. Из тумана вынырнул официант, лоб пылает свежим багровым

рубцом, наискось, от виска к брови. Почтительно склоняясь перед Абдураимовым, принял заказ. Умчался. Минуты не прошло. Молнией обратно, с полным подносом, всё, что грозный водолаз заказал: бутылка коньяка, закусочки, и в горшках горячий, дымящийся, настоящий узбекский плов.

Абдураимов восторженно потер руки:

– Такой пловчик ты не едал! Таким кушаньем гурии в раю героев потчуют! А больше ни одну тварь земную! Не положено. Божественный пловчик! Не обожгись! Вулкан! – Абдураимов, перестав есть, ткнул пальцем в погон Загинайло.

– А! Третья! Звезды на тебя так и сыпятся. Моргнуть не успею – адмиралом будешь! А моя жизнь – буль-буль. Барокамера. Ну ее к шакалу! У меня тут на Шкапина комната, жена живет, а я там не живу. – Абдураимов поморщился, словно жизнь с женой – отвратительна, как тарантул.

Они пили, зал гудел, играла музыка. Загинайло за окно взгляд бросил. Тяжелый взгляд. Как камень в черную воду. А по воде круги. И как из-под воды выползал чудовищным морским змеем мутноватый поезд.

– Мрачный ты тип, – сказал Абдураимов. – Ни на грамм не изменился. Все молчишь и о чем-то думаешь. И о чем ты думаешь, Омар Хайям? Мудрость на Востоке, заруби себе на носу! Всё на Востоке – и душа, и женщины, и верблюды! А здесь что? Холод, скука, гранит! – Абдураимов наполнил бокалы, поднял свой, прищурился, посмотрел с сомнением на не вызывающую доверия мутно-желтую жидкость и, покачав головой, опрокинул в широко раскрытый рот, как в воронку.

– Я думаю: где мне причалить сегодня на ночь, – ответил Загинайло. – Твой адрес у меня, я и шел, а теперь выходит, к тебе на Шкапина нельзя. Так я понимаю.

– Есть место! Не беспокойся! – заверил Абдураимов. – Ночлег я тебе обещаю сногшибательный, в гостинице такого комфорта не бывает. У меня в порту хибара на водолазном плотике, там у нас наше водолазное имущество хранится. Там я и обитаю.

Абдураимов смеялся звонким богатырским смехом во всё свое круглое узбекское лицо, зубы блестя, крепкие, как у верблюда, царя пустыни. Абдураимов был чрезвычайно жизнерадостный человек, веселая, широкая, щедрая душа. Он излучал свет такой могучей силы, что при его погружении даже в крошечный мрак самой черной бухты к его лицу, сияющему улыбкой сквозь толстое стекло водолазного шлема, как на яркий подводный фонарь, устремлялись стаи рыб со всего залива и мешали ему работать, обступив густой тучей, толкаясь, лезли целоваться, бурно выражая любовь, обезумев от восторга и страстного обожания. Загинайло позавидовал такой жизнерадостности. Сам он, надо признаться, действительно был мрачноватый тип, душа его большую часть времени была погружена во мрак.

Они уж доканчивали вторую бутылку коньяка, когда к их столику подошел в сопровождении официанта (другого, не обладателя рубца на лбу) человек, одетый в железнодорожную форму: черный мундир с золотыми пуговицами, фуражка с красным верхом, козырек украшен серебряными вензелями. То ли начальник вокзала, то ли швейцар.

Официант тоже как бы железнодорожник, в форме контролера. Галстук, как черный рак, вцепился клешней ему в шею, словно утопленнику, и настолько сильно стиснул горло, что бедняга не мог выговорить ни единого слова. Он, вытаращив налистые кровью глаза, попытался изъясниться задушенным мычаньем, выразительной мимикой и театральными жестами, тыча перстом в золотую пуговицу на пузе подозрительного гуся-начальника.

– Чего он хочет? – попросил разъяснений у Загинайло обескураженный Абдураимов.

– Дай ему в морду разок! – посоветовал Загинайло безжалостным голосом, будто произнес смертный приговор.

– Нет, так нельзя. Может, человек на чай просит, – возразил добродушно Абдураимов. – Он неожиданно рванул своей страшной рукой золотую пуговицу с пуза начальника вокзала, выдрал с мясом и, протянув ошеломленному официанту, сказал: – На, сынок! Бери, не стесняйся. Честно заслужил.

Начальник вокзала, обретший дар речи, отступив на шаг, обиженно произнес:

– Рашид Мамедович, позвонили из порта, просят срочно прибыть на пятый пирс.

– Чего ж ты сразу не сказал, баранья башка! Теперь пуговицу пришивать обратно! – Абдураимов тяжело поднялся из-за столика. – Опять под лед лезть, – проворчал он. – Сами бы по дну потаскались. Ну их в клапан! Уволюсь. Пойду в детский сад инструктором по водолазному делу.

Абдураимов расплатился, не позволив Загинайло совать свои паршивые гроши, как он выразился. Они вышли наружу. Была уже ночь.

– Я в тебя верю! – громогласно провозгласил Абдураимов ничем не стесненным голосом, как будто труба взревела на всю площадь, во всеуслышанье. – Верю, верю! – повторял Абдураимов с грозной настойчивостью. – Верю в твою звезду! Ты упорный. Жмешь и жмешь. Крутишь, как кабестан. Цель у тебя. Серьезный ты. А я – что? Пузырь, кровавой шарик. Ни узбек, ни русский, от одного берега оторвался, к другому не пристал. На родине я никому не нужен. У них гашиш, глина, ножи, нищета. Скучно, скучно жить! Айда на Шкапина, я от скуки жену в шкафу повешу. Большую и лучшую часть своей единственной и неповторимой жизни я провожу под водой, во мраке и дерьме, плавающим кругом, как проклятый аллахом краб, вожусь с поврежденными кабелюками или затонувшие кастрюли на металлолом режу, утопленников за шиворот таскаю вверх. Неблагодарная работенка у нас, знаешь, лучше уж на твоих торпедах и минах дрыхнуть. Что с утопленника возьмешь? Серьгу из уха? Кольцо с пальца? Вчера тащил одного такого: то ли баба, то ли цыган, рыло разбухло, ни хрена не разбираешь, такая харя – у осьминога краше! Каждый день новенького вылавливаем. У нас на плотике целая гора черепов. Вот сам увидишь! Сиди всю ночь и любуйся при луне! А другая, малая часть моей милой жизни, та, что на суше, – то в барокамере, то накачаешься в порту и лежишь в глубоком мертвецком обмороке, бессознательный и бессмысленный, как свинцовая стелька. Вопиющее безобразие и аморализм. Так зачем такая бесчувственная жизнь, скажи ты мне! Десять лет крабом по дну ползать!

– Да брось все и возвращайся к себе в Бухару-Самарканд, или что там у тебя! – сказал Загинайло ударившемуся в отчаянье водолазу.

– Не могу, не могу! – качал черно-курчавой, непокрытой головой водолаз. – Не могу вернуться. У нас не так, как у вас. Ты не понимаешь. У нас кланы. Я отрезан от своего клана. Отрезан, отринут. Отщепенец. Не примут меня. Обратной дороги нет. У нас закон! – Абдураимов помолчал минуту, гордо поднял голову:

– Да я и не узбек, я – уйгур! Когда-нибудь, в другой раз, я тебе расскажу историю моего народа. Такое ты нигде не услышишь и не прочитаешь ни в одной книге. О Тимуре и великой пустыне Гоби, в которой по ночам поют духи песков. Прекрасная и страшная история. Эх ты! Ничего ты еще не слышал настоящего. Все, что ты слышал, – шелуха, семечки! Говорю: вся мудрость на Востоке! Стой! А Коран ты читал? Ты и Корана не читал! Великую книгу! Так о чем с тобой растабаривать, с бестолочью! – Абдураимов умолк, как будто разочарованный во всех людях и утративший всякую на них надежду.

Они шли темным переулком. Мрачное здание в четыре этажа, окна горят. Баня. Старухи у входа продают веники.

– Может, ты помыться хочешь с дороги? – предложил Абдураимов. – Эта баня работает круглосуточно, без выходных. Бандитская баня. Дай на лапу, и мойся хоть до смерти, плещись в бассейне с голыми девками. Могу устроить, у меня тут блат. Тут и массажист есть, турецкий массаж делает. Турок, парень свой в доску, все кости переломает. Как в раю помоешься! – уговаривал Абдураимов. – Упрямый ты осел! Чего упираешься! Там река райская течет, по-арабски Каусар. Вода ее белее снега и вкуснее меда. Течет в золотом желобе посреди бани, в мыльной, на четвертом этаже, а дно усыпано рубинами и жемчугами. Врать не буду. Сам видел, своими глазами!

Но Загинайло не поддался на головокружительные соблазны. От мытья он отказался наотрез.

На Обводном Абдураимов остановил машину. В порт. В машине он задремал, свесив голову на грудь. Скоро приехали. Шофер разбудил доблестного водолаза вопросом: где остановить.

– У главных ворот, где же еще? Безмозглый ты какой-то! – возмутился, мгновенно придя в себя, Абдураимов. – На! На орехи! – протянул он плату щедрой рукой, на эти деньги город кругом можно объехать.

Водолаз повел Загинайло к воротам порта. Заперты. На звонок высунулся в окошко черный берет блином на ухе. Военизированная охрана.

– А! Водолазная команда! – обрадовался сторож. – Отбой тревоги. Всё уж уладили. Любимая кошка начальника порта пропала, думали – утонула, приказ водолазам – на дне искать. А кошечка нашлась, она погулять по пристани вышла. Так что теперь – тишина. Иди, бригадир, спать. А этот у тебя что? Новенький?

– Какой тебе новенький! – возмущенно вскричал Абдураимов. – Он водолазное дело не хуже меня знает. Ему положено по службе. Лодка затонет, так через торпедный аппарат в водолазном снаряжении выкарабкиваться. Он уж не раз спасал шкуру, всё назубок знает, мне его, учёного-печёного, учить нечему. Он у меня на плотике спать будет.

– Желаю хорошо выспаться на мягкой постельке, – не без язвительности напутствовал сторож, пропуская их на территорию порта.

Абдураимов повел друга к месту обещанного ночлега. Шли плечо к плечу. Пирс протянулся на мило, на две, конца ему нет. Портовые фонари, безлюдье. Вода со льдом тяжело бултыхается, ударяясь о бетонную стенку, ляг льдин, шорох. Взломанный штормом залив опять замерзает, издавая глубокий вздох или стон. Ночь мрачновата. Промозглая ночь. Ни души. Порт, как мертвый город. По краю пирса, тускло блестя, убегали вдаль два рельса, по которым ходит грузовой кран. Теперь гигант стоял на своих железных ногах неподвижно, скучая по ночной работе, судно не пришло, застряв где-то, гребет по Балтике. Разгружать пока нечего. Кран-скелет, ветер свищет в железных ребрах.

– Гляди в оба! – предупредил водолаз. – Тут крыс несметно. Особая порода вывелась, мутанты, помесь с бульдогом. Громаднейшие! С бочку! Злые, как дьяволы! Шайтаны! Набросятся всей бандой – спасенья нет. Недавно эти зверюги сожрали грузчика вчистую, с кишками, только и осталось от несчастного человека, что докерская каска, да и ту внутри обгрызли, подкладку то есть, сальная потому что от головы. И что характерно: грузчик этот – единственный трезвенник в бригаде. У крыс, знаешь, свой вкус.

– Значит, нас эти твари не тронут, – высказал утешительное умозаключение Загинайло, зорко вглядываясь в тенистые места у стен пакгаузов, где, казалось, шевелились толстые, как тавровые балки, хвосты.

Наконец, они достигли края пирса, тут он обрывался. Последний в шеренге фонарь светил тускло. Сирота-фонарь. Дальше – мрак, залив.

– Тут спуск, – указал водолаз. – Скользко, как по ледяной горке скатимся. Иди за мной след в след. Ни шагу в сторону, а то искупаешься в отрезвляющей ванне и вытрезвителя не надо, – предупредил он Загинайло. – Пойдем, как Иисус Христос по морю ходил.

Абдураимов спустился по обледенелым ступеням к воде и смело ступил на понтонную дорожку, которая представляла из себя довольно-таки простую конструкцию, а именно: соединенные доски, положенные поверху на плавучие барабаны. Неприятельный понтонный мостик был наведен через залив, простирался чуть не на мило, по нему водолазы переправлялись на рабочий плотик, где в хибарке, построенной из так называемого плавуна, хранилось их водолазное имущество. Загинайло не без опаски ступил на в буквальном смысле слова скользкую дорожку: настил из одной обледенелой доски, которая шаталась туда-сюда и брыкалась при каждом его шаге, а то и погружалась под воду; он уж промочил ноги в коротких флотских ботинках. Все равно что по качелям гулять над бездной. Абдураимов уверенно шагал впереди, возглавляя это шествие по водам, казалось, он даже не смотрел себе под ноги, и с завязанными глазами, при полном отсутствии сознания, не дрогнув, ни разу не оступясь, благополучно добрался бы до своего, затерянного во мраке залива плотика.

– Вот и дошлепали! – объявил водолаз, взбираясь на плот. – Лезь, не дрейфь, крепко, как скала! На четырех китах стоит. Берлога на месте, печь затопим, дров тут на три полярных зимовки!

Загинайло попал на плот легко и удивился его прочности. Плот был завален припасенным на зиму топливом, на нем и вокруг него громоздились торо-сы из досок и бревен, выловленных в заливе. Из дровяной горы торчала крыша хибары, похожая на железную кепку с плоским козырьком, как будто сейчас скажет, как хулиган: «Эй, ты! Закурить есть?» Пролезть к этому убежищу, не сломав себе шею, могли только опытные скалолазы. Но Загинайло вслед за Абдураимовым, цепляясь за доски, быстро достиг хибары. Дверь открывалась немудреным образом: ударом ноги. Замок отщелкнулся и впускал хозяина. В хибаре пахло резиной. У стен навалено водолазное снаряжение – скафандры, шлемы, шланги, баллоны, компрессоры, насосы и проч. Два топчана, печь-буржуйка. Позеленелый самовар громадного размера, который вмещал в медном чреве, должно быть, ведер десять. Вещь необычайная, фантастическая!

– А! Что я тебе говорил! У нас, брат, есть на что посмотреть. Видишь, какая диковина! – закричал радостно Абдураимов, довольный, что есть чем похвастаться. – Мы это чудище на дне нашли. Ему лет сто, я думаю. Купеческий. Отчистили, отдраили, пустили в ход. На всю нашу водолазную бригаду хватает. Э, чего только на дне тут не валяется! – продолжал на повышенном-восторженных тонах Абдураимов. – Ты не поверишь, фургонами в антиквариат сдаем. Вот где – золотое дно! В прямом смысле. Миллионером можно стать. Запросто. И стали б. Если б мои гаврики не пропивали все до копейки. Алкоголизм – наша беда. Горе да и только! Профессиональная болезнь водолазов какая, как ты думаешь? – спросил у Загинайло, хмуро прищурясь, Абдураимов. – Кессонная болезнь? Э, нет! Это, это! – Абдураимов щелкнул себя пальцем по шее под подбородком. – Что, зябко? – заметил он, увидев, как Загинайло передернул широкими плечами. – Погоди, сейчас будет Ташкент. – Абдураимов, взяв топор, вышел наружу.

Вскоре он принес громадную охапку нарубленных досок. В буржуйке заревел огонь, жадно пожирая обрубки, которые совал ему в красный ненасытнный рот, сидя на корточках, Абдураимов.

– То как зверь она завоеет, то заплачет, как дитя, – запел он устрашающим, слышным на всё Балтийское море, громовым голосом. – Ты храпи, а я у огня подежурю. Потом тебя разбужу. Полночи я, полночи – ты. Так и спи в шинели, ватник еще бери, а хочешь – два рваных одеяла из чьей-то шерсти, может, вымершего мамонта, не знаю. Подушки тебе не надо, череп – ведь кость, зачем ему подушка? Баллон под башку положи, он хоть и железный, а мягкий, с ржавчиной, ничего, не жестко, я сплю, не жалуюсь. Там и вмятина от моей головы есть. Голову баловать нельзя, а то как вата будет, изнежится на пух-перьях, мозг испортится, скиснет, не будет в нем мужской доблести. И так-то ума – икринка, а на пуху будешь спать – совсем круглым идиотом станешь. Как персы. Почитай Геродота.

Загинайло, не слушая болтовню водолаза, лег на топчане, ближнем к печке, и сразу уснул. Ему снилось, или он сквозь сон чувствовал, как плотик кряхтит, покачивается, а под ним булькает и хлопает, ворочается гигантское морское чудовище, кит не кит, левиафан, пасть разинул, из пасти потоком хлещет бурная, вихрастая вода, как в пробойну, с жутким грохотом, он один в отсеке. «Срочное по-

гружение!» – слышит он команду. Лодка проваливается на глубину, сосущая пустота в сердце... Скорей – водолазный костюм! Шлем завинчен неплотно, и вода хлещет под шлем в щель, дышать нечем, задыхается, всё... И лодка начинает валиться набок, опрокидывается, резкий толчок, удар о грунт...

Загинайло очнулся. Абдураимов, бригадир водолазов, мурманский орел, тряс его за плечо.

– На вахту, кочегар! – кричал он. – Держи огонь в топке. Я готов, сдох, глаза, как гири. Только вот головой на баллоне спать надоело. Тебе в новинку, а мне скучно. Булыган бы какой найти. Святослав камень себе под голову подкладывал. Суворов с него пример брал. Великий полководец, да. Но с Тимуром ему не сравниться. Это, знаешь, смешно. Рядом с Тимуром он просто букашка... – Так, бредя на тему мужского изголовья, которая к нему привязалась, будто особая водолазная мания, Абдураимов повалился на другой топчан и захрапел богатырским храпом.

Загинайло и не жалел, что вынужден бодрствовать. По крайней мере, кошмары не мучают. А кошмары мучили не только его, весь Северный флот страдал страхом и ужасом во время сна, в бессознательный период своей жизни, когда душа человека беззащитна перед демонами, которых насылет Арктика. Коллективная душа флота, от адмирала-командующего до матроса, погружаясь в сон, ревела от ужаса, как сирена. Как будто сторожевой корабль, схваченный неведомым течением, с неодолимой силой уносило в черные воды Ледовитого океана на верную гибель, и он кричал, кричал страшным криком... Загинайло, и покинув флот, остался частицей этой души, и власть общего кошмара угнетала его и тут, вдали от Севера. Он присел у раскрытой дверцы, закурил и смотрел на огонь. Он любил смотреть на огонь. «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем» – вспомнилось ему заученное в школе. Заготовленное водолазом топливо кончилось, Загинайло сжег последнюю щепку. Он взял топор и вышел. Ветер зверел, штормовой ветер, залив шевелился в темноте, на плот со всех сторон с лязгом наполнили громадные льдины, зеленые чудовища, но им было не преодолеть защитные сооружения из досок и бревен, эти неприступные бастионы, льдины-чудища ломались, треща, отступали, а вода толкала их сзади, гнал на приступ ветер, и некуда им было деться. Взломанный штормом лед шел сюда, на штурм плотика, со всего залива.

2

Едва рассвело, Загинайло покинул гостеприимный плотик. Небритый, в мятой шинели, голодный, и чаю не попил. Абдураимов раскопегарил свой самовар-десятиведерник и предлагал не пороть горячку, а погреть кишочки чайком, как человек, но пока меднопузый гигант, утешитель купцов и водолазов, вскипел бы, уж был бы не утренний чай, а вечерний. Бригада водолазов уже собралась в хибарке, когда он ушел. Шесть, не считая Абдураимова, тяжелоступы и горлопаны, краснорожие, грудь нараспашку, бочки в тельняшках, у них горело внутри, каждый излучал жар, как ходячая печь, поэтому буржуйка зря трудилась, она могла бы и отдохнуть от службы, теперь хибара обогревалась бы от тел самих водолазов. Вместе со своим брига-

диром, который наилучшим образом выспался на топчане и выглядел бодрым и свежим, как вынырнувшая на поверхность глубоководная мина, они в семь луженых глоток подняли такой хай, что Загинайло, если бы и имел время, не мог бы задержаться тут больше ни минуты.

– Надо поторапливаться, – изрек он с суровым видом. – У меня медкомиссия.

– Ну и дуй к чертовой матери! Туда тебе и дорога! – от чистого сердца напутствовал его Абдураимов. – А на ночь не забудь вернуться. У тебя тут дом родной. В порт тебя пропустят, не пикнув. Только свою рожу покажи на паспорте. Мое слово железное. Закон.

Загинайло опять прогулялся по скользкой понтоной дорожке, от плотика – в порт, к пирсу. Конечно, днем этот путь пройти не то, что ночью. Раз плюнуть. Как акробат по жердочке. До ворот порта подкинул попутный грузовичок. Там автобус в город. Через полчаса он уже стоял около дома № 10 на улице Гоголя, или Малой Морской. А чего-то медлил. Черт бы побрал их медицинские учреждения. Он решительно рванул дверь. Вестибюль. Ярко.

– Это я куда попал? – остановил он бегущую мимо него медсестру, тошную, как палка в очках. В руках у медсестры рискованно накренился поднос с пробирками.

– А куда надо? – в свою очередь спросила, прервав свой бег, худощавая медсестра, еще опаснее наклонив поднос с легко бьющимся грузом.

– Мне на медкомиссию надо, для устройства на работу в МВД. У меня направление, – подробно объяснил Загинайло.

– Безграмотный? Читать умеешь? – медсестра грубо и мрачно сверкнула на Загинайло сквозь очки, как будто перед ней стоял ее заклятый враг, и показала подносом: – Написано же по-русски! Читай, лопарь!

Загинайло прочитал на стене вестибюля, куда указывали кроваво-красные буквы он сначала не заметил: Военно-окружная медицинская комиссия. Во дворе.

– Полюбовался бы на себя в зеркало, а потом бы к врачам шел, – проворчала, уходя, медсестра с подносом.

Дверь из вестибюля во двор нашлась легко, она не закрывалась, подпертая кирпичом. Перед дверью, сбоку, у стены, имелось большое, прямоугольное зеркало. Загинайло взглянул на себя: да уж! Хорош! Медведь небритый. Лицо массивное, тяжелое, глаза сверлящие, как говорят, глубоко посаженные, ненормально близко у переносицы, и еще эта его косая ухмылочка. Вид зверский. Все врачи разбегутся. Подмигнув своему зеркальному двойнику, Загинайло вышел на двор.

На дворе он увидел громадную толпу. Курили, горланили, шум, гам. Парни, безработная братия, демобилизованные солдаты и матросы. Среди моря мужских скул мелькали то там, то сям и женские щечки, приятно разнообразя грубую, орущую орду. К реву голосов примешивался шум падающей воды. Рядом слышался бурный, kloкочущий поток, он лопотал свое, словно участвуя в общем собрании толпящихся людей. Толпа стояла тесным кругом, в центре которого, посередине двора, зиял провал, асфальт в этом месте обрушился, из провала поднимался зловонный пар и смрад канализации, и

внизу ревела, низвергаясь в бездну, подземная река, поток сточных вод, день и ночь текущий под городом. Вся эта орда ожидала очереди к врачам. Военно-окружная медкомиссия еще не начала свою работу. Загинайло с трудом допытался: где вход. Только десятый опрошенный услышал, что от него хотят узнать, ткнул указательным пальцем, едва не выбив глаз у своего товарища:

– Для офицеров отдельно. С тыла, старлей, зайди. Там у них приемный покой. Морг, то есть. Жмуриков приносит-уносят. Ты не пугайся, рядом дворца. Там полковников принимают, майоров. Попробуй, может, и тебя пропустят.

Обогнув здание, Загинайло нашел нужную дверь. Поднялся по черной лестнице на второй этаж. Туда указывала стрелка. Попал в коридор. Облезлые голубые стены. В отличие от столпотворения во дворе тут, можно сказать, приятное безлюдье, как в пустыне. Дойдя до половины коридора, Загинайло уже не надеялся увидеть тут человека. Но слева обнаружилась площадка и там регистратура. В регистратуру – три офицера, разнозвездные и разных родов войск: полковник, майор, лейтенант. Загинайло спросил у лейтенанта с зелеными погонами пограничника, который стоял последним в очереди:

– Что там дают, в этой амбразуре?

– Медкарту дадут, заполнишь сам. И номерки к врачам, – охотно ответил пограничник.

– За день успеем пройти медкомиссию? – задал еще один вопрос Загинайло.

– Можешь не сомневаться! – веселым голосом ответил лейтенант, доблестно охранявший государственную границу на суше. – Пулей полетишь из кабинета в кабинет. Посмотри: руки-ноги есть, голова на месте, не немой, не глухой, не хромой. Остальное им до лампочки. Летчика и смотреть не будут, – лейтенант показал на подполковника с голубыми петлицами, в шапке с крылышками, которую он не снимал в помещении, должно быть, из уважения к воинской дисциплине. – Что на него смотреть, – добавил словоохотливый лейтенант. – Здоров, как «Боинг». В Управление пойдет, к небу поближе. Нам сверху видно всё, ты так и знай. – Лейтенант засмеялся, показывая полный рот железных зубов.

– Где зубы потерял? – спросил Загинайло.

– Ты не поверишь. В Будапеште! – ответил лейтенант. – Булыганом саданули, за один раз все и вышибли. К дантисту не надо лишний раз ходить. Да я и не жалею, эти лучше, чем костяные, их и чистить не надо, я их уже пять лет не чищу, они же нержавеющие, только почернели чуть-чуть, – лейтенант разинул пошире рот и показал пальцем, где у него почернели зубы. Загинайло не успел убедиться в правдивости его слов: у пограничника подошла очередь, и свирепоглазая медсестра, гибкая, как кобра, высунувшись из окошка почти по пояс, желала наконец добиться от него биографических сведений – кто он такой, русский или, может быть, нанаец, какая нелегкая его сюда принесла и чего он, собственно, хочет. Если место участкового – то так бы сразу и мычал, добро пожаловать, зеленая дорога, только погоны сменить.

Когда дошла очередь до Загинайло, он постарался не злить медсестру. Она призналась со всей откровенностью: не любит, чтобы ей мозолили глаза и задавали бестолковые вопросы. Мрачно сунув

ему из окошка медкарту и семь номерков, она предупредила:

– Порядок прохождения врачей нарушать нельзя, строго следуйте той последовательности, как указано в медкарте. Перепутаете что-нибудь, пеняйте на свою безмозглость. Будете всё сначала проходить. Устала каждому вдалбливать! – добавила она злобно, не Загинайло, а другой медсестре, подошедшей к столу за окошком. – Умные люди сюда устраиваться на такую работу не пойдут. Одни бараны идут весь день.

Загинайло, молча проглотив оскорбительную пилюлю, отошел от окошка, к которому тут же ринулся следующий безработный офицер, жаждущий узнать о себе мнение грозной медсестры и заодно проверить свое здоровье и выдержку.

Загинайло стал изучать медкарту. Первым в списке значилось: сдача анализов. Анализы сдавались в лаборатории. Лаборатория находилась не здесь, как объяснили ему те, кто уже всё знал, не в этом здании, было б слишком хорошо жить и легко отбрыкаться, а – во флигеле. Чтобы туда попасть – опять прогуляться через двор, теперь в обратном направлении. Ноги-то есть, не протезы, свои, времени тоже – хоть зарежься.

Толпа на дворе рассосалась. То ли врачи приемной комиссии, засучив рукава халатов, ускорили темп осмотра поступающих на службу молодцов (а служба опасная, что ж их зря мурыжить, скорей в бой), то ли большая часть их все-таки была поглощена зияющим провалом в бездну посреди двора, ограждать который забором-зеброй и красными тряпками не сочли нужным, очевидно, из особых дальновидных соображений. Но, как бы то ни было, от громадной буйной орды остался клочок. Человек десять. Они, обступив провал, тихо смотрели в мрачную яму, как замороженные, а там всё так же ревела, низвергаясь в тартарары, грязный поток сточного водопада, и зловонное испарение от него поднималось на поверхность, одурманивая привлеченных зрителей, скучающих созерцателей. Загинайло не пожелал присоединиться к этому кружку избранных. Он не любитель ни смотреть в ямы, ни заглядывать в будущее, чтобы узнать свою судьбу. Чему быть, того не миновать. Смерть дурака найдет.

Лаборатория помещалась в подвале флигеля. Загинайло нашел там своих новых знакомых: и лейтенант-пограничник, и подполковник-летчик, и майор-танкист. Пограничник, обладатель нержавеющей железных зубов, увидев Загинайло, искренне обрадовался:

– Бери банку! – возопил он, как будто сейчас должно было произойти что-то страшное, по меньшей мере такое, как землетрясение. – Вон там по одной банке на рыло дают! – продолжал пограничник. – Давай бегом! Не достанется, куда будешь свою героическую военно-морскую мочу прудить? Не промахнешься. Анализы лучше получатся. Там разные банки есть, большие и маленькие. Бери литровую, – посоветовал он Загинайло.

– А ведра у них нет? – спросил Загинайло.

– Опоздал, миноносец, – засмеялся веселый пограничник. – Ведро подполковник уже хапнул, хлещет, как из брандсбойда, в подсобном помещении, сейчас принесет сдавать на радость врачам.

Загинайло с полученной банкой отправился в то место, которое по-русски называется нужник, а по-

морскому гальюн. На двери действительно была прикреплена кнопкой бумажка и на ней начертано синими чернилами: «Подсобное помещение». В этом помещении страшно ударило в нос хлоркой. Три отделения с перегородками, два заняты, майором и подполковником, одно свободно. Окно замазано белой краской, посередине чей-то свободолобивый коготь процарапал на стекле лунку, поглядев в которую можно было наблюдать кусочек Гороховой улицы. Должно быть, и у майора, и у подполковника дело шло туго, у одного вовсе ничего нельзя было выжать из пустой цистерны, у другого цедилося по капле. Загинайло, в отличие от них, не долго любовался пожелтелой раковиной унитаза в ржавых потеках и слушал музыку неисправного бачка, в котором пела, переливаясь через край, вода.

Вручив свой сосуд с жидкостью санитарке, Загинайло последовал дальше по коридору – сдавать кровь. В коридоре, узком, как кишка, стояли, прижавшись к стене, затылок в затылок, гуськом, попуры парни. Свободного пространства хватало только, чтобы пройти кошке. Тоненькая медсестра в чистеньком, как ландыш, халатике, протиснулась боком, неся над головой поднос с анализами, то бишь, стеклянными колбочками со свеженабранной кровью. «Посторонись!» – кричала она грубым, не склонным к любезности голосом. В конце коридора – оцинкованная дверь, как в мертвецкую. Впускали по звонку. Строго-настрога. Раздавался резкий звонок, пронзая насквозь уши всей длинной очереди. Через минуту – другой. Пауза. Затем звонок следовал за звонком непрерывно, лавиной, сливаясь в одну, раздирающую барабанные перепонки, зверскую трель. В дверь устремлялись, заголяя на бегу руку. Из двери вылетали с комком ваты на окровавленном пальце. Весь пол был устлан этими кровавыми комками. Коридор молниеносно очистился от половины очереди. Лейтенант-пограничник вышел из двери бледный, как мертвец, зажимая средний палец на правой руке в кулаке левой.

– Это вампирия! – сказал он Загинайло заголым шепотом. – Сидят сто ведьм за столиками, все на тебя шприцы нацелили, глаза сверкают! Ужас! Живым не выйдешь. Давай, друг, задний ход!

Но Загинайло, не послушавшись доброго совета, храбрым шагом вступил в кабинет. Всё оказалось, как предупредил пограничник: в просторном помещении за столами в два ряда, как на какой-нибудь кровососной фабрике, сидели женщины в белых медицинских халатах. Тут были все возрасты, от 18-летних юных девушек с розово-свежими, как персик, щеками, до безобразных жаб-старух, седых и покрытых морщинами, которым уж давно перевалило за 70. Тут были представительницы всех племен и народов. Загинайло встал, как вкопанный, словно в поле посреди стаи голодных волчиц. Его позвала бурятка с ближнего к нему стола, она зловеще махнула ему рукой. Загинайло отважно присел за ее стол. Бурятка обращалась с его предназначенными для процедуры пальцами, средним и безымянным, весьма бесцеремонно и даже грубо, протерла спиртом и вонзила иглу. Загинайло смотрел, как наполняется его кровью объемистая колба.

– Не смотрите! – потребовала бурятка. – Это мне мешает работать. Многие от вида крови падают в обморок. Теперь такие слабонервные мужики по-

шли, аж противно! Психопаты и неврастеники. Достаточно. Можете идти!

Загинайло, поспешно встав, неловким движением задел стол с препаратами и чуть не опрокинул его.

– Осторожно, медведь! – зло закричала на него бурятка. – Пьяный, что ли? Да что говорить, ясно, пьяный в дрыбадан, небритый и пахнет скверно, мерзостью какой-то. После принятия алкоголя, к вашему сведению, трое суток нельзя анализы сдавать! Так что, я умываю руки, если у вас найдут в крови недопустимое присутствие спирта. Так и знайте!

Загинайло, напутствуемый криками бешеной бурятки, вышел вон немного смущенный, но ничуть не поколебленный в своем стремлении преодолеть все ступени медицинских испытаний, чего бы это ему ни стоило.

Итак, Загинайло опять сверился с медкартой. Следующий этап – флюорографический кабинет. Ему объяснили, что надо вернуться в то здание, откуда он начал тернистый путь. На этот раз не лезть вверх по лестнице, а прямехонько катиться в подвал, там много поворотов, заблудиться запросто, уж немало народу пропало без вести, в списке значатся, как проходящие медкомиссию, а налицо – нет их, кого месяц, а кого и год ищут, отыскать не могут. Вот и мотай на ус. Выслушав мрачный рассказ сведущих товарищей, Загинайло взял курс на флюорографический кабинет. Следуя подробным указаниям, он опять зашел с тыла здания, спустился по крутой лестнице в подвал и довольно долго странствовал в низеньком подземном коридоре, который извивался, как червь, в недрах земли. Наконец он уперся в тупик. Стальная дверь, гладкая на загляденье, ни ручки, ни звонка, ни глазка. Ничего! Загинайло грохнул кулаком. Подождал, прислушался. Глухо. Тогда он стал дубасить изо всей силы, с интервалами, что-то вроде громовой азбуки Морзе. Отбил кулак. Никакого эффекта. С той стороны не отзываются ни на удары, ни на крик. Загинайло решил, что те, кто его сюда послали, подшутили над ним, и уже повернулся идти обратно, как дверь разверзлась. Суровая старуха в халате смотрела колюче.

– Флюорографический кабинет здесь? – спросил Загинайло.

– Что? – переспросила старуха грозным голосом. Так обычно говорят тому, кто сморозил какую-нибудь нелепость.

– Здесь флюорография, спрашиваю? Ну, или рентгеновский кабинет, по-другому? – потеряв терпение свирепо прорычал Загинайло. – Если не здесь, так где, черт вас всех поберет!

– Здесь, здесь! – гаркнула старуха. Услышала наконец, глухая карга. – Ты восьмой. Раздевайся догола и бегом к аппарату! Семеро одного ждут! У нас по партиям. Пока партия в восемь человек не наберется – не принимаем.

Загинайло вслед за старухой вступил в предбанник. Там было не теплей, чем в ледяном погребе. У стены выстроились в шеренгу семь мужчин, все нагие, от макушки до пят, как Адамы, ни ниточки на всем посинелом теле. Вешалок не предусмотрено, одежда всех семерых свалена кучей на лавке. Хоть и голые, все семеро глядели соколом. Даже не очень посинели, даже почти и не дрожали, по крайней мере, успешно боролись с дрожью, кое-кто

слегка лязгал зубами, кое-кто приседал, а кто растирал себе руками плечи и грудь. А в целом – народ военный, закаленный. Появление Загинайло вызвало всеобщий бурный восторг.

– Вот и восьмой! – заорал первый в шеренге, гордо стоящий голышом во главе команды адамитов. Он был на голову выше всех, с синим пузом и усами, как у Буденного.

– Эй, флот, где тебя носило! По каким морям! – закричал последний в шеренге голыш, в котором Загинайло узнал лейтенанта-пограничника. – Скидай скорей с себя тряпки! По-военному! Секунду даем! Иначе нам тут всем крышка! Смерть лютая от замерзания! – лейтенант, принявшись энергично растирать себя руками и присесть, чтобы согреться, запел раздрающим душу тоскливым голосом: «В той степи глухой замерзал ящикик...»

В шеренге были знакомые уже и майор, и подполковник. Когда Загинайло, голый как все, присоединился к мужскому братству и замкнул шеренгу, лейтенант-пограничник, стуча железными зубами, стал ему объяснять:

– Понимаешь, у них тут такой порядок – не принимают, пока полная обойма не наберется. Чтоб аппарат зря не тратил рентгеновские лучи, а сразу всех прострелил, очередью из автомата: тра-та-та! К чертям собачьим!

Дверь в кабинет приоткрылась, свежий ледяной ветерок обдул ноги. Сильный женский голос басом скомандовал изнутри гулко помещению:

– По порядку номеров! Первый – вперед! Марш!

Синепузый, похожий на Буденного усач, как застоявшийся конь, ринулся внутрь кабинета. Не минуло и двух минут, как он влетел обратно в предбанник и уже натягивал на себя всю свою сбрую, брошенную в общую кучу на лавке. Он оказался капитаном по снабжению. Басистая медсестра опять скомандовала в раскрытую дверь, и к аппарату помчался второй, будто бы бегун-марафонец, перенявший эстафету. Очень скоро тем же манером призвали и Загинайло к рентгеновскому аппарату. Он и замерзнуть не успел. Зараженный общей спешкой, он враскачку, неуклюже, грузен и тяжел корпусом, побежал на властный зов медсестры-флюорографички, ощущая голыми ступнями холодящие плитки серо-голубого кафеля.

– Шевелись, красавчик! – весело закричала, подбадривая его, медсестра. Это оказалась низенькая, крепенькая, как кубышка, женщина сочного возраста с непропорционально большой головой и очень крупным носатым лицом, жидкие соломенные волосы, остриженные под скобку, не совсем аккуратно, торчали клочками.

– Лезь сюда, красавчик! – приказала эта командирша в халате. – Руки на пояс! Грудь к экрану! Живот втянуть! Дышать! Не дышать! Кругом! Спичкой к экрану! Дышать! Не дышать! Всё! Слезай! Результат через два часа.

Вернувшись в предбанник, Загинайло нашел только одного своего знакомца лейтенанта, который был уже почти полностью одет и зашнуровывал бронированный танк-ботинок.

– Глотнул рентгенчика? – поинтересовался он. – Я думаю, дозу хапнули, как при испытании водородной бомбы. Облучили голубчиков, чтоб светились вместо семафоров. Аппарат-то старый, раздолбанный, при царе Горохе сделан, из него из всех щелей радий так и прет, я нутром учуял, даже ой

как! Жжет двенадцатиперстную кишку, хоть волком вой. Ой, ой, мамочки, не иначе как язву заработал у этой змеюги с ее чертовым агрегатом! – Пограничник согнулся, скорчась от боли. Загинайло не мог понять, дурит он или вправду у него что-то с животом.

Пока Загинайло одевался как на пожар, подгоняемый старухой-регистраторшей и слушал байки поборовшего боль в животе пограничника, в предбаннике набралась новая партия мужчин – жертв неумолимого обряда. Им было велено оголяться, а не мух считать. Аппарат ждать не будет.

Теперь – терапевт. Так следовало по медкарте. Загинайло и лейтенант-пограничник поднялись обратно на 2-й этаж, где регистратура. В коридоре у кабинета № 1 они нашли своих товарищей, с которыми побратались в рентгеновских лучах. Опять у них составила полная обойма, восемь бойцов. Все кучей стояли в коридоре и с вождением взрали на закрытую дверь. Врач-терапевт Фурова (так было указано на таблице) принимать не торопилась. Грамотный, надев очки, мог бы, если это его интересует, прочесть под табличкой с номером кабинета и фамилией врача махонькую приписочку, где указан график проветривания, то есть: последняя четверть каждого часа. Сейчас как раз проветривание. Так, во всяком случае, кратко объяснила выглянувшая на настойчивый стук в дверь медсестра.

– Елена Петровна прекратит прием, если не понимаете! – пригрозила она утратившим терпение офицерам. – Проветрим и начнем.

Офицеры горячо обсуждали свои дела, горести и печали службы, у всех накалило, у каждого своя хрен-редька. Тут собрались все роды войск, армия и флот, все по тем или иным причинам выброшены за борт. Куда бедному офицеру податься? Раздался звонок, как гром, как ревун боевой тревоги, и одновременно загорелась над дверью красная сигнальная лампочка. Расшумевшиеся офицеры все как один вздрогнули и умолкли. Врач-терапевт Фурова возобновила прием. Ее кабинет вполне проветрился. К терапевту запускали по двое. По приказу медсестры раздевались с порога, чтобы не терять драгоценное время. Пока один, раздетый до пояса, сидел на стуле перед врачом, так сказать с глазу на глаз, и та ему энергично пеленала резиной руку для измерения кровяного давления, другой, раздетый уже до трусов, но в носках, лежал, совершенно беззащитный, в углу на кушетке, в то время как медсестра, склонясь над ним, упорно щупала ему живот сильными руками и спрашивала: есть ли жалобы? Процедура проходила четко, без сучка и задоринки, минута на человека. Раздевались наперегонки. Рука в резине, груша жмет, на кушетку, живот щупается, жалоб нет, здоровеньки булы. Следующая пара. За десять минут все были осмотрены. Врач и медсестра раскраснелись. Когда Загинайло, последним покидая кабинет терапевта, увидел, что медсестра бурной рукой рвет форточку для срочного внеочередного проветривания, он ничуть не удивился. В самом деле, воздух в кабинете от краткого пребывания восьми мужчин сделался чрезвычайно густ.

Так они и ходили восьмером из кабинета в кабинет. Хирург, ветхая старуха в колпаке, вводила по одному за ширму, там требовала оголиться и что-то смотрела. Загинайло так и не узнал – что. Потому что хирург, будучи преклонных лет, насмотрелась уже на других вдосталь и на Загинайло

не хватило ее дряхлеющих сил. Ему поверили на слово, что у него все кости целы, череп не проломлен, ни одной даже малюсенькой травмы получить не посчастливилось, и как мужчина он хоть куда, хоть на племенной завод, может запросто наплюдить табун жеребят, было б только желание. В кабинете окулиста офицеры задерживались подолгу. Им все глаза просмотрели до донышка. Пуще всего искали третий глаз. Окулистка увлеклась парапсихологией и оккультными науками, у нее осмотр пациентов отличался оригинальностью. Вместо того чтобы проверять обыкновенное зрение, таблицу с буквами и прочую чепуху, она ставила опыты для выявления паранормальных способностей у своих пациентов. Это ей было нужно для диссертации. Усадив Загинайло за стол, завязала ему глаза черным платком и потребовала, чтобы он читал ладонями рук со странички, которую она держала под столом. Потом ушла в смежную комнату и спрашивала оттуда: видит ли он что-нибудь сквозь стену, если видит, пусть расскажет, не скупясь на подробности. Увы, Загинайло ничего не мог разглядеть сквозь капитальную переборку, экстрасенсорными способностями он явно не обладал. Чудес не обнаружилось ни у одного из восьмерых офицеров. Венеролог искала у них признаки венерических болезней, хоть каких-нибудь завалященских и застарелых, но не нашла, что ее не то чтобы разочаровало, но привело в некоторое недоумение. Психиатр учинила настоящий допрос с пристрастием, она спрашивала: случались ли галлюцинации, зрительные или слуховые, не подвержен ли лунатизму, не бывал ли в состоянии аффекта, не покушался ли на свою жизнь, то есть не было ли попыток самоубийства, не страдает ли какой-нибудь манией, скажем, манией страха или агрессии, не состоишь ли на

учете в психодиспансере. Ответ она получала от всех отрицательно-скучный: нет и нет. Однообразие ей приелось. Ничего новенького. Ее можно было понять. Поэтому психиатр, сидя с противоположной стороны стола, взирала на Загинайло с самой жгучей ненавистью, на какую только была способна, как будто он был ее злейший враг. Это была женщина крупная, сильного характера, с костлявым широким лицом, которое украшала волосатая бородавка около носа. Она истязала Загинайло своими вопросами более, чем предыдущих офицеров из доблестной восьмерки, дав ему предпочтение, может быть, потому, что он был последним, на нем прием заканчивался.

– Вы любите риск? – злобно сверкая очками, спрашивала психиатр. – Стремитесь к смерти? Она вас притягивает, да? Признавайтесь. Говорите честно, как на исповеди. Я вас насквозь вижу: по типу психики вы смертник. Камикадзе. Везде, надо и не надо, на рожон лезете, ищите смерть. Так, что ли? – В глазах психиатриши загорелось мрачное злорадство, она была очень горда своей прозорливостью.

Загинайло косо усмехнулся:

– Самурай – сам умирай. А по-нашему – умирать, так с музыкой.

На этом допрос прекратился. Вопросы иссякли. Все было ясно, как божий день. Психиатр была последней в медкарте, на ней завершалась череда испытаний. Осталось получить заключение главврача медкомиссии: прошел – не прошел эту Сциллу-Харибду. Вскоре выяснилось: все восемь офицеров благополучно прошли испытание своего здоровья, все восемь были признаны годными для службы в органах МВД. Загинайло в том числе.



Людмила БУБНОВА

В ЧУВСТВИТЕЛЬНОМ ЖЕНСКОМ КРУГУ*

В ФИОЛЕТОВЫХ ТОНАХ

1

Мы с Таней сидим напротив друг друга за раскладным белым кухонным столиком, развернутым одним крылом: так он занимает совсем немного места в стандартной восьмиметровой кухне у стены, оклеенной белой пленкой с неназойливым орнаментом. Противоположная стена покрашена светло-голубой краской, на ее фоне стоит холодильник, время от времени раздаются его тяжелые вздохи, с белой тумбы смотрит телевизор подслеповатым тоскливым пыльным глазом экрана – вещи, которыми явно пренебрегают.

Мы пьем чай с мятными пряниками, с повышенным удовольствием поедаем незатейливое лакомство.

Мне хочется высказать впечатление от картин, которые только что смотрели, но слова нейдут с языка. «Ваш муж хороший художник», «чудесные картины произвели на меня глубокое впечатление» – фразы затыкают мне рот стертым звучанием.

Тусклые выражения я повторять не хочу, да Таня банальности и слушать не станет. Трудно говорить о картинах соответственными словами. Но не совсем же я тупица: хочется показать, что кое-чего все же смыслу.

* Окончание романа. Предыдущие главы печатались в №№ 5-7 «ИС».

– Кобальт фиолетовый, застывший на палитре, произвел на мое дилетантское сознание впечатление, и я первым делом искала в картине его. Он там есть, но не выделяется из общего целого: словно легкая роса или туман окружает предметы. Драматизм красочных пятен настойчиво втягивает взгляд от краев к центру, и будто там есть что-то еще неизвестное. Пейзаж с лодками – нервная, яростная, тревожная для души работа. А в «Кактусах» – мир слаженный, монолитный, попроще. Художник убедительно лепит из красок СВОЙ мир, про таких говорят: зрелый мастер. Сначала нагромождение кактусов напоминает готические замки...

– Мы приучены к ассоциативному мышлению, ищем, от чего автор отталкивался. Искусству вообще свойственна ассоциативность. То писали картины по поводу античной мифологии, потом умы заполонила библейская мифология – строят свой мир на обломках чужих мифов. А то пишут в духе старого или нового известного художественного направления. Сквозной философии для нового направления сейчас не определено. Нужен новатор, который увидит все по-другому. И не поверит, что все уже сделано в мире и больше ничего не поместится. И всегда есть возможность у художника создать на полотне собственный мир, невзирая на ассоциации. Неассоциативны только новаторы, люди великие. На них уже пойдут ссылки.

– Картины не вызывают сопоставления с произведениями других художников. Стиль называется экспрессивным?

– Экспрессивный реализм.

– Сочетания оранжевого, густого синего, светло-зеленого, черного держат в напряжении друг друга. Желтый неожидан, будто свет идет изнутри картины и зовет заглянуть на обратную сторону холста: там должно что-то быть...

Таня улыбалась. Мне и самой показалось, что я хорошо говорю. Разговорилась. Слова легко пошли. И дальше пою:

– Роскошные разные красные тона ткнут основу зеленым. Краски будто кровью насыщены, но приведены в равновесие и не кажутся яркими.

На минутку показалось: мне сегодня не остановиться.

Таня иронически улыбается.

Я спохватилась: переборщишь – глупо будет, когда много много – сразу глупо получается. Пора перестраиваться.

– У вашего мужа есть звания, награды? – спрашиваю.

– Нет. Он на это не рассчитывал, не ждал, не добивался.

– Почему же?

– Писал картины, книги оформлял, сидел дома...

– Жаль!

– Для звания надо было писать совсем другие по форме картины.

– Но у него хорошие картины! Я таких никогда не видела.

– Вы поняли: такое чувство цвета не часто бывает у художников. Вы заметили?

– Вы любите его живопись?

Мощно зазвонил телефон. Таня, держа чашку за желтую фаянсовую ручку, пошла в коридор взять трубку, но тут же вернулась.

– Что там? – спросила я.

– Звонок сорвался...

– А почему? – встревоженно спросила я, вспоминая фокусы с телефоном. – Кто же это может быть? Как вы думаете?

– Не обращайтесь внимания. У нас все время что-то не то делается. Непонятно что. Квартиру давно держат на стрёме.

– Как?

– Прежде службы за нами следили. Теперь не знаю, кто. Кто только не подкапывается под художника!

– Чем же объяснить?

– Интересно, что он тут делает? Подозрительно независим. Ни на кого не похож. Странно, что не рвется за званиями-наградами...

– А может быть, это под вас подкапываются?

– Все равно под него, только через меня.

– Вы боитесь?

– Знать бы, чего бояться – боялась бы. Бесполезно. Деться некуда. Вы, наверно, заметили: у нас неуютно и пусто. Как на вокзале. Были картины, и те украли. А больше у нас, к счастью, нечего взять...

– Вы страдаете от неуютя?

– Да нет. Привычное состояние. И есть смысл: сын должен учиться жить без чего бы то ни было лишнего... Зато нам ничто не мешает думать, и мы без помех увлекаемся мыслительным процессом и его творческим выражением так рьяно, что у нас лопаются мозги. Одна жертва в лице художника уже готова. Кто следующий?.. Что будет дальше, не знаю. Сейчас я ничего не могу сделать: мне совсем некогда.

– Сурово вы говорите!

– А как же! Создавать индивидуалистические миры, живя в мире коллективистском, дорого обходится. И мы, члены семьи, станем жертвами его творческой свободы. «Индивидуалист» у нас ругательное слово. Но понятие вполне человеческое и со временем должно приобрести широкое право на существование по сути дела.

Я, дитя коллектива, тут же встряла:

– Чем вас не устраивает коллективизм?

– Коллектив хорош во время войн, в период преодоления катаклизмов. Но сейчас войны вроде кончились, стране надо развиваться во имя людей. Индивидуальное творчество больше способствует развитию общества, чем коллективное. Вы видите, страна уже отстает от другого мира. Коллектив – «народная масса», которую можно стричь и бить, невзирая на лица. Индивидуализм требует обращать заинтересованное внимание на человека, уважать личность. Таким образом выигрывают и коллективисты...

– А-а-а... – открыла я рот.

– Коллектив не выносит единоличности. Всякому выдающемуся из своей среды даст по шапке или попросту отъест голову... Идет перелом в сознании. Когда он произойдет, жертвы будут считать не только в нашей семье, а в гуще народа. Вы увидите...

– Вы что, гадаете?

– Да не я гадаю. Художник предчувствует будущее. Сам первый и расплывается... Именно по искусству можно проследить, как появляются новые идеи, как идет идеологическая борьба внутри человеческого сообщества. Присмотритесь: перед вами предстанет грандиозная панорама движения духовных течений. Станет ясно: что «всегда в продаже» – выпадает в осадок «массовой культуры», что будет

далее – революция или война. Революции и войны начинаются в искусстве.

– Вы имеете в виду изобразительное искусство?

– В первую очередь – оно мне ближе.

– Как мрачно, Таня, дорогая!

– Почему мрачно? Совсем не мрачно – ясно, реальность. Мы в ней живем. Трезво смотрим на вещи: иллюзии в холстах, а взгляд снаружи – критичен, трезв, суров, как холст самый простой, грубый, без грунтовки.

– Вы как-то говорите... так жены вроде не говорят?

– Какие не говорят, а некоторые говорят. Разные бывают жены. «Искусство требует жертв» – слышали? И от меня тоже потребуются жертва, я ведь тут же балансирую на острие момента...

– А почему ЕМУ ничего не нужно? Звание не помешало бы?

– Во имя чего толкотню разводить? Есть слаще? Спать мягче? Запросы должны быть минимальными. Для наград и званий надо быть традиционалистом. Объяснения на вопросы я всегда буду давать, защищая ЕГО точку зрения. А не свою высказывать.

– Почему, Таня? От всех только и слышишь героическое: «Я сама! Я сама!»

– Не знаю. Так надо. Не собираюсь рассуждать. Некогда докапываться до глубинных причин. Некогда сомневаться в том, что я делаю постоянно. Чувствую тугое сопротивление жизни, но иду прямо, напролом. Некогда отыскивать лазейки для облегчения. Я ведь живу с художником. Не с мясником. Не хочешь – не живи. Никто не заставляет... Вот мне уже пора идти. – Таня спокойно посмотрела на свои часы. Жестко. Сурово. Глаза всегда сухие, колочие. Она к себе беспощадна, гробит сама себя, подумала я.

– Таня, я хотела вам предложить посмотреть семейные фотографии, может быть, я узнаю на какой-нибудь ту женщину, которую случаем видела. Бывает: крадут люди из числа знакомых.

– В маленькой комнате в одежном шкафу в старом пухлом портфеле возьмите и сами посмотрите. Меня ждет палата.

Она переделалась в ванной, набросила на плечо неизменную сумку и, мельком мне улыбнувшись, вышла из дома...

Деньги, бриллианты, украшения, тонны косметики – чушь по сравнению с такой Таней.

Она меня учит!.. А я перед ней заискиваю, как ученица... Отчего бы?

А, да, она же учительница... А я?... Неприятно...

Что-то вроде гжучей змейки проскользнуло внутри, зависть, что ли... Я путалась в стольких каталогах, бродила по выставкам. А цельного понятия, как у нее, у меня в голове не сложилось – каша из имен, общеизвестных полотен – и больше ничего. Зависть – чисто женское несправедливое чувство взяло меня.

Я, конечно, себя уняла.

Но факт остается: благородства нам, женщинам, не всегда хватает. Женские штучки – зависть к подруге, ревность, желание поставить на место, уколоть – время от времени, не спрашиваясь, интуитивно проявляется даже у меня, хотя я в этом смысле лучше других... лучше других... лучше других...

Я открыла дверки одежного шкафа. Ищу глазами старый пухлый портфель, из внутренней деликатности не взирая на все остальное... В данный момент меня ждет моя «палата». (Ее «палата», моя «палата» – соперничество «палат»? Тише, тише!)

Пусть не думает моя мамочка, что, предоставляя ухаживать за собой, она доставляет много радости и продлевает МНЕ жизнь. Моя жизнь полностью уходит на ее жизнь и назад не возвращается. Время не обратимо.

Впрочем, она думает только о себе, ей не до самоотверженных. Пусть сами разбираются со своей самоотверженностью. Ничего не поделаешь.

Разбор фотографий придется отложить до ночи.

Ночью сижу под яйцевидным на дугообразном послушно вращающемся стержне светильником в голубом тумане. Стены у них с голубыми обоями и широкая, складками свисающая занавеска голубого капрона на окне создают в комнате небесную пелену. Главное в комнате – цвет: желтый умиротворяет голубое буйство. По стенам простые деревянные кровати, без финтифлюшек, одна под голубым покрывалом, другая под желтым. Одежный шкаф, из которого я достала портфель с фотографиями – желтого цвета. Сижу за желтым столом поклонника Битлов. Вся стенка над столом залеплена тусклыми фотографиями кумиров с гитарами, видно, не первый раз переснятыми с отдаленного уже оригинала и умученными долгим висением на светлой стене. Рядом со столом – желтый книжный стеллаж: одна полка выделена под электропроигрыватель, накрытый прозрачным пластмассовым колпаком, и горку пластинок, вероятно, с песнями этих мальцов. Они открыли доступ на эстрадные подмостки мальчишкам с гитарами, восторгам и обожанию мальчишек всего мира. Уважающие себя артистические личности сразу завяли и под напором молодой необузданной силы деликатно потеснились, давая дорогу ничтожным самодельным хулиганам. От веселых, грустных, красных, белых, черных, голубых и всяких разных гитар не стало спасу. За ними выскакивали раззадоренные девчонки.

Мальчишки состарились, поседели, юношеский инфантилизм перешел в коммерческий фанатизм, и все непомерно разросшееся явление стало называться шоу-бизнес. Та еще агрессивная «массовая культура»! Искусство единичное – редко бывает.

Гора фотографий, никак не систематизированных, в основном любительских, редко из стационарных фотостудий с неестественной приглаженностью и манерностью, расплзалась в желтом круге света под лампой.

Попалось несколько профессионально снятых портретов художника: крупное мужественное лицо, видно, именно оно и привлекло фотографа внушительностью – похож.

Я ищу женщину определенного типа: полную, даже грузную, с черными волосами.

Не нахожу.

Ну хорошо: не полную, не грузную (не всегда была такой, потом стала), но с черными волосами. Определенный зрительный портрет у меня в памяти все же сложился. Допустим, волосы можно покрасить, но тип лица остается...

В отчаянии еще раз перебираю групповые снимки – ни одной соответственной моему впечатлению женской фигуры.

Еще раз...

Нет!

На дне портфеля нахожу маленькую записную книжку. Черная. Лаковая. Палехская. С цветным рисунком красно-белой церквушки. Листочки внутри распались по отдельности, посерели от касания рук, истерты по краям и разломачены.

Аккуратным почерком записанные то ручкой, то карандашом фамилии, имена, отчества – адреса, телефоны.

На одном, будто спрятанном листочке – колонка женских имен с мелкими цифрами, номерами телефонов, необычно записанные.

Света, Наташа, Вика... О них спрошу Таню...

– Я не знаю, – говорит Таня. – Старая книжка. Посмотрите ту, которая поновой. – Она достает из рабочего стола художника записную книжку размером побольше, в красном пластике, и запросто дает ее мне.

Мне показалось: она должна ее не давать, а наоборот, прятать от чужого глаза.

Таня живет слишком открыто. Мне кажется, так нельзя.

Но книжка у меня в руках, и я начну ее изучать.

3

– Мария Васильевна, – звонит ко мне Таня, – вы забыли запереть дверь нашей квартиры?

– Что вы, Таня! Я точно помню: тщательно ее заперла. Я к двери отношусь очень внимательно. Что случилось?

– Пока ничего не случилось: все на месте. Но был отперт замок.

– Кто-то отпирает дверь уж не в первый раз! – возмущенно крикнула я. – Я думаю, Таня, надо поставить новый замок для надежности, ради безопасности...

– Бесполезно: кому надо, тот прорвется через любой замок. Дверь слабая, картонная. Если менять замок, то надо начинать с двери. Я думаю, ничего такого делать не надо... Раз двери все время отпирают – не надо их запирасть.

– Да вы что! Надо крепче запирасться!

4

Как же можно так жить, думаю я. Просто Таня сейчас занята, ей некогда, возможно, у нее нет денег. Но так нельзя! Она ничего не понимает. Смешная женщина! А еще меня учит!.. Я тоже могу ее научить. Я старше. Я покажу ей, как надо. Человеку надо просто помочь. И не только советом.

Замена двери – дело сложное, дорогое. Но как только у меня появились деньги, я купила дверной замок, наняла мастера из ЖЭКа, и он поставил новый замок.

Таня, к удивлению, сказала:

– Зачем вы тратились, Мария Васильевна? Мне жаль ваших денег. Все равно ведь зря.

– Почему же зря? Новый замок: ни у кого постороннего нет ключа – никто не влезет...

– Вы так думаете? – усмехнулась Таня. – Посмотрим...

Я не поняла ее усмешки, но все же спала спокойно.

Но когда я проснулась и подошла к ихней двери – она была отперта! Что бы это значило?!

Таня была права. Что бы это, однако, значило?!

Я еще больше стала бояться этой квартиры.

5

– Я думаю, Таня, надо заявить в милицию.

– О чем?

– Ну как же: кто-то отпирает квартиру. Кто-то все время ходит около. Украли картины – разве мало? Вообще что-то происходит...

– Заявить, конечно, можно. Но толку будет ноль. Я не хочу. Неужели мне еще с милицией путаться? Я знаю этому цену...

– А что же делать?

– Я же говорила: не надо вообще запирасться.

– Вы что!!!

– По-другому посмотреть на событие. И поступать не привычно. А неожиданно...

– И что будет?

– То же и будет. Лучше будет. Понятнее и нам и ворам.

Бог знает, что она имела в виду. Я не могла допустить незапертой двери. Таня ее оставляла на произвол судьбы – я запирала.

Пока ничего не случилось. Но загадочность не рассеивалась, наоборот: все набухала, угрожающе разрасталась в моем сознании. Все же надо бы заявить в милицию.

А Таня говорит:

– Зачем мне сразу сдаваться милиционерам? Потом от них не отвяжешься. С какой стати милиционерам совать носы в наш дом, в семью, они только того и ждут. Я же охраняю очаг. Вы же знаете расхожее мнение: женщина – охранительница домашнего очага. В том числе и от милиционеров. И потом: Мария Васильевна, если я со своей стороны начну какие-то дурацкие действия, то вызову к себе больший интерес определенной службы. Представьте: кто кого съест? Я? Или меня? И не одну меня, за мной семья... Я, конечно, не очень умный человек, но не до такой степени глупа, чтобы противопоставить себя целой системе. В моем положении лучше сидеть потише, особенно теперь, когда ОН с подломанным крылом. А у меня пока оба целы. Мне не потянуть...

– Таня, когда я была у вас в квартире, звонил один человек, знакомый ваш и вашего мужа.

– Как представился?

– Подольников.

– Никогда! Ни за что!

– Почему? Вы его подозреваете?

– Ну что вы! Разве я откажусь кого-нибудь «подозревать». Я должна всех без исключения воспринимать, иначе не я буду. Скажите ему, когда будет звонить в следующий раз, если будет следующий раз, что ЕГО нет, а я попала в автомобильную катастрофу. Пусть порадуется и, может быть, отстанет.

– Что же он за человек?

– Его я знала давно. Теперь он опустился. На нас, видно, хочет снова подняться. Мария Васильевна, голубушка, нельзя, невозможно ни в коем случае его сюда пускать! От него потом не отделаешься. Что я буду делать?!

– Сказал, что он ваш друг.

– Разные «друзья» все время ходят к мужу в больницу, особенно когда меня нет. Я прихожу в палату, и мне говорят: были друзья.

– Ну, я знаю, зачем ходят в больницу: носят передачу больному, хотят подбодрить... – говорю я. Но, оказывается, не угадала.

– «Передача» – ерунда. Определяют, в каком он состоянии: окончательно ли спета его песенка. Я угадываю это не знаю каким чувством, но сделать ничего не могу. Пусть бы уж решили, что все конечно. ОН, конечно, этого не хочет. И я вижу признаки улучшения каждый день. Вы представьте, в каком состоянии я нахожусь.

– Ну вот, и то хорошо. Становится лучше...

– Хорошо, – безнадежно сказала как последнее слово Таня и больше не намерена была разговаривать: все равно, мол, никто ее не поймет.

Но я не могла успокоиться: мне казалось, она может «подозревать» и меня.

– Так кто же все-таки «они» и что им надо?

– Представляются лучшими «друзьями». На первый взгляд не различишь «доброхота». Потом донесет куда следует, а ты и не знаешь...

– О чем донесет?

– О своих наблюдениях. Кто знает, что они сочиняют в своих донесениях?..

– Как же вы их различаете?

– Со временем обострилась чувствительность, всю жизнь под приглядом. Да еще тут всё «работают». А вы говорите: в милицию. Нет уж, главным действующим лицом комедии я быть не хочу. Никуда заявлять не стану. Потерпим...

– А я не знаю... Что-то я не совсем понимаю, Таня, что за «друзья»? Стукачи, что ли?

– Но имейте в виду, Мария Васильевна: это слово вы сказали, не я, – говорит Таня. Я понимаю: говорить откровенно вслух она опасается.

Честно говоря, на минутку мне стало обидно, что ко мне никто не проявляет интереса: хоть бы кто-нибудь заинтересовался бедной вполне приличной женщиной... Хоть стукач какой постучал...

Таня по лицу прочитала мою досаду и говорит:

– Хорошо, что вы для «них» интереса не представляете. Можете жить спокойно.

– Спокойно? Я знаю, что надо сделать: поставить железную дверь.

– Зачем это надо? Вот смотрите: простая деревянная дверь, по-моему, картонная, – ее даже не долбили, ни разу не подожгли. Просто отпирали замок, и все.

– А что, бывают и поджоги?

– Вы разве не знаете? Поставим железную дверь – ее станут взрывать.

– Взрывать! Почему взрывать? Как взрывать? – Я обомлела.

– С помощью взрывчатки. Тротиловой шашки. Пластида. Чем еще взрывают? Мины бывают...

– Таня, вы с ума сошли? Я даже не представляю, о чем вы говорите.

– А я представляю, представьте себе. Потому не собираюсь препятствовать входу в квартиру. А значит – и выходу. И не так страшно, как при железной двери... Помните: за железным занавесом жили, и было страшно. Потому и страшно, что за железным. Потому и за железным, что страшно.

– Что страшно?

– Что вот-вот война начнется. А теперь все открыто, и никому не до войны. Даже если она ненароком и начнется... никто никуда не побежит. Потому что бесполезно... А вы говорите: железная дверь. А за железной решеткой жить не хотите? – Таня впервые засмеялась. Это, видно, значило, что она пошутила. Мрачная шуточка.

– У вас все перепуталось в голове, – упрекаю я.

– У вас перепуталось. Не у меня.

– Я никогда не думала о том, что вы наговорили.

– А я с самого начала все обдумала. Простой обыватель никогда не понимает, что по-настоящему происходит в мире. Не хватает информации. Нелюбопытен. Нечувствителен, бедный. А я уже все решила...

– Когда вы успели подумать и решить? – говорю я.

– Теперь уж не вспомнить. Давно начиналось...

– Как все невесело! – качаю я головой.

– Вам кажется, прежде лучше было?

– Конечно, лучше. Не то, что сейчас.

– Все так ошибаются! – говорит Таня. – У меня другого не было.

– Так кто же все-таки ходит? Кому это надо? Ведь могут вынести и последние картины.

– Не знаю... Кто хочешь может быть. Пока не пойман – не вор.

– Как хотите: но вы так говорите, прямо страшно делается.

– Ну почему – страшно? Вчера не было страшно, а сегодня вдруг стало? Еще ничего не случилось.

– Как – не случилось? Картины со стен вынесли. Муж заболел.

– Я имею в виду: больше ничего не случилось.

– Так еще случится!

– Но ведь страхами не спасешься...

Дело в том, что «вчера» я еще ничего подобного не слыхала: у меня было другое состояние – как в тихой заводи. Моя квартира в двух шагах от ее квартиры, но как же непохоже мы живем! У них совершенно другое ощущение жизни. И абсолютная беззащитность. По сравнению с ней я до сих пор будто тихо-спокойно спала. Неужели все семьи художников так живут? Таня, кажется, лишила меня покоя. И как она справится в таких жестких условиях?

Я снова спросила Таню: что происходит, почему она так живет и ничего не делает, чтобы прекратить безобразие.

– Разве вы ничего не боитесь? – говорю.

– Боюсь, конечно.

– Чего? – настырно спрашиваю, чтобы не уклонялась от ответа.

– Всего.

– А когда дверь в вашу квартиру доступна всем, кому не лень, – не боитесь?

– Конечно, неприятно. Что говорить...

– Что же вы не прекратите безобразие? – прямо в лоб спрашиваю.

– Безобразие. Его не прекратишь, пока само не пройдет...

– Что же это?

– Отзвуки прежней идеологической системы, я думаю.

– Как вас понять?

– Мария Васильевна, объясню вам, как сама понимаю.

– Я, Таня, совсем не понимаю, прямо беда, какая отсталая стала.

– Вы замечаете, как времена меняются, страна меняется? Уже многое изменилось на наших с вами глазах?

– Как понимать?

– Ну, прежде жили по другим правилам. Теперь и правила другие, магазины, улицы, машины, газеты другие – замечаете? Люди другие, ездят куда хотят, много нового говорят, что прежде не говорили?

– Замечаю, замечаю, как не замечать: «свобода слова», «права человека» – только и слышишь везде. Правда, слово «свобода» я определить не могу в его теперешнем понимании. Все распинаются, что свободны и будто делают, что хотят. Не верится, что так и есть: заблуждаются. Модно стало так говорить, свобода стала модой. Я, например, совсем не свободна и делаю больше то, что мамочке надо, а не мне самой. Небось и другие врут: делаю, мол, что хочу. А на самом-то деле сидят в своем углу, может, и не знают, чего хотят. Живут, конечно, как могут, а думают, что живут, как хотят. Откуда что берется в головах у людей, слова летают как хотят. Земля ходит по определенному кругу. А уж человеку... лишь бы поесть было что... А то и улетит «свободно» – в ад или в рай – что придумает себе в очередной раз, что выберет «свободно». Траектория жестко определена – не разгуляешься: или в ад, или в рай. Вообще неправду говорят. Понять не могут, что за миф, что за сказка...

Довольная своим правильным рассуждением, я приготовилась послушать и Таню. С ней так приятно поговорить.

– Произошла еще одна техническая революция – замечаете: компьютеризация во всем мире, глобальная связь через космические аппараты. С мобильника, что болтается у каждого сопливого мальчишки, можно позвонить в другую страну, в любой уголок земли. Только мы с вами пока не пользуемся. Пока...

– Мне и не надо. Они же засоряют космическое пространство и атмосферу. А вы почему не пользуетесь?

– Не держу ничего дома, всю технику могут вынести, украсть. Все время в двери ломаются, сами видите...

– Вот ломаются, а вы ничего не хотите предпринять! Я не понимаю...

– Время меняется. На сломе времен все обостряется...

– Что обостряется? И почему именно у ваших дверей? У моих не обостряется.

– Понимаете: прежде была одна идеологическая установка, теперь другая. Прежде следить за нами были наняты «друзья». Теперь они почувствовали себя не у дел. Их никак не переориентировали, о них будто забыли. Они в агонии, сами, видно, ничего не понимают, что теперь надо делать, и стараются пуще прежнего, работают, чтобы на них внимание обратили. Что прежде они делали аккуратно, теперь перешли на глупые, грубые провокации, хотят, чтобы их по-прежнему замечали, платили. Возможно, их негласно «сократили», а им хочется продолжать «славное» дело. Не знаю точно, но что-то похожее мне представляется. По-моему, они как раз и хотят, чтобы я непременно пожаловалась на них в милицию. Но не хочу идти у них на поводу... Мы дома редко бываем, а не исключено: о нас исправно идут доносы куда следует, как прежде.

– Куда доносят?

– Куда раньше, туда и теперь. Я не знаю системы слежки, сыска и доносов. Только чувствую кожей, нервами...

– Ну что же в таком случае делать?

– Да ничего не поможет. Надо просто спокойно переждать, когда агония кончится. Люди ведь меняются...

– Спокойно? Это называется «спокойно»?

– Ну, а что сделаешь? Руками махать – зря окажется. Понимаете?

– Боже мой, ничего, конечно, все равно не понимаю, но лично вас готова защищать голыми руками. Очень вам сочувствую. Но за что вас так пасут? Что вы сделали?

– Муж авангардное искусство делал. Кажется, поэтому... Но теперь, наверно, скоро прекратится: теперь многие на авангард перешли. У нас в стране ничего нового делать было нельзя. А теперь всё новое с Запада ташат. Дождались. Достукались. Доигрались...

– А что же за авангард такой по сути дела?

– Индивидуальное самовыражение, СВОЕ живописное мышление...

– Так, может, правильно не пускали, как отсебятину какую-нибудь?..

– Да что вы говорите! Ведь он не потрясал основ традиций, не боролся с государственной идеологией. Он утверждал СВОЕ видение мира, должно таковое иметь право на общественное существование. Его индивидуализм должен быть нужен людям, он их обогащает. Он никому ничего не навязывал, не мешал, просто сидел у себя дома и писал. И это, оказывается, нельзя! Ну почему?.. Так что вы не волнуйтесь, скоро перестанут нас с вами пугать.

– Спасибо: успокоили, нечего сказать! Неужели такое может быть?

– Я не говорю за всю страну. Я так понимаю, что вокруг НАС происходит, так объясняя всплеск интереса к нашей квартире.

– Как же жить?.. Таня, давайте выследим этих субъектов, схватим их за шкирку и сами одуем. Я вам помогу.

– Что сделаем?

– Отколотим. Я вам помогу.

– Выследить и отколотить?

– И то и другое.

– Мы их побьем или они нас?

– Конечно, мы.

– И вы уверены, что у нас это выйдет?

– У меня палка есть железная. Штырь такой!..

– Но они же люди. Не полагается бить людей железными палками. Я учитель. Я людей УЧУ. А бить... не мое дело. Я не могу. Я не могу таким решительным жестом перекраивать обстоятельства. Профессия определяет характер, мне не подходят рывки с железной палкой в руках. Терпение надо иметь...

– Ну уж, вам терпения не занимать – оно у вас, по-моему, богатырское. Удивляюсь, как выдерживаете вы всё. Нервы у вас, что ли, железные?

– Ну да, мне так и надо. Я вам не советую бить. Давайте не будем уподобляться пошлым детективам. Вы детективных романов читали?

– Да нет... – Я смутилась.

– Толку в такой детективщине нет и не может быть. Нужно перетерпеть, само пройдет, уж немного осталось. Отстанут они от нас, вот увидите. И муж

теперь не работает. Что их колотить, они ведь, может быть, несчастные люди.

– Ну, и долго придется терпеть?

– Одумаются. Отстанут. Будьте уверены.

– «Одумаются!» Как же они одумаются? Что вы говорите!

– Устанут. Умрут. Уедут. Переключатся на другое дело, когда поймут, что тут нет барыша. Страна меняется, и они переменяются. Не беспокойтесь, уже интерес к нам идет на убыль, только отзвук прежней эпохи, как пыль от колес на дороге осталась. Но пыль оседает... Честно говоря, ловить их «за шкирки» – разве больше нечего делать? От скуки еще можно бы пуститься в такое мероприятие. Для меня – это все равно что искать яйца динозавров в вечной мерзлоте. Ну их!..

Мне нестерпимо хотелось поспеть со своим предложением: «Давайте я их поймаю!» Но Таня какая-то странная, я перед ней тушуюсь, у нее в мыслях все по-другому и доводы какие-то непредвиденные.

– Но, Таня, как же выдержите вы? Неужели возможно вытерпеть, выждать, когда кончится безобразия? Надо же бороться?

– Мария Васильевна, вы посмотрите, что делается за дверью на лестнице: стены безобразно исписаны, лифт изувечен, окурки под ногами. Кто это делает? Попробуйте поймать кого-нибудь, как вы говорите, «за шкирку» и просто сказать человеческому существу одну фразу: «Неужели вам не стыдно?» Безобразники неуловимы, и вам никого не поймать. Я думаю, люди скоро изменятся. Не окурки же они, в конце концов, а люди.

Я почувствовала себя посрамленной. Нас всю жизнь уверяют: надо верить в людей, а я заколебалась.

– Что-то они сами в себя не верят и всё безобразничают, безобразничают – вот что непонятно.

– Пройдет, пройдет...

– Ну как пройдет? Когда?

– Не волнуйтесь: все проходит... Ну, а не выдержу, так сломаюсь. Муж, вон, не вынес. Но женщины, говорят, выносливее. Буду держаться, пока смогу. Никуда не денешься, так запрограммирована...

– Да, да. Я тоже запрограммирована...

Мне нравилось слово, оно такое интеллектуальное и для меня подходит. Я во всем с ней согласилась (правда, я что-то не очень понимаю: запрограммирована и зомбирована – одно и то же? Или разное? Если то же самое, то мне не надо, я не хочу...).

Таня ушла. Я приготовилась изучать записную книжку художника... Но разговор с ней так меня взбудоражил, я продолжала мучиться.

6

Приготовилась «изучать»...

Внутреннее чувство нерешительности, неуверенности, что правильно поступаю, останавливало меня, стопорило малейшее движение руки к записной книжке художника: рука повисала в воздухе, палец, подрагивая, сгибался, складывался вместе с другими в кулак – руки опускались. Меня останавливало смущение: заглядывать в чужую записную книжку не полагается, этому в школе учат. Я судорожно отстранялась от книжки, отходила прочь, уверяя себя, что сейчас можно заняться делом поважнее.

Но ведь одну я уже просматривала, особенно не смущаясь. Прежде просто не задумывалась, сдуру мало ли что натворишь. Но стоило включить разум, тут меня начало корчить: неловко, стыдно, неудобно... Таня столько тревожного наговорила.

Я решила пока заняться хозяйственными делами. Готовить сырые тертые овощи я не люблю, делаю редко, но сейчас именно этой работой займусь. Как некоторые женщины успокаиваются за рукоделием: вяжут из ниток, плетут или вышивают. При этом многое можно обдумать. Тереть морковь и свеклу на крупной терке сейчас проще, чем заглядывать в чужую записную книжку. Будем есть сырые овощи как гарнир или добавлять к картофелю, рису, макаронам – вкусно и полезно.

Лучше я еще капусты нашинкую для засолки.

Лучше все вымою и постираю.

Лучше я все приведу в порядок.

Лучше еще измучаюсь чем-нибудь.

Ну, что еще?

Делать больше нечего.

Полное изнеможение.

Какая между нами, соседями, разница?

Кто я такая, чтобы...

Я три десятилетия провела библиотекарем среди книжных стеллажей, прочитывала, просматривала, что выходило из печати и поступало в библиотеку, на законном основании – тоже вроде не последний человек, интеллигентия. Правда, получала зарплату из бюджета стыдно сказать какую. Разнокалиберных сведений в моей памяти скопилось столько, что никогда не забуду и не разберусь в них как следует.

Само слово «художник» вызывало у меня особое почтение. А кто еще питает подлинное уважение к живописцу?

Слои населения ориентированы по своим культурным интересам. Людям почтенного возраста (не возбраняется и другим возрастам) – пожалуйста, религия: храмы, Христос, иконы, писанные по традиционному канону. Другим (и всяким разным) – театры, кино, бесчисленные артисты – увлекайтесь, пожалуйста. Чтобы подогреть кино-театральный интерес народа, сам президент высочайше поздравляет артистов с днем рождения, собственноручно награждает. Пусть люди ходят в кино и в театры и не страдают по политике. Молодежи, хоть до ста лет, – спорт, стадионы на десятки тысяч болельщиков. Вести о спорте ежечасно по всем каналам радиотеле.

Кто остается? Кто книги читает. Их не так много. А кто смотрит станковые картины – тех еще меньше. Ходят культурные люди в музеи и что-то там понимают по большому счету – большой вопрос. По себе сужу и в себе сомневаюсь. Понимающих живопись – в мире минимальное количество: чем меньше, тем дороже должны стоить картины, которые называют искусством. Бульварные картинки любой художник может изготавливать приемами ремесла и не придавать большого значения произведениям подобного рода. Массовому зрителю они куда как понятны. И только. Я пассивный потребитель искусства. А ОН собственными руками (и мозгами) делает то, что я «изучаю». Художник живет на нашей лестничной площадке, как я и другие.

Но есть разница!

Потому и трепет и душевное мучение.

Но у меня благая цель.

Разве что...

Уяснив себе правомерность, я взялась за книжку.

Выделила женские имена. Потом отмела те, против которых были точно указаны профессия или место работы. Я рассуждала: культурные люди на краю картин пойти не должны. Дальше надо было спросить у Тани, знает ли она остальных, их я выписала в свой листок.

В конце книжки, уже на корочке, необычным шрифтом снова, как и в старой книжке, был столбик женских имен с номерами телефонов без адресов. Я выписала их тоже.

Некоторые имена вызывали, казалось, повышенную нервозность, будто какая энергия таилась в них, может, что особенное было связано с ними у художника. Пока все смутно, неопределенно, решительно ничего не известно. Я бесконечно всматривалась в записи, сделанные рукою художника, пока они не начинали вызывать волнение, подозрение, настороженность.

Мои собственные выписки, когда я их разглядывала, ничего мне не говорили, отвращали взгляд холодным безразличием. Может быть, впервые я почувствовала своим нервным аппаратом разницу оригинала и копии. В оригинал была вложена энергетика пишущей теплой руки, духовная эмоциональная насыщенность момента, сознание художника.

Зря считают: в словах мало толку. Наоборот: столько энергии, что она опутывает окружающий воздух и расплывается, конечно, понемногу. Тем более в написанных словах ничего не растрчивается, остается в сгустке. Потому на нас сильно действуют письма родных. А романы, смотрите: вызывают смех, слезы, надолго запечатлеваются в памяти всего лишь написанные события.

Сколько же человек-радар улавливает из окружающей его стихии и тут же излучает сам во все стороны!

Кажется, только сейчас, над записной книжкой, пробудилась во мне всеобъемлющая чувствительность. Прежде я была похожа на деревянный столб, с которым тоже, конечно, что-то происходит, но не с такой интенсивностью, как у людей.

Чтение многих текстов не обостряло внимания к ним, заставляло скользить по поверхности слов, глубоко не вникая в смысл и чувство, в них заложенные.

Стул подо мной скрипел и ворочался от того, как я волновалась над раскрытой страницей книжки. Столько энергий я разбудила в своем сознании, что можно было закачаться от их мощного напора...

Во сне я увидела всех женщин воочию, чьи имена были выписаны из книжки, как я их себе представляла. Среди них я искала женщину, которую видела у дверей с картинами.

Но это ничего не значило после пробуждения.

7

Немедленно выяснить у Тани о нескольких женских именах, записанных в книжке. Сейчас она спит, а я готовлю жареные пирожки с картошкой, их все любят, и ей понравятся, с кофе, с чаем – хороши! Мама моя поест. Ей много нельзя, но несколько штучек сами растут во рту.

Маленькие, румяные, аппетитные – вкусные. Самое главное – никто не делает такого теста. А картошка

и так вкусна. Если Таня захочет, я научу ее делать такие пирожки. Сейчас, сейчас лакомство будет готово. Приятно принести в дом горку свежее испеченных пирожков.

Я вышла с пирожками.

С верхнего этажа двое жильцов тащили с большим усилием чугунную ванну. Тяжеленная!

Наверху, видно, меняли сантехнику: стучат беспрерывно. Сейчас этого бегемота, вижу, ставят, около одной из квартир на нашей площадке. Она и похожа на бегемота.

Быт грохочет не переставая.

Вот уж действительно разные вкусы.

Кому что надо.

Но зачем нам ванна?

Никто не живет тихо-спокойно...

У Тани расстроенный вид, она не торопится обрадоваться пирожкам.

– Что-то случилось? – спросила я.

– Случилось. Как всегда.

– С вашим мужем?

– Муж в стабильном состоянии. На вчерашнюю ночь я, по рекомендации лечащего врача, наняла сиделку-медсестру. Доверила ей ночное дежурство в палате. Но...

– Она не пришла?

– Лучше бы не пришла... Ночью она пришла пьяная, заблевала пол и засорила раковину в палате. Легла на свободную кровать и до утра храпела так, что больные не могли заснуть. Чтобы не огорчать меня, один больной все убрал сам, а когда я пришла, они взмолились: не пускать больше к ним медсестру. Сегодняшнюю ночь я дежурила сама. Только пришла... неловко, стыдно... вы себе не представляете... – Таня еще больше побледнела и похудела.

– Ну вот видите: и такие бывают среди наших сестер. В нашем кругу чего хочешь найдешь. Ах, Таня, я вам сочувствую... Но... попробуйте моих пирожков, и станет лучше... – Хотя я уже не была уверена в благотворном влиянии пирожков, но поставила на плиту чайник: сейчас поьем кофе с пирожками... – Вы очень устали, Таня?

– Часа два мне удалось поспать. Ничего вкуснее никогда не едала. Большое спасибо! – Таня, изголодавшаяся, жадно ела пирожки.

Отодвинув их в сторону вместе с чашками, мы рассматривали записную книжку. Я спрашивала о женщинах, чьи имена там были, и просила вспомнить, у кого из них черные волосы.

Таня недоверчиво ухмыльнулась, начала перебирать записи одну за другой.

– Знаю... знаю... видела, но волосы не черные...

Я вычеркивала из своего листка.

– Не знаю... – Тут я подчеркивала. – Знаю: слышала, но не видела... – Я снова подчеркивала.

Осталось: раз, два, три, четыре...

Наконец я осторожно обратила внимание на столбик женских имен на корочке.

– Вы знаете этих девушек?

– Может быть, одну. Он как-то приводил ее на минутку домой. Она яркая блондинка. Тут же ушла. Ее звали Наташа.

Я тут же вычеркнула Наташу из списка.

– Я, в общем, не знаю, кто они такие... Я никогда не листала его книжку. Вы что-то подозреваете?

– Подозреваю. Конечно, подозреваю! Я и взялась специально подозревать! Скажите, Таня, он часто

встречался с людьми? Общительный он человек? Или одинокий? Затворник?

– Никакой не затворник. У него постоянно толпятся... – Таня задумалась.

– Кто толпится? Друзья?

– У него все друзья: звонят, приходят. Только я иногда мешаю: не впускаю, когда мешают работать. Он вообще не выносит одиночества, когда не пишет или не рисует. А когда мы вдвоем выходим на улицу, с ним беспрерывно за руку здороваются. Можно сказать, проходу не дают знакомые, друзья. Вся улица – его знакомые. Я редко выхожу вместе с ним. Я не люблю. Да мне некогда. На меня смотрят, будто я лишняя, – так это и есть...

– Вам обидно?

– Нет, что вы, у меня свои дела. Я целый день в школе. У него кто только не пребывает за день.

– А к женщинам? Как он относится?

– С интересом, наверно.

– А они к нему?

– Он очень обаятелен внешне и внутренне: на него, как говорится, «вешаются».

– Вы извините: я ведь ищу ту, которая выносила картины. Может, вы знаете черноволосую, полную?

– Я уже думала об этом. Вроде не знаю...

– Извините за откровенность: вы ревновали его? Я бы ревновала.

– Что толку ревновать! В городе есть женщины, незамужние или разведенные, есть и замужние озабоченные, не знаю почему – молодые, здоровые, в самом соку, они в постоянной охоте на мужиков. Жуткие твари! Если чей муж остается в одиночестве или без присмотра, отбилась от семьи, жена заработалась, они как акулы накидываются на него. И будьте уверены, прохода простаку не дадут.

– Что, все сразу? – спросила я.

– Почему все? И поодиночке тоже, – растерянно сказала Таня. – Бабы на расстоянии чувят зрелого мужика: вызванивают по телефону, ходят домой, будто по работе, и в конце концов таки затащат в свою постель. А мне, по-вашему, ревновать? Ревности не хватит...

– А я ревновала...

– Не мне вас учить...

– Так вы думаете, ревновать не надо?

– Да кто как может. Кому как удастся... У жены ведь много дел: не будешь висеть на муже с утра до вечера... Не хватает – с ними соперничать... Любая жена по сравнению с такой дрянью – просто наивная девчонка.

– Вот что! – Я рот раскрыла от удивления перед таким откровением. – Что же делать-то в таком случае?

– Ничего не сделаешь: все равно тебя обойдут.

Представляю, как здорово она ревновала, подумала я.

Таня тут же ответила на невысказанный вопрос:

– Ревновать – было бы для меня слишком просто. Столько людей вокруг него, а я, видите ли, ревную. Подумаешь – цаца! Многого надо брать на себя, а ревновать... Ну, может, и было, но – ерунда! А вообще – банально.

– Как ерунда? Как – ерунда? Из ревности... убивают!

– Да зачем убивать? Мы сами умираем. Что мы, дикие, что ли? Мы же культурные люди...

Все думают, что они «культурные». Да они, оказывается, и не ревнуют.

– Впрочем, ревность не главное, – говорила Таня. Зацепило-таки ее. Ревнует, конечно, ревнует, не хочет сознаться, главным, видите ли, не считает...

– А что главное?

– Да все остальное кроме. – Таня засмеялась. – Ну, Мария Васильевна, вы смутились? Вы же еще хотите спросить. Спрашивайте дальше. Я знаю, о чем вы хотите спросить. Я отвечу.

Я вопросительно подняла глаза.

– Знаете, как в школе мальчишки озорничают над девочками? Подходит с псевдосерьезным видом малыш и трагическим голосом спрашивает: «Лена, ты любила когда-нибудь по-настоящему?» На последнем слове усиленное ударение. Лена лупит его книжкой по голове, а он, дико хохоча, от нее убегает. Вы ведь приблизительно это хотели спросить?

– Не совсем.

– Мы не мучаемся. Мы встретились студентами. Столько лет прожить без чувств невозможно. У нас все в порядке. Художник не смог бы жить с враждебной женой. Между нами духовная связь...

– А как к вам мужчины относятся?

– Пристают ли? Пристают иногда. Ничего особенного. Мужчины и должны к женщинам приставать.

– А вы?

– Очень просто: не хочешь, не соглашайся. А как к вам относятся мужчины? – лукаво улыбается Таня.

– Меня уже не любят. И призраком любви меня уже не обманешь...

– Грустно! Как же вы живете с таким настроением?

– Нарочно живу. Потому не скоро дождутся, когда место освобожу... Забота о матери меня держит.

(На секунду мне представился мир без меня: по небу так же плавают облака, зимой холодно, сыро, ездят такие же машины, как сейчас, – грязные, гудучие, вонючие. Люди ходят перестроенные, реформированные до невозможности... Можно еще подождать с уходом. Не к спеху. Успеется... Зато я люблю больше час от часу...)

– Мужчины относятся к женщинам с презрением, – открывает мне Таня.

– С презрением? – Мне кажется, она говорит мне в утешение.

– А вы как думали?

– С любовью к вам должны.

– Как бы не так! Презирают! Если «с любовью», то все равно с презрением.

– Меня, вероятно, тоже презирают.

Таня нагнетает:

– Нас считают низменными существами: глупыми, пошлыми, жадными до всякой ерунды – женщины ничего не понимают как следует.

– Впервые слышу от женщины.

– Вы же не станете спорить: женщина – вечный двигатель торговли. Вещь. Не человек. Мужчины брезгливо морщатся. Разве вам не приходилось подобное замечать?

– Не знаю... Может быть, совсем наоборот...

– Никто не мешает вам, Мария Васильевна, думать наоборот и как угодно – никого не интересует.

– Вы, Таня, прямо меня ошарашили. Я все же стараюсь быть человеком.

– Значит, заметили, как непросто быть человеком?

– Да.

– Вы замечали, конечно, что любое мужское лицо, не скрытое волосами, выглядит убедительно. А любое женское, как бы ни украшали его волосами и красками, – просто животное лицо, а часто бывает и хуже животного? Редкие исключения встречаются и в той и в другой среде. Но в целом... Только об очень красивой женщине можно сказать, что она редкий экземпляр природы в животном мире. А вы говорите о ревности! Чтобы я ревновала?! Понимать лучше, чем ревновать...

– Ах ты, господи!.. – вырвалось у меня от растерянности. – Откуда вы знаете?

– Реальность. Окружающая действительность. Тише, тише! – успокоила Таня. – Сказать подобное кому другому, поднимется визг – «общественное оскорбление!» – по судам затаскают по поводу «чести и достоинства». А вас я уважаю. Только вам доверяю, вы поймете...

Пришлось понимать, сколько тяжелых тревог и тоски в душе женщины! Даже дыхание перехватило: как же она живет с таким настроением? Может, и правду она говорит, да не всю.

Я взяла себя в руки, напрягла голосовые связки, вздохнула для убедительности тона и говорю:

– Если мужчины такие умные, как вы говорите, пусть сначала спасибо скажут за то, что женщины рожают детей, лечат, выхаживают и терпят их самих, когда у них инфаркты да инсульты и ум колеблется, а потом презирают!.. Что бы ни было в жизни, что бы ни говорили мужчины, все равно у них много недостатков: они вон плохо государством управляют. Легионы их толпятся у власти, а столько несчастных людей в стране! По их вине! При хороших правителях такого быть не должно. А вы, Таня, знайте: вы благородный, самоотверженный человек. Хотя и женщина. Вы бриллиант чистой воды. Даже если никто никогда вам об этом не скажет. У нас не любят ценить человека по достоинству. Верьте мне. Я зря не скажу. Не сомневайтесь и в себе. Если в чем сомневаетесь, меня спросите: я вам дружески сочувствую, все правильно вам скажу. Важно, чтобы вы в себе были уверены. И не тушуйтесь, я вам говорю!

Кто еще ей скажет такое? Может, никому другому в голову не придет...

Таня призадумалась, колебание печаталось на лице.

«Господи! Милая ты моя!»

Мне не хотелось, чтобы она мне отвечала: скажет что глубокомысленное, ни слов, ни наблюдений у меня не достанет переубедить. Я вообще предпочитала, чтобы у нее не было важных мыслей: другие, вон, вообще без мыслей счастливее живут...

Я перевела разговор в более насущное для меня русло:

– Как вы думаете, среди записанных у меня может оказаться та, что...

– Не знаю. Может быть...

Как же проверить, думала я. Как проверить? Большая работа предстоит...

8

Женские образы теперь чередой вставляли перед моим мысленным взором и во сне как наяву.

Давно известно: наши любят беседовать в кухнях. Когда-то давно и мне привелось побывать на кухонном ристалище.

Трое во главе с хозяйкой сидели на табуретках вокруг стола. У одной зад свисал с табуретки, она все подсказывала, подсказывала, ей не сиделось спокойно, скользила. Хозяйка кухни курила и пила кофе, кофейник беспрерывно грелся на газу. Над столом висел красно-розовый абажур, лампочка в нем не горела, но солнечным светом с улицы просвечивало его.

– Вообще-то все мучительно! – всхлинула одна.

– Да что, что, что ты?..

– Я утром с таким мучением ощущаю необходимость с кровати вставать – век бы лежала, ничего не делала. Но что-то все же заставляет подниматься... Встаешь, идешь, скулишь, трендишь, тянешь ляжку...

– Но что все-таки заставляет подниматься?

– Как у всех...

– А всех что поднимает?

– Как всегда...

– Что – всегда?

– Всегда все так делали, ну и я туда же...

– Ну куда – туда?

– Ну вот сейчас-то я не лежу, а сижу, ты же видишь, разве тебя не убеждает? Вот сюда приперлась...

– А я лежать долго не могу: чуть свет – сразу подпрыгиваю.

– А дальше что?

– Под душ горячий, холодный, кофе, сигарету – на работу...

– А ты пей побольше...

– Кофе, ты имеешь в виду?

– Зачем – кофе? Водку, пиво, вино. Смотря что подвернется.

– А ты что: все пьешь?

– А кто не пьет? Ты не пьешь?

– Я редко.

– Вот я и говорю... А если с мужиками водишься, приходится им соответствовать: и курить, и пить на равных. И не очучиваться. И спать, и драться, если понадобится. Да при этом не ходить с битой мордой да с подбитыми глазами. Уж если дерешься, так до победного конца. Иначе нечего рыпаться...

– Так ты не работаешь, что ли?

– Работаю, как же, кто у нас не работает. Разве можно у нас не работать?

– Как на войне прямо.

– Почему – не на войне? На войне и есть! У меня своя война.

– Да нет никакой войны!

– У тебя нет, а у меня есть – вот и вся разница. А ты... мелко плаваешь...

– Почему – мелко?

– Мужика у тебя нет. Ты, видите ли, с мужиками не водишься.

– Я не знаю, где их берут.

– Как не знаешь? Они везде. Проходу порядочным не дают.

– Да! Я хочу, но...

– Вот то-то и оно!.. Как же ты из положения выходишь?

– А я не в положении.

– Ха-ха-ха-гы-гы-гы... А я вечно «в положении». Как весна – я на аборт. Каждый год кровь проливаю, кровотечением исхожу. А потом опять...

– Что – потом? Аборт – не больно?

– Да! Не больно! Попробуй: еще как больно!

– Тогда зачем?
 – Глупая. Жизнь заставляет.
 – Как же так она тебя заставляет?
 – Надоела ты с вопросами! Как-как: мужик хочет, просит, откажет не могу.
 – Почему не можешь отказать?
 – Потому что... Раз откажешь, два откажешь, потом останешься сама с собой. Я не привыкла в одиночестве.
 – У тебя же муж есть.
 – Есть.
 – Ну и что?
 – Ну и что же! Я ему не отказываю. То же самое. Все сначала.
 – Так ты бы рожала.
 – Сама рожай!
 – Но мне... где мне... как-то... Ну, ты даешь!
 – А ты почему не «даешь»?
 – Некому.
 – Недотрогу из себя изображаешь?
 – Я не изображаю. Просто у меня не получается.
 – Ха! Не получается. У других получается: проходу не дают. А у нее, видите ли, не получается. Зануда ты, что ли? Я этого не понимаю.
 – Я не зна-а-аю, почему меня не любят мужики? Я ничего им плохого не делаю...
 – А хорошего делаешь? Видно, слишком много ты хочешь, и тебя боятся. Даже подойти боятся. Я бы на их месте к тебе никогда не подошла...
 – Почему?
 – Да ты на себя посмотри.
 – А что у меня?
 – Да ничего.
 – Как – ничего? Все то же, что у других.
 – То же, да не то. Серо-желто-зеленая кожа – раз. Грудей – нет, жопы нет. Одна талия. Небось, талией одной и фигуришь? А этого мало. Зачем мужику талия, если мужик из себя как следует?
 – А что им надо? Что?
 – И туфли на каблуках, конечно, тоже не помешают. Но...
 – Что?
 – Этого мало.
 – И этого мало? Ты уж меня совсем опустила.
 – Что же ты делаешь по ночам?
 – Читаю. Сплю.
 – Ну и спи!
 – А тебе какое дело?
 – А ты не спрашивай порядочную бабу.
 – Спросить нельзя? Говорим же... Вот скажи, почему женщины не рожают?
 – Потому что кормить нечем! Что же: нарожаешь, и впроголодь всех держать? Если бы не это, я бы – пожалуйста! – рожала. Может, мужики бы не так лезли.
 – А я бы все равно рожала. Троих бы точно родила. Я бы их идеально воспитывала.
 – Ха! Родила! Чем ты бы их рожала: своими костями? Не треплись! Вот у нас с Алей есть по одному и вполне хватает.
 – И то много, – убедительно сказала Аля, доливая кофе из кофейника.
 – Вот-вот, и я думаю.
 – Так не рожали бы вовсе, – говорит та, что мечтает о троих.
 – Вообще не рожать – невозможно. Хоть один разок, но попробовать-то надо...

– Кому – надо?
 – Попробовать хочется хоть раз. Но имей в виду, это мучительно.
 – Ну, и помучиться дай бог! – говорит Аля.
 – Рожай, рожай, – говорит ширококозая, – тебе медаль дадут. – И смеется. – Жопа отрастет. Грудь появится...
 – Ну, ты уж меня совсем смешала... – обижается худенькая, серенькая.
 – Кому ОЧЕНЬ хочется, у того всегда, как-то непонятно почему, не получается... Так что же ты по ночам делаешь, скажи на милость?
 Худенькая смущается.
 – Скажи, скажи. Что молчишь-то? Нам интересно.
 – Да что ты ко мне пристаешь?
 – Не пристаю. Я вам все рассказываю, и ты нам рассказки.
 Худенькая чуть из себя не выходит.
 – Да тебе какое дело?
 – А интересно! Не горюй! Сто лет проживешь, береженная, неистрепанная...
 Худенькая разворачивается и дает ширококозой по морде. Начали драться, таскать друг дружку за волосы, за носы, рвать за груди, за пупки, лягаться, выдирать из ушей сережки и ругаться на чем свет стоит.
 «Крольчиха! Крыса!» – «Серятина! Картофельный очисток! Пустая ореховая скорлупа! Сухостоина вонючая!» – «Б...ища!» – «Онанистка несчастная!» – «Акула зубастая!» – «Килька тухлая!» – «Чертovo влагалище!» – «Жопёнка хилая! Замухрышка!»...
 Аля смотрит, с удовольствием улыбается. Они уж чуть не до крови поцарапались. Аля опасается, что они ей посуду переколотят, все стены раздерут в ее четырехметровой кухоньке, вступается, встает между ними, растаскивает, получает кое-какие оплеухи с обеих сторон, но слегка угомоняет подружек.
 – Девчонки, сядьте на место, выпьем на брудершафт. – Аля разливает из бутылки водку по стопкам. – Сестрицы милые, за вас!
 «Сестрицы» выпивают, что-то бросают в рот для закуски, недовольно успокаиваются, не глядя друг на дружку. Аля, довольная, наливает по следующей...
 Ширококозая было начинает:
 – Знала бы ты, чего все стоит, доска фанерная!
 Аля начинает высказывать свое видение женской проблемы.
 – Вот у меня и муж был, и сына родила, и пила, и курила вместе с ним, а вышло... – В этом месте своего разговора она снова начала раскуривать сигарету и запустила дымом сначала в одну, потом в другую. – Он все время водил сюда, вот сюда, где вы сидите, друзей. Здесь столько перебивало! Сначала по одному, потом с женами стали ходить. Ходят и ходят. Один раз я не выдержала и как гавкну на очередных друзей, когда они еще за дверью стояли, так они покатались по лестнице вниз, а он убежал за ними. И больше он не показывается, у какой-то другой живет. А ко мне теперь одни бабы ходят... Я уже привыкла, чтобы ко мне заходили, и обычая не меняю. Только вы больше не деритесь. За это и выпьем еще!
 Двоим стало видимо неприятно, что они тут сидят вместо мужиков, и они засобирались. Аля не удерживала. Но провожала одну за другой по отдельности, через некоторое время, только бы не вместе уходили, а то снова подерутся на лестнице, ей

будет стыдно за своих гостей перед соседями, а этого не должно быть теперь, когда мужа нет и некому заступиться, соседи заклюют, засмеют, презирают, сейчас-то пока ей сочувствуют, а сочувствие надо ценить и, по возможности, культивировать.

После ухода гостей Аля допила бутылку до дна, будто перекрестилась, и небрежным движением левой руки с глухим стуком выкинула бутылку в полиэтиленовое помойное ведро у раковины, окутанное изнутри мешком загадочного серо-жемчужного цвета, в правой руке все еще держала опустошенную граненую стопку, предмет тех времен, когда других стопок не продавали, теперь всякие есть, но пьем все из тех же наперекор злым для нас временам. Счастливыми-то времена бывают вначале, когда соображения мало и все нравится без разбору, а когда ум накапливается, жизнь сложнее кажется... и ненавистней.

Любопытной была моя собственная роль: я все слышала будто со стороны, но сама была и первой, и второй, и третьей бабой.

Воспоминание будто сон наяву. Всем бы видеть сны про самих себя!

С утра пораньше я нависала над колонкой женских имен из записной книжки художника, семь прелестных имен шевелились перед глазами, словно котят под шерсткой цифр – номеров телефонов.

Таинство имен.

Загадка цифр... Имена закодированы в цифрах. Цифры – в именах.

Загадки, вообще-то, разгадываются... должно быть, так. Но как?

Инкогнито я позвонила по телефонам: шестеро в действительности существовали, седьмой, номер Светы, пока не отвечал. Жаль, что по телефону не видно, какие у женщин лица и волосы. Зачес черных волос толстухи, что выносила картины, отложился накрепко у меня в памяти. Вот где нужен бы видеотелефон. Но увы... потому я и отсталый человек, что у меня нет такой ничтожной малости, как видеотелефон, – безнадежно технически отсталый субъект. И мне себя поэтому жаль. Так жаль, как не было жалко, когда меня надули трое молодых людей на улице: двое стройных юношей с красавицей девушкой во главе. Они таки всучили мне, доверчивой, никогда никого не обманувшей, электрочайник и утюг по низкой цене под видом рекламной кампании Шестого канала ТВ. Но плакали мои денежки: приборы были бросовые и не поддавались ремонту.

Милые, милые, красивые жулики!

А так хотелось не отстать от реалий времени. Но кто нас только не обманывает – сверху донизу. Никто уж правде не верит, подавай обман пострашнее или покрасивей, лишь бы только не правда в глаза.

Каким бы обманом, думаю, вызвонить этих девушек, собрать их в одно место и просто издали на них взглянуть? Мечтаю, мучаюсь, хожу... Телефон Светы все не отвечает...

У меня нет практики в обманах, все может выйти неуклюже, глупо, нелепо и жалко, кончится тем, что обману саму себя: такие дураки, как я, не обманывают, а с удовольствием обманываются.

Но вот со Светой у меня все же кое-что получилось. Ответил ее телефон мужским голосом, неприятным, подозрительным. По тону можно было предположить, что он компьютерщик. Все они теперь компьютерщики. Это у меня даже видеотелефона нет, а они все с компьютерами, попевают, задрив

штаны, за техническим прогрессом. Его ум плавает по Интернету, неожиданный телефонный звонок вырвал его из важного сайта. Он позвал Свету компьютерным голосом.

Я обещала передать ей записку от знакомого человека («От кого?» – «Узнаете из записки»). Она доверчиво согласилась встретиться со мной в условленном месте у газетного киоска. Я обещала быть в широкополой шляпе, чтобы она меня узнала (какая шляпа! Сроду не было никаких шляп!), она будет держать перед собой любимую газету, чтобы я ее узнала. У Светы радостный чистый голос. Без всякой шляпы я прошла мимо означенного киоска, народу толпилось порядочно, людям хотелось после работы полистать газетно-журнальную дребедень. И стояла белокурая женщина, прижав к груди «Известия», как условились.

Пусть стоит. Она мне больше не нужна. Единственно хотелось бы у нее спросить, действительно ли муж у нее компьютерщик? Или я обманулась? В конце концов, неважно. Абсолютно неважно. Возможно, он и не компьютерщик вовсе. Или пусть остается компьютерщиком, мне уже все равно.

Постоит Света и домой пойдет, обманутая мной. Хорошенькая! До чего имя подходит: Света. Свет льет изнутри и снаружи. Понимает ли «компьютерщик», каким сокровищем владеет?

Я решила: не понимает. Живет компьютером и инстинктами, думает, все окружающее ему обязано и зависит от работы его внутренних желез. Воспитаны-то они низким уровнем дурацких новогодних елок, глупых украшений, дедов морозов, снегурочек, святков, колядок, костров, искорок, звездочек, огоньков, слюнявых блесток, наклеек, нашлапок, нелепых постеров с сомнительными словесами. Мода толкает им в нос пошлые глупые вещи. Целые народы умиляются отвратительной мишурой, пока их отпрыски рвут петарды, будто специально упражняются в террористических актах. Зато народам есть что делать: бороться с террористическими актами. От искорок, петард земля задыхается в беспрерывных пожарах...

Да, я злая старуха!

Старуха и должна быть злой. На ахинею, застой, тупиковый прогресс.

Света не та, кто меня интересуется, она не краля картины.

Я возвращаюсь домой вычеркнуть Свету из списка вместе с ее телефоном: на лестничной площадке вижу соседку, она скребет и драит белое эмалевое нутро ванны, которую вчера снесли с верхнего этажа двое мужиков. Растрепанные потные волосы, красные руки, ношенный халат, выражение напряженной целенаправленности на лице.

– Лидия, ты хочешь заменить свою ванну этой? – спросила я.

– Зачем? У меня хорошая.

– А зачем ты ее скоблишь?

– Придаю товарный вид.

– Зачем?

– Им не надо. Я ее продам.

– Как продашь?

– Дам объявление.

– А куда ты его подашь?

– В бюро объявлений. Придут и сами возьмут. Ванна хорошая. Тебе не надо ли?

– У меня есть своя.

– Ну, кому другому... – благодушно пыхтела она.

– Молодец, Лидия! – удивленно сказала я.

– Я знаю! – горделиво сказала она.

На другой день ванна была прикрыта сверху картоном. «Чтобы, значит, не запылелась. Предусмотрительная!» – подумала она.

На всех железобетонных фонарных столбах по улице белели свеженалепленные, среди повыгоревших других, объявления.

«Продается чугунная ванна почти новая в хорошем состоянии». Ниже – зубцы с номером телефона Лидии.

Столбовое «бюро» работало оперативно. Особенно интересно показалось слово «почти». До чего смешны бывают мелкие вспомогательные слова...

9

Ступаю на лестничную площадку: ванны нет. Лидия подтирает шваброй пол на месте, где она стояла. Она моя ровесница, я легко заговариваю с ней.

– Неужели продала?

– Да! – приглушенно торжествуя говорит она.

– Интересно, за сколько?

– Дешево, – уклоняется она. Потом объясняет: – Ванна хорошая. Настоящая чугунная – теперь таких не выпускают, все каменные-то из заменителей. Раньше все было лучше. А тут металлу-то сколько!.. Один вес чего стоит... Тонна металлу... Обидно, знаешь: другие, вон продают, а мне продать-то все нечего, нечего...

– Кто продает?

– Да вот соседи недавно картины продавали. А мне и продать нечего. Смотрю: все равно ведь ванну выбрасывают, я и догадалась...

– Постой, постой, почему ты говоришь: соседи картины продавали?

– Сама видела.

Я подскочила от неожиданности.

– Где видела?

– Внизу на скамейке сидела. А они при мне картины выносили. «Чего вы носите?» – говорю. «Купили», – говорят. Целый «каблук» нагрузили.

– Они ведь краденые картины выносили! – чуть не закричала я.

– Не знаю, ничего не знаю... – уклоняется она.

– Так ты, выходит, хорошо тех людей видела?

– Ну да. Видела, как тебя сейчас. Шофер, молодой такой, и баба.

– Как выглядела баба?

– Толстая такая... Оч-ч-чень хорошо одета... в черном... вся в шелку!..

– А в лицо видела?

– Лупоглазая такая. Похожа на иностранку. А что?

– А волосы какие?

– Брунетка. Да. А что?

– Что, что! Обокрали нашего соседа.

– Так ведь он вроде в больнице лежит?

– В это время и обокрали.

– Не знаю, не знаю... – И она спешно повернула к своей двери. Тем более что сверху зачирикали каблук. Испугалась: привлекут, вовлекут, затаскают...

Дальше я не спрашивала, глубже не копала. Не стала ее «пугать». Мы разошлись по своим квартирам.

Хорошо, думаю, круг подозреваемых не так велик, а круг свидетелей расширяется.

Шофера с машиной, может, на улице «поймали».

А вот черты женщины на ее и на мой взгляд вполне сходятся. При случае опознания она мне поможет. Не будет же вечно твердить «не знаю – не знаю»... Уж сумею ее убедить.

Стою и думаю: а вдруг художник действительно сам продал картины? Свои – имеет полное право... Но зачем же баба так нахально сбрасывала ключи? Зло. Ожесточенно. Я сразу заподозрила нечистое дело – кражу. Первое подозрение почти всегда верным бывает. Доказать трудно, но правда чувствуется неизвестно каким глубоким геном.

А вдруг не так?

Я все рассказала Тане. И она сначала склонна была поверить, что муж продал картины. Я не ожидала подобного отчаяния: что с ней было!

– Как? Продал? Без меня? Зачем? Да что же такое! Это его основное творчество. Базовая философия. Этому еще нет цены и скоро не будет. Когда еще прозреют! Никто сейчас этого не понимает. У него даже каталога картин нет. Неужели он мог продать глупо, за копейки творческие находки?..

– А прежде он продавал картины?

– Продавал иногда. Дарил больше. Когда просили. Или специально писал варианты на продажу. Но эти нельзя продавать! Творчество – оно ценно. Слишком ценно. Кто бы понимал! Боже мой! Ненормальный или совсем одурел?.. Да я больше к нему не пойду. Я видеть его не могу за это! Пусть без меня умирает...

Таня опустила руки и будто от всего освободилась.

– Да нет. Не может быть. Без меня. Не посоветовались со мной? Не мог он продать. Где же тогда деньги?.. Непонятно вообще, что произошло. Отчего ему стало так плохо? В кражу я больше верю... Ему стало немного лучше. Он потихоньку приходит в себя. Но я не могу говорить с ним сейчас о картинах. Сказать, что нет их дома, не повернется язык: в них же душа, сердце, мысли. У него может еще что-нибудь лопнуть в мозгу. Он не перенесет спокойно...

Таня зарыдала. Каждодневное напряжение, усталость, бессонница прорвались слезами. Она не плакала, когда обнаружила пропажу. А тут впала в истерику.

– Извините... – сказала она. Но успокоиться не могла.

Что я наделала!

Не я наделала: две разные версии об одном событии, в данном случае отлитые в два загадочных слова «продажа» и «кража»... Я видела: в данном случае она предпочитает кражу, а не продажу. Это меня подстегнуло к действию...

– Извините... – сказала я и молча вышла.

Я молчала, но мне до слез было жаль молодую прекрасную женщину, попавшую в трудное положение. Ей есть о чем плакать. Я готова ей помочь, но дело не в жалости, и не стоит о ней говорить.

В моей юности считалось: жалость унижает человека. Я ни прежде, ни теперь не разумею, кого унижает жалость – кто жалеет или кого жалеют.

Я оставила ее выплакаться без помех, без посторонних и поспать, чего ей давно не хватало.

Отношение женщин друг к другу я знаю, но хочу сочувствовать по-другому. У нас хорошо быть бедной, несчастной, обиженной.

Холодно – товарки тебя обогреют.

Голодна – накормят, разделят последний кусок, напоят (даже водкой).

Нечего надеть – отдадут последнюю рубашку.

В горе утешат, уйму ободряющих слов найдут, каких ни в жизнь не услышишь: вся вековая фольклористика пойдет в ход и на пользу.

Но...

Если выдвинулась из среды способностью или поймала ненароком удачу – берегись подружек. Злобная зависть, наветы со всех сторон тебе обеспечены, не поймешь, откуда что берется.

На понимание не рассчитывай.

Беги подальше из круга подружек – иначе сожрут, сделают несчастной и возрадуются.

Я называю это женской социальной психологией.

Нужно или не нужно жалеть сейчас Таню? Пожалуй, не надо.

Отойди, не мешай, само пройдет, если, конечно, солнце не погаснет именно в это время. Я была уверена, что поступать надо именно так. Но потом стала мучиться сомнением: не навредила ли Тане своим излишне старательным доброжелательством. Чужая досужая старуха лезет в семейные дела, надоедает частым присутствием...

Оказалось: нет, не навредила. Через некоторое время Таня спокойно рассказала, что ей удалось выяснить: картины свои художник никому не давал и не продавал. Сказала спасибо за сообщение.

10

Я снова углубилась в список женских имен из записной книжки художника. Даша, Юля, Ира, Нина, Мила, Зина, Тамара снились мне все вместе и по отдельности: они будто ждали меня по ночам в самом подходящем для встреч месте – в метро у эскалатора, – а я, промелькнув по ним цепким взглядом, понимала: у них интерес не к картинам. Скорее их могут интересовать непосредственно настоящие, живые, свежие, теплокровные усатые волосатые мужики... Безнадежные мучения были во сне. А в реальной действительности дело оборачивалось, на мой взгляд, удачнее.

С бабушкиного дачного участка приехал домой Танин сын Петя, белобрысый тринадцатилетний, с ломающимся голосом, лицом еще сильнее чем прежде похожий на мать. Таня была в больнице, я с ключом встречала его.

После долгой разлуки с домом мальчик, как вошел, сразу проверил, целы ли фотографии Битлов на его стене, прошелся по квартире, замечал острым свежим взглядом привычные вещи, заглядывал во все углы, и первым делом спросил, что с отцом и куда делись его картины.

– Вы не знаете, Мария Васильевна?

Я рассказала, что знаю, как было и про женщину.

– Женщина? – переспросил Петя. – Как, вы говорите, она выглядела?

Я подробно ее обрисовала, как могла. Он напряженно выслушал и говорит:

– Может быть, Её я здесь видел?

– Здесь? При каких обстоятельствах?

– Один раз я раньше обычного пришел из школы – учеба шла к концу, в мае – и заглянул в комнату к отцу. Она была у него, я поздоровался. Но мне стало неприятно и отвратительно: ее бусы и серьги лежали на отцовской табуретке, у мольберта. Я сказал: мама сейчас придет, хотя точно не знал, когда она сможет вернуться с работы. Женщина стала смущенно надевать на себя свои украшения. И они ушли

вместе с отцом. Но он тут же вернулся, подошел ко мне и говорит:

– Ты все еще собираешь смешные фамилии? Хочешь, подарю тебе одну?

– Давай, – говорю.

– Давай – самое странное выражение, – говорит отец.

– А я его люблю, – говорю.

– Ну «давай», записывай. – Он назвал фамилию, имя, отчество.

Я записал и говорю:

– Панама? Смешно! А кто это?

– Ты только что видел ее. Журналистка.

– А кепка к тебе не заходила? – спрашиваю.

– Какая «кепка»? – не понял он.

– Ну, какой-нибудь другой шапки к тебе не приходило?

– Да ладно!.. – Он смутился и сразу ушел к себе.

Я решил, что он просто глаза мне отводит и чтобы я маме не сказал...

– Ты сказал маме? – спросила я.

– Маме я ничего не сказал... Но записал: имя, отчество и фамилию.

– Зачем ты записываешь?

– Просто коллекционирую смешные фамилии.

– И много их накопил?

– Целый список.

– Покажи.

Петя достал из заднего джинсового кармана книжицу – маленький, захватанный до серости, с отрепанными уголками, дряблыми скрученными красками, но аккуратно укрепленный в изголовье синей изоляционной лентой, спрессованный в блинчик блокнотик.

Фамилии были записаны ученическим почерком четким столбиком шариковой ручкой или карандашом. Мои глаза поскакали нетерпеливым вихрем по коротким, рубленным строчкам блокнотика, странички, как форточки, открывались в мир смехотворных человеческих названий.

Погоняйло

Закаблуковский

Свинаренко

Неучев

Аллавердонх

Гнилова

Ведмедь

Огрызков

Шестеркина

Пендюрин

Иудов

Портянко (Украина)

Сюсюкин

Жидовчиц (генерал)

Заморочинский

Болбышкин (губернатор)

Соседкина

Крикливый (курсант)

Шилкопер

Корюшкина

Ширинкин (насильник 133 ст. УК)

Лопушок

Букашкин

Колбасюк (дама)

Однопазов

Парашкина

Железоголо

Штукатуров

Перекрестюк (мент)
 Руль
 Конфидиратов
 Новомодных
 Суковский
 Жаровня
 Навозов
 Градусов
 Посувало
 Деревяшко
 Блудушкин
 Иродов-Елдинов
 Сосюк
 Непробова
 Головешкина
 Убожко
 Пароходов
 Жирноксеев
 Табуреткина
 Клопышкина
 Аксельбант
 Зюзьчин
 Бунтман
 Розенперль
 Жуликова
 Серобаба
 Антимонова
 Усюськин
 Швырялова
 Тютюлюшкин
 Недобитко (комдив)
 Похмелкин
 Тырышкина
 Тютюндран
 Барбосов
 Остолопова
 Половой (опер)
 Непьющих (взрывник)
 Насилов
 Малолеткин
 Опарышев
 Жабоедов...

– Где ты набрал столько фамилий?
 – Отовсюду. В основном слышал с экрана телевизора, – смиренно сказал мальчик.
 – По-моему, меня должна интересовать больше всего вот эта?
 – Да, – говорит Петя. – Да, она самая...
 Песенка слов еще бежала вверх-вниз по страничкам блокнотика, но я, вздрогнув, остановилась:
 – Ага! Значит – вот оно!.. Ты говоришь: она журналистка?
 – Отец тогда так сказал. Может быть, он сказал, чтобы снять мою подозрительность? Ведь я, вроде получается, как говорят, их «застал». Может быть, и не журналистка – назвал профессию для отвода глаз, чтобы было приличнее... Я бы проверил, но ПОКА не знаю как. Узнаю – город обыщу, ее найду!..
 «Пока» прозвучало угрожающе. Мне стало опасно за него.
 – Нет, нет, у тебя не получится, – сказала я.
 – Еще как получится! – Петя показывал характер.
 – Давай я займусь...
 – Давайте я...
 – Нет. Я – лучше...
 – Я – тоже лучше!.. – спорил Петя.
 – Дело не в том, что ты думаешь...

– А в чем? В чем мое дело, по-вашему?
 – Ты, конечно, молодец, но... дело в другом...
 – В каком? – Петя яростно не отставал.
 – Не настаивай, – пытаюсь его уговорить и опасуюсь рассердить своим доводом.
 – Но почему?
 – О, дельный вопрос! Как ты догадался: я как раз жду этого вопроса.
 – Разве плохо, что я догадался?
 – Хорошо! Я знала, что ты догадливый...
 – Ну... так почему? Почему?
 – Тебе будет трудно разговаривать со взрослыми. Вернее, они с тобой всерьез разговаривать не станут. Тебе надо для этого подрасти. А это, сам понимаешь, долго...
 Петя, кажется, сжимал кулаки.
 – Давай вместе, – говорю. – Подумаем, что надо делать. Я тебе помогу...

11

У меня складывался определенный план действий: первая цитадель, которую надо взять, – Дом журналиста. Если женщина действительно журналистка, там должны ее знать. Должны или не должны? Как знать? Смотри, конечно, какого уровня журналистка. А может, и не журналистка вовсе? Притворяется или попросту обманывает? Тогда план придется менять.

Мне давно не приходилось бывать в общественных местах, с тех пор как перестала работать в библиотеке. Я робела. Насиделась дома в замкнутом кругу, да еще с мамочкой, стала бояться высунуть нос дальше собственной лестничной площадки: опасуюсь по носу получить. А это больно бьет по самолюбию, прямо морально уничтожает человека. Кажется, особое право надо иметь, чтобы появиться на людях. Психика изменилась с тех пор, как перестала ходить на работу, ездить в тесных вагонах. Я уж как девчонка стала (незаметно впала в детство?), что смущается перед взрослыми своей незрелостью: оттого внутренняя неустойчивость, неуверенность, стеснительность. Комплекс неполноценности выработался. И его не просто в себе преодолеть. Ох как не просто! Никто ведь не поможет, приходится искать опору в самой себе... Не психолога же со стороны нанимать.

Знать бы, «в какую сторону открывается ваша дверь» (как у одного писателя в рассказе).

В приличных домах дверь одна не бывает. Одна за другой. Дверь за дверью. Перед дверью... Много дверей: всегда оказываешься за дверью, перед дверью. На двери теперь не пишут: «Без стука не входить!» – раньше писали. А не пишут, видимо, специально для того, чтобы как следует подумали: открыть – не открыть?.. А подумавши, не решились открывать и мимо прошли от робости. Психология! Психологи теперь везде, разрабатывают каждый шаг, чтобы ничего не было просто, а непременно психологически...

Я открыла дверь в Дом журналиста (пока без психолога). И что дальше? В холле у парадной лестницы сидела сосредоточенная дежурная. Она мне нужнее всех, сразу решила я, и больше можно не открывать дверей. Она неприступно сидела над желтым телефонным аппаратом.

Как к ней подступиться (психологически), чтобы по носу не получить отказом?

А что надо особенно подходить к служащим, я и раньше была уверена: ведь мне нужен полезный ответ, информация. Нельзя повернуться и уйти ни с чем. Информация теперь, говорят, дорого стоит, никто за просто так ее не дает (неужели и тут коррупция?). Узнать бы, как выглядит коррупция. Я ведь не знаю, что это такое.

Вижу, люди проходят наверх, не спрашиваясь у нее. Мне наверху делать нечего, не к кому обращаться, никого не знаю. ОНА мне нужнее всех.

Но робость меня взяла крепко, горло перехватило. Кажется, она знает много такого, чего нам не скажет. Непростая старуха. Сама, похоже, бывшая журналистка, в заграничные командировки ездила, знает, как разнообразно там мыслят, не то что здесь – все в одном русле. Судя по лицу, а на лице все же многое написано и видно человеку, поработавшему с людьми, как я, она не случайная пенсионерка со стороны. И мысли у нее другие, не такие, как у меня.

А для меня сроду человек за столом с телефоном представлялся строгим начальником: сидит за столом как заслон – отказывать любой надобности, просьбе, отсылать в другое место, мол, не туда попали, не по адресу обратились. Я начальников всегда избегала и побаивалась, наши годы были – ох какие! Строго воспитывали! Мне как-то приходилось в библиотеке заменять администратора, посидеть за таким же столом: ко мне все обращались «вы знаете», «вы знаете», много лишних слов говорили тоже от внутренней робости, неловкости и, конечно, от косноязычия. Невысокий уровень делового мышления: что надо сказать в два слова, разносили на двадцать пять. Я просто стеснялась кому-нибудь отказать...

Смотрю на пожилую женщину с лицом большой доки и раздумываю, как мне вызвать ее расположение. Боюсь, сейчас скажет: ничего не знаю, ничего не понимаю, никого нет, ничего нет... Самое главное, чтобы она не просто от меня отвязалась.

Пробить ее внешнюю холодность, представлялось мне, психологически сложно. Все они злые как собаки. Вон, уже в сторону отвернулась, будто меня нет и она никого перед собой не видит.

Снова отворачивается.

Зачем она отворачивается?

Нарочно отвернулась. Тут же и скажет: «Никого нет! Ничего не знаю!»

Ага, поворачивается.

– Здравствуйте! – говорю. – Мне нужны координаты журналистки...

– Что за «координаты»? – Так манерно слово повторила! Но я не растерялась от ее заковыристой интонации, дальше веду:

– Телефон, адрес.

– Ах, это...

И вот старушка, чуть ли не моего возраста, с крашенными в рыжину волосенками и внушительным пистолетом носа, из-за которого то в одну, то в другую сторону проблескивали много выдавшие, все понимающие недоверчивые мышинные глазки, почесывая в раздумчивости оладышку уха, взялась за книжицу «Телефонно-адресный справочник». (А я уж забыла, что такие списки существуют.)

– Как, вы сказали, фамилия?

– Цулуйкина, – как можно отчетливее повторила я.

Она перебирала листочки по алфавиту, а я ждала: скажет, нет такой. И всё! И волнения напрасны. Внутри меня чечетку выбивают нервы.

– Панама Егоровна? – неожиданно спрашивает она.

– Да, да, да! – радостно подтверждаю. Она обрадовала меня!

– Я дам вам телефон, а дальше справитесь сами.

– Дайте и адрес! – прошу я.

– А вы кто?

Я начинаю объяснять, зачем мне нужен адрес, сочиняю версию прямо на ходу. Я начинаю, «как говорят люди»:

– Вы знаете, не я кто, а моя почтенная мать кто. Вы знаете, она старая большевичка, вы знаете, она блокадница...

Теперь только и срабатывает этот «административный ресурс», только они – считанные люди, с которыми считаются, а остальным переть и переть сквозь житейские передрыги до признания личности достойного номинала, думаю я.

– Журналистка Цулуйкина, вы знаете, недавно приходила брать у матери интервью...

– И что? – Как она насторожилась!

– Но, вы знаете, она забыла оставить свою визитную карточку. А вы знаете, моя мать хочет кое-что уточнить, вы знаете, она нашла дополнительные документы...

– Да? И что?

– Архивные документы, вы знаете...

– Так вам будет достаточно телефона.

– Вы знаете, журналистка сейчас в командировке, а мать-блокадница все написала ей в письме, вы знаете, нужен точный индекс и адрес послать письмо. Письмо тоже документ, вы знаете, важный... исторический...

Дежурная испытующе на меня посмотрела и подумала: жуткая назойливая старуха-маразматичка станет приставать со своей ересью к журналистке, а она посажена верой и правдой оберегать своих журналистов, чтобы, не дай бог, кто не нанес ущерб их чести и достоинству. Я азартно притворяюсь, я соревнуюсь с ней: кто кого.

И что мне вскочило в башку дурачиться «как все люди говорят».

Вон, она учительно просверкнула по мне взглядом. Я уж обнаглела от первого успеха. (Напрасно, дорогуша, уничтожаешь, всех не перепрезираешь!)

Я быстро решила сменить тактику, перейти на собственный тон, без лишних дурацких мусорных присказок, и атаковала дальше.

– Журналистка приходила по нашему адресу, почему нельзя послать письмо по ЕЕ адресу: у нее публичная профессия, и с ней всегда должно быть можно связаться по делу.

Дежурная не нашлась что ответить на логичный довод, рука ее потянулась к бумажной стопочке «Для записей». Все вписала в бумажку и навсегда от меня отвязалась, облегченно вздохнув.

Я точно видела: вначале не хотела давать, намечалась подольше покуражиться.

Я вежливо поблагодарила за такую (!) услугу.

До чего достойно она расправилась со мной! А я с ней.

Что с ней: сразу мне все написала? Может, кому не удивительно, а лично мне непривычно: я привыкла к волоките. Выходит, я зря мучилась.

Не может быть! В голове не укладывается. Так просто вышло? Сразу? Я же к долгой осаде готовилась.

Я, видимо, очень убедительно с ней говорила. Иначе...

Редкая удача на фоне мировых затруднений! Видно, что-то все же изменилось в большом мире, пока я в него долго не заходила. Какая же я смешная: представляла себе все по-другому.

Мне казалось, я перелезла через огромный горный хребет. Тело стало легким – земному притяжению не сдержат.

Не знаю, что больше сработало: глупость или здравый смысл. Как неожиданно неопределимо просто! Но если дальше пойдет с таким мощным внутренним напряжением, может не выдержать мое еще вполне крепенькое здоровье...

Но с информацией на бумажке, зажатой в кулаке, натура не позволит остановиться.

Что информация получена обманом, я Пете не скажу. Никому не скажу. Нас вон обманывают кому не лень: от продавцов до государственных деятелей. Тихо!

Вокруг меня музыка льется, как теплая светлая водичка. Как доверчиво отнеслась ко мне богиня за казенным канцелярским столом, чувствует, наверно, сейчас благотворные волны любви и признательности, направленные от меня к ней.

Тяжело и грузно шагала бы я сейчас, если бы она не облегчила мою задачу.

Исковерканная грубой жизнью, мечтаешь о благодатном божестве, а оно вдруг воплощается в безымянной простотой старухе. Я завидую ее мудрой основательности, искренне, страстно ее люблю...

Лечу по проспекту, словно берегом бурной реки: по руслу текут волны блестящих автомобилей: английских, американских, шведских, германских – новые, хорошие.

Надписи на домах английские, французские...

Я что-то недопонимаю. Примета времени?

Зашла в магазин – сплошь колониальные товары. На Невском вся красота в колониальном стиле. В том смысле, что нашли себе колонию у нас на Невском проспекте и сделали ее рынком сбыта своих товаров. И жители колонии страшно этим довольны? Прошлый раз я здесь проходила, такого не было. Многое изменилось: опять, что ли, «оттепель»? Или «перестройка»? А я этого «пере-пере» не уловила?

У нас на лестничной площадке изменения меньше чувствуются. Когда по радио начинают говорить или петь по-английски, я его выключаю – спасаюсь от колонизации своей души.

Иначе расстраиваюсь...

Мы не любим, когда нас захватывают даже с благой целью, якобы освободить от рабства, от тирана или от бедности, – свое г...о нам лучше чужой амброзии. Всегда так было, а теперь что?

Как многое сразу увиделось!

Колония. Все есть. Всего полно. Жить можно. Живут же люди.

И мы живем...

Но колония... Противно себя чувствуем.

Смотрю: лица все сытые, молодые, равнодушные, вредности не заметно. Ни одного недовольного лица. Одна я, что ли, бунтую?

Шагаю дальше – и все бунтую: нельзя соглашаться! Но... где? кто? Кому? Что?

Эй вы, мужчины, где вы? Ау!..

Думаете: «Русь – белая березка, напоит березовым соком»?

А если накормит березовой кашей?

Всё назойливо цепляется, канючите: «Русь-матушка, рябиновая Русь, спаси и сохрани нас, мы верим в тебя, не бойся, ты выступишь»? И ничего не делаете?

Конечно, будешь так вяло думать, ничего путного и не сделаешь. За дело КАК СЛЕДУЕТ (!) надо браться! Не спуска рукава. Самим все надо делать собственными руками... мозгами, и все тогда будет прекрасно.

Не нравится мне, когда нас заполняют. Я же помню, как в войну оборонялись. А теперь что: без боя сдались? Или я не дело говорю? А как же независимость нашей родины?

Но меня никто не слушается. Скажи такое кому: в оправдание наврут с три короба. Все так живут, никто не падает в обморок, не умирает со стыда – во всяком случае, умершие на улице не валяются...

Прямо невозможно спокойно в люди выйти – сразу преследуют неожиданности, то хорошие, то плохие.

У меня много расстройств и на моей улице в спальном районе: старикам разрешается по субботам и воскресеньям продавать мелкие вещи домашнего обихода. Они выстраиваются рядами вдоль транспортной магистрали на километры. Примета времени.

Я смотрю им в лица как в зеркало. Купить что – значит подать милостыню. Но я ничего не могу у них покупать, сама небогата. И расстраиваюсь... расстраиваюсь... расстраиваюсь...

12

Теперь бы расшифровать дамочку Цулуйкину. Она ли крала картины? Может быть, не она...

– Милый курносый мальчик Петя, коллекционер битлов и несуразных фамилий, твоему увлечению нет цены: ты меня надоумил, я готова петь похвалы твоим талантам, – говорю я. – И вот первый результат. – Я показываю ему добытые телефон и адрес.

Петя, подбодренный моими похвалами, среагировал сразу – набрал номер телефона. Мы считали длинные гудки... шесть, семь...

– Алло?

– Панама Егоровна?

– Слушаю...

Пока Петя представлялся сыном известного ей художника, но не успел назвать свою фамилию, трубка была брошена на рычаг, и сколько бы еще ни набирали номер, не поднялась.

Наша подозрительность подтверждалась, росла, увеличивалась до размеров самой правды, а потом убывала, расплывалась, рассеивалась до пустого места. Ничего определенного: может быть, не она взяла трубку. А положила, потому что «ошиблись номером».

Она или не она?

Во всяком случае, для журналистки подобный способ разговора неправдоподобен...

– Петя, зачем ты все звонишь, звонишь?
 – Узнать хочу: точно ли она и зачем взяла отцовские картины.
 – Так она тебе и скажет!
 – Я знаю: считается, не скажет. Но по-разному бывает. Разные люди поступают по разному.
 – Петя, это невозможно.
 – Почему – невозможно? Один раз и вор может правду сказать. Как же я буду жить, если буду верить, что все давно известно и плохо? – Петя снова набирал номер.
 – Напрасно стараешься. Там не ответят.
 – Почему? Надоест слышать звон, и кто-нибудь возьмет трубку, пусть хоть выругается..
 – Петя, только тебе слышен звон, там его не слышат.
 – Почему?
 – Ясно: там выключен телефон.
 – Ах, отключен! – Он стукнул себя кулаком по лбу. – Я про это забыл. Спасибо, что сказали. Как же теперь узнать? – Петя рассердился, расстроился.
 – Вот в том и вопрос! Надо что-нибудь придумать.

Я видела: именно в тот момент мы с ним стали сообщниками.

Вот так. По телефону ничего не узнаешь.

Мысли топорщились. Я отвернулась к окну, пусть Петя не видит растерянность.

Из окна виднелись многооконные дома с плоскими крышами, с подъездами. Настолько мало значат номера домов, телефонов, факсов, визитные карточки, бесчисленные информационные блоки и логотипы в справочниках. Никого не возьмешь голыми руками, близко не подойдешь.

Найти фамилию-имя-отчество человека возможно, но приблизиться к нему просто немисливо. Напрасно говорят, будто человек незащищен. Он попросту недоступен. Он может быть виден глазу, но все равно неприкосновенен, будто в неразборчивой капсуле, которую не только взглядом не проткнешь, но и шпагой.

Может, поэтому хватаются за автомат, взрывчатку, чтобы продырявить непроницаемую капсулу нужного человека?

Тогда вполне можно удивиться не тому, что убивают людей прямо на улицах, а тому, что мало убивают при многочисленности гражданского населения. Я даже склонна поверить: убийства нечаянны, хотя только пробить непроницаемую капсулу, но хватаются за оружие, приспособленное для убийства, более доброжелательного оружия в природе не существует. Когда изобретут благодетельное оружие для пробивания капсул, количество убийств сойдет на нет, я уверена.

Вероятно, благостные мечты идиота, даже идиотки посещают меня. Но ведь если и сознаешь свой идиотизм – куда от него денешься? Натура такая.

Хорошо, если тебе, идиоту, ни от кого ничего не надо. А если понадобилось?

В данный момент я тоже мечтаю, чтобы меня хотя бы никто не окликнул, не сорвал с мысли, не порушил мою капсулу, твердую и хрупкую, как яичная скорлупа.

Я вот стану картины искать, действия мои должны быть не вровень с асфальтом, а за пределами изобретательны, тем более что я не хочу обращаться в

правоохранительную систему. Бюрократическая госсистема напилит столько колючей щепы – за жизнь ее не разгребешь; сделает из имени хорошего художника форменную яичницу. И Пете придется натерпеться всякого плохого.

Пойду я вперед сама, прямо по адресу.
 Я рассказала Пете свой план.

План-то план, но его разработать как следует надо, до мельчайших подробностей, в деталях, как делают люди, сведущие в планировании.

И начала ломать голову. Мне думалось: я должна увидеть Цулуйкину хоть один момент, хоть вполглаза – она или не она. И если она, ей узнавать меня не надо. Сразу начнется: «никаво нет», «ницаво нет», не знаю, впервые слышу – ничего не добьешься, не докажешь. Или доказывать придется сложным путем: так извертись, что ничего не получится. Увезет она картины в какое-нибудь далеко – не докопашься. А надо все делать – быстрее, быстрее, быстрее... Пока не успеет очухаться. Второй раз дверь может не открыть. И сама не высунется. Со взрывчатым зельем к ней тогда не пробьешься. Я же не террористка. Хотя и жаль.

И виделись мне во сне детали. Шляпа с необъятными полями, какой белый дневной свет давно не видывал, несущая ее на голове гордо и уверенно, как последний писк моды, ниже надвинула на лицо. Черными очками прикрыла значительную часть лица. Волосы напустила на щеки побольше – парик. Оделась не так плохо, как сейчас, чуть поприличнее. Разные варианты во сне снились, отражалась действительность на разный манер. А вот в натуре сны не повторишь, ускользнут, перевоплотятся, исчезнут без следа.

Сны причин не ищут. Испаряются не спрашиваясь.

А у меня после сна все пучится, расслаивается, рассыпается. Потому что мыслю я по-своему, по-старому – логически: у меня одна мысль другую цепляет, третья – из другой вытекает, следствие из причины, а причина – из необходимости. А так просто, играючи, у меня ничего не идет, не складывается – ерунда растягивается, и больше ничего...

Ой, до чего врать неохота, претит до глубины души!

Не могу больше врать, навыка нет, дело разьедется вкривь и вкось. Врут для облегчения трудного дела. Знали бы, до чего трудно врать не умеючи. Раз соврать мне тяжелее, чем жизнь прожить.

Пойду-ка я прямым честным открытым направлением, и посмотрим, что из этого выйдет. Наверняка ничего не выйдет. Но попробовать-то можно. Посмотрим, поглядим, прочувствуем честный тернистый запасной путь.

Первым делом узнать, существует ли такой адрес. Может, не дом, а форменный фантом?

Нашла. Проверила. Адрес существует.

Дальше что?

А дальше – и пошла дальше по адресу.

Я купила предварительно в киоске газету – держать в руках, чтобы мои натруженные руки-кувалды, как я их чувствую, не висели безразмерно по швам.

Позвонила у внушительной высокой двустворчатой свежекрасенной двери: по ту сторону слышно завальсировал музыкальный звонок.

– Кто? – дождалась.
– Мария Васильевна! – требовательно сказала я.
Дверь приоткрыла молодая девушка, совсем не ОНА.

Я говорю:

– Цулуйкина Панама Егоровна?

Красавица простодушно кликнула вглубь квартиры:

– Пана! К тебе...

Вух-вух-вуххх захлопали по линолеуму тапки. В приоткрытую дверь на цепочке я увидела: точно – ОНА.

– Вы – Цулуйкина Панама Егоровна?

– Да.

Неожиданно для себя я сунула ей в руки газету.

– Спасибо, – сказала я, повернулась и пошла по лестнице.

– А в чем, собственно, дело? – высунулась за дверь ОНА.

– Ни в чем. Готовьтесь!.. – Я уже неслась по лестнице, спиной слышала, как бурчала ОНА и тараторили цепочка, задвижка, замок. Я выскочила на улицу.

Значит, так: в старинном доме в аккуратной квартире хорошо поживает ОНА. На сегодня достаточно: найден точный адрес, проведено опознание.

Напряжение немного спало. Выходило по-прежнему неожиданно просто, успех шел за успехом, но только предварительный, разведывательный. ПРОСТО – больше не получится, я готовилась к большим препятствиям по привычке всего добиваться с трудом.

Петя обрадовался моей удаче и снова бросился к телефону, слишком он уповал на единственно доступный виток надежды. Я остановила его.

– Что вы думаете: она тогда отключила телефон, и до сих пор, что ли, он у нее отключен? – не понимает Петя.

– Возможно, – говорю я.

– Вы шутите: как же она без телефона живет?

– Без телефона, к твоему сведению, иногда лучше живется. Она может пользоваться мобильником.

– Ах, я забыл, что это возможно.

Я начала учить его своей немудреной домошечной конспирации.

– Надо выдержать время.

– Зачем?

– Чтобы ОНА еще раз открыла дверь.

– Она же и так ее открывает.

– Ты только напугаешь ее звонком, и она больше не откроет.

– Как же иначе она выйдет из дому, если не в дверь?

– Открывает, конечно, но когда ей самой надо, а не нам с тобой. Пусть ОНА нам тоже откроет. Но пусть пока отдохнет от нас. После моего звонка в дверь у нее, наверно, закралось подозрение. Надо дать возможность подзабыть случай. А мне нужно время уговорить Лидию пойти вместе со мной. Я думаю, увидев свидетельницу, ОНА не станет отнекиваться, уж Лидию она забыть не могла.

У Пети захрустело в мозгу, но я убедительно объясняла будущий план, он наконец отошел от телефона. Не знаю, как он терпел несколько дней, пока я подготавливала к походу соседку Лидию.

– Лидия, ты видела, как дама выносила картины...

– Видела!

– Пойдешь со мной?..

– Нет-нет-нет-нет!.. – Не дала мне слова сказать. Столько отчаянной решительности было в голосе, что спросить, от чего она натерпелась, было невозможно. Воспоминания, что ли, на нее накатили, как страшный сон? «Взыскания, наказания, репрессии» – и мы сжимаемся в комок?

Я осторожно, бережно с ней говорю:

– Что – «нет!»?

– Я ни в чем не виновата!

– Я не о том...

– В свидетели не пойду! Не пойду – не зови!

– Я тебя не в свидетели зову.

– А куда? – Любопытство остановило ее оглашенное отрицание.

– Пойдем с тобой к ней и возьмем картины. Одной мне не унести: они не тяжелые, но их много...

– Я? Картины?!

– Ты не волнуйся!

– «Не волнуйся!» – с ума сошла!

– Что ты встрепенулась, Лидия, дорогая? Ну что я не так сказала?

– «Дорогая!» – простонала она.

– Чего ты боишься? Опасаться нечего...

– Да я – пожалуйста! Все равно делать мне нечего...

– Ты согласна? – Я не сразу поверила повороту.

– Только не в свидетели! А нести – пожалуйста. Я ведь картин никогда в руках не держала. Далеко за ними идти?

– На Петроградскую.

– На Петроградскую? Да хоть на Камчатку! В разведку с тобой пойду: раз надо, мы всё с тобой сделаем. Ну, что так смотришь: халат мой драный не нравится? Сомнения вызывает? Я приведу себя в порядок – увидишь.

«Нашла себе пионервожатую!» – Я ухмыльнулась.

Не знаю, что она себе вообразила, но загорелись глаза, заскакали, запыхали мысли в голове, необычная подвижность появилась в фигуре.

– Спасибо за отзывчивость, Лидия. Приоденься – через день-два пойдем за картинами...

На другое утро Лидия прибежала ко мне сильно расстроенная. У нее были ярко-апельсиновые волосы с красными разводами на концах.

– Я покрасилась: какой ужас! Видишь: плохо вышло. Не знаю, что теперь делать?

– Перекрась в другой цвет, – говорю.

– Да я уж пробовала не раз: краска больше не берет. А во-вторых, сожгу волосы – они выпадут, совсем без волос в люди не выйдешь...

– Беда какая!

– Теперь ты меня не возьмешь?

(Пионервожатая не возьмет с собой свою пионерку!)

– Давай подумаем, что теперь делать... Ты ведь хочешь со мной пойти?

– Ну да!

– Ничего не остается, как считать твой цвет последней модой.

– Модой? Возьмешь с собой?

– Возьму, конечно.

– И не пожалеешь. А вообще-то, я посоветовать-ся пришла: бруки хочу купить – моднее будет. Какие бруки мне посоветуешь: может, красные? Под цвет с волосами?

– Слишком много красного будет проситься в хорошую поговорку. Купи лучше... сиреневые. Или фиолетовые... – мечтаю я.

– Сиреневые? Какие фиолетовые?

– Цвета кобальта фиолетового.

– Кобальта? Погоди, погоди, какого такого кобальта? Где-то я это нехорошее слово слышала...

– Красивая краска такая.

– Мне не надо канцерогена.

– Почему – канцерогена?

– Не надо мне его, не надо: кобальт радиоактивный металл!

– Да! – Из-за его красоты мне такого в голову не приходило. Так вот почему цвет редок, а краска особенно дорога. – Да что ты, Лидия, радиоактивностью теперь похваляются больше, чем пошлым золотом и бриллиантами, кто больше ее нахватал.

– А что, продается где-нибудь?

– Дорого стоит. Нам с тобой не по карману, – балагурю я.

– Дороже золота? А у меня и золота нет. А у тебя?

– И у меня нет. Но кобальт фиолетовый мне нравится больше других красок. А радиоактивность распространяется.

– Как распространяется?

– Мы давно ее едим.

– Не может быть! Не верю...

– Не веришь, а так и есть. Давно в нас внедрили.

– А у меня нет. Кобальта мне пока не надо. Потом, может, как-нибудь...

(«Пока» – прелестное слово!)

– Купи тогда черные брюки: их можно носить и летом и зимой.

– Опять черные? – Она недовольно скривила рот.

– Ладно, подумай... Мне вообще-то штучные бруки не надо, я на рынке себе приличные подешевле подберу... – Она размышляла: – Ладно уж, посижу на одних макаронах, а на штанах разорюсь... Раз такое дело. А блуза у меня с прошлого года... Картины! – сказала она возвышенно.

Никогда бы не подумала, что одно слово «картины» вызовет трепет у простецкой бабы, бывшей продавщицы бакалейного отдела в советском провинциальном продуктовом магазине. А в глазах общественного мнения нас, старых баб, совсем уж оскотинили: будто как старая, так непременно тупица.

«А зачем этот кобальт?»

«В кобальте должен быть особый смысл»...

Лидия приходила теперь каждый день: со мной поговорит, пойдет к матери. Они часами беседовали у телевизора: мамочке было развлечение.

Я видела: Лидии не хватает «пионервожатой», она принимала меня за руководителя, вожака – она так на меня смотрела! А я ни в чем не была уверена и никому не могла сказать, как шатко обстоит дело. Я во всем не уверена, не представляла, как вести себя, не то что кем-то руководить. Но она мне необходима, и если ей хочется, пусть идет со мной. Я вполне могла ожидать, что моя команда поколотит меня в случае неудачи. Справедливость, за которой мы собирались идти, – самое уязвимое место в отношении

с вором. Но остановиться было нельзя: вперед – и только!

Команда моя – я, Лидия, Петя – мне представлялось, не сильна. В ней не хватало хотя бы еще одного мужчины для равновесия: двое на двое. А где взять мужчину?

Не милиционера же на улице упрашивать? Хотя было бы внушительно: стоят четверо у дверей квартиры под водительством стража порядка, враг закачается и сразу сдастся. Правда, долго будешь искать милиционера с внушительной внешностью – и не найдешь: они теперь хилые на вид.

Но только не милиционера! Таня мне все объяснила. У меня предубеждение против милиционеров: я их боюсь.

Но где взять хоть какого-нибудь мужчину?

И тут пришел на ум Славик: пусть, думаю, отработает, что набрал у меня в «долг» без отдачи.

Я направилась к Славику, опять же не уверенная в успехе: вздорный, капризный, неурядовенный, он может попросту послать меня подальше. С ним дипломатию надо вести особенную. Одно мое появление может ему не понравиться. С ним нельзя договориться по телефону: возьмет и нарочно сбежит в самый жгучий неподходящий момент.

Лучше нагрянуть внезапно, а уж там как выйдет. Желательно – ни шагу назад!

16

У Славика самая маленькая комнатка в квартире. Слабая дверь слегка покорежена. Дверца старого одежного шкафа сорвана с петель и приставлена к проему, из которого видится одежонка. Видно, Славик яростно презирает двери.

Раскладушка у стены под ворохом тряпья. Стол поношенный. Табуретка – на ней Славик сидит, и стул для гостей подозрительный: может не выдержать седока. Больше нет ничего: вся родительская мебель продана вместе с квартирой. У нас все квартиры, в общем, одинаковые – похвастаться нечем. Но преврати свое жилище в конуру – будешь отличаться самобытностью.

– Садись, – говорит Славик. – Я свободный человек – у меня просто.

Разговоры о свободе в такой конуре звучат либо смешно, либо божественно: так, с ходу не могу разобрататься, надо подумать как следует...

Я осторожно примостилась на стуле.

– Я думала, ты голоден: принесла тебе хлебца, колбаски. А у тебя вино на столе. Ты хорошо живешь?

– Я живу очень плохо. Но лучше жить не могу.

– Если винцо на столе, значит, не так уж плохо?

– Винцо только и есть. А больше ничего нет. Винцо дешевле всего теперь у нас, тетушка. Твоя колбаска как раз к месту пришлась. Помню: в студенчестве стакан портвейна (разливного) и кусок хлеба с колбасой – о! – лучше всякого обеда. Усталость снимает, настроение поднимает. Здорово! Нам с тобой в данный момент больше ничего и не надо.

– Мне не надо. Я пришла попросить тебя пойти со мной в одно шекотливое место...

Я изложила ему, куда и зачем пойти, просила как мужчину принять участие в компании, и он, к удивлению, согласился сразу, безоговорочно, без лишних слов – подозрительно быстро. Я думала, станет кривляться. Неправильно думала.

– Ладно, давай поговорим. В первый раз в жизни с тобой как следует поговорим. В кои-то веки тетка ко мне пришла. Давай выпьем!

– Я не пью. – Я панически боюсь болтливости Славика.

– Пей! Вкусно. Благодарить будешь... – уговаривает Славик.

– Нет, нет...

– Слушай, тетка, твоя страшная добропорядочность меня удручает. Ты от всего отрещиваешься.

– Я не отрещиваюсь...

– Тогда пей!

– Ну ладно, пью. Я не отрещиваюсь...

– Ну что?

– Правда вкусно. Спасибо за угощенье...

Вкус портвейна из граненого стакана оказался редким, пряным, приятным. Пить его мне понравилось.

– А я что говорю. Я тебе еще налью. Ты все меня даруешь. Я тоже хочу тебя угостить.

– Больше не надо.

– Почему? Пей за меня. Вместо меня: а то я сейчас напьюсь, завтра не встану, а потом и с тобой никуда не пойду.

– Как не пойдешь? Обещал же?

– Если напьюсь – не пойду, так и знай. Выручай, сама выпивай, что осталось.

– Ладно, выпью. Только ты смотри, не подводи, приходи, пойдем вместе...

– Пей, пей... Не допьешь, я тебя отсюда не выпущу.

– Я допью... И все. Пойду... А ты больше не пей.

– Ты меня не учи! Я тебя научу!..

– Ну что ты: чему ты можешь меня научить?

– Всему. Знаешь ты, что мир – вселенская грязь? А, не знаешь.

– Ну что ты: трава, небо, кусты, деревья – благо-словенно! Ты не прав!

– Я прав. А знаешь: человек возникает из плевка слизи, отходов энергии?..

– Тебе хочется это говорить, глядя на меня? – смущаюсь я. – Неужели такие плохие ассоциации я у тебя вызываю?

Я действительно подумала: мой неожиданный приход ему неприятен, потому он иронизирует, говорит заведомо неприятные слова.

– Да нет. Почему – плохие? Я рад, что есть кому послушать: я постиг истину человеческой жизни прямо с самого начала...

– Ты меня удивляешь...

– Это потому, что тебе хочется удивляться. Строишь из себя мадонну. А женщина, знаешь, не мадонна, а инкубатор для производства детей. Впрочем, к тебе не относится: ты оказалась выше. Я тебя уважаю...

– Почему – «выше»? Зачем ты меня возвышаешь? Я не хочу...

– Ладно, не буду. Выпьем! Вот скажи, тетка, у тебя в голове есть мысли?

– Если пошарить как следует, конечно, найдутся, – смеюсь я. – Как же без мыслей?

– А у меня совершенно нет мыслей! – радуется, как ребенок, Славик. – А почему они непременно должны быть? Предрассудок! Очередной предрассудок! Для дураков!.. Не на того напали. Без них лучше...

– Ты не беспокойся, не волнуйся, Славик, они появятся. Мысли появляются, они всегда приходят

внезапно, когда ты к ним, может, не готов, – успокаиваю я, его бессмысленное состояние показалось мне большим несчастьем.

– А я и не волнуюсь. Мне они на дух не нужны.

– Ну как же? Как же! Без них не бывает. Ведь человек...

– Я человек, но мне их не надо! Слышишь, тетка? Я не собираюсь с ними возиться. Возьми их себе и делай с ними, что хочешь. Распоряжайся. Разматывай. Дергайся. Я – пас. Я тебе говорю без ВЫРАЖЕНИЯ на лице: на лице у меня при этом вроде должно быть ВЫРАЖЕНИЕ, как говорится в романах. Тебе понятно: нет у меня на лице выражения...

– Да успокойся, Славик! Не волнуйся...

– Я не волнуюсь! Я смеюсь. Что ты пристала с «волнением»? Не волнуюсь я, не волнуюсь!.. Ты волнуешься. Ну и волнуйся себе на здоровье. Все равно по-другому не можешь. А я могу!

– Ну и что же? – растерялась я.

– А то, что нет смысла в мыслях!

– Ой-ой!..

– Вот тебе и «ой!»!

– Откуда такого набрался?

– Из жизни. Из книг.

– В книгах такого нет.

– Есть. Просто ты не те книги читала.

– Зачем же ты их читал – не те?

– Мне надо было! Знать! То, что в книгах пишут то же, что я в жизни знаю. Я доволен. В книгах – подтверждение моим мыслям. Впрочем, мысли – глупо сказано. У меня их больше нет.

– Бедный Славик, как тебе, должно быть, мрачно живется.

– Кто сказал: мрачно? Совсем наоборот. Весело, если хочешь знать.

– Ну, Славик, ты же учился... Почему же ты спился?

– Спился – потому что учился.

– Ты что: считаешь, не тому учился?

– Какая разница: учиться в любом случае приходится, вольно-невольно, неважно у кого – у науки или у жизни. А научишься, увидишь: всё здесь не для тебя. И не по тебе... Прискорбно... И делается не по себе. Что делать? А ты не спилась, тетюшка дорогая?

– Нет.

– Ну и зря. Ха-ха-ха...

– Нет, не хочу я знать, что ты знаешь. Я себя ограничиваю во всем, в том числе и в подобных безобразных рассуждениях, – говорю я.

– Зачем ограничивать?

– Чтобы не было хаоса. Я не люблю хаос...

– А я его люблю! Обожаю!

– Хватит тебе фиглярствовать, Славик! Не обижай меня своим фиглярничаньем. Деньги я тебе все равно буду давать: только их у меня безнадежно мало, вот что плохо...

– А я думал, ты с меня потребуешь ответной дани. Странная ты, тетка...

– Знай: ты недооценил мое бескорыстие. Я же бедная – никогда не жду ни от кого платы. Потому и бедная...

– Глубокомысленная ты, тетка...

– Я тебе сочувствую, даже если ты неправ, даже если я тебя внутренне осуждаю... Ну, будь здоров! – Я встала из-за стола.

– Я не пойду тебя провожать, – говорит Славик.

– Почему? Ты же мужчина! И ты напоил меня.

– Кто сказал, что я мужчина и должен провожать? Предвзвещения! Кто вбил тебе это в голову? У меня одна нога не ходит...

– Как – не ходит? Надо же лечить.

– А другая нога у меня ходит... Иди, иди, я посмотрю, как ты пойдешь на своих двоих, интересно...

Я изо всех сил старалась идти ровно, крепко хваталась за перила лестницы, но меня шатало. Никогда такого не было. Вдогонку мне слышалось отрывистое «Ха-ха-ха!» из проема открытой двери.

Бессовестный парнишка, напоил меня нарочно да осмеивает.

– Что ты хохочешь?

– Над тобой, – говорит.

– Над собой, – говорит.

17

А Славик чудак, говорит: одна нога у него не ходит, зато другая ходит. Как же одна у него ходит? Даже интересно. У меня получится?..

Я поджимаю правую ногу, а левой пытаюсь шагать... одна левая сама пойдет?..

Я упала в траву.

Врет Славик: нельзя ходить на одной ноге – не получается. Можно прыгать. Падать. И лежать. Встать невозможно. Вот что плохо... Не хотелось ему меня провожать, лень было, вот в чем дело... Может, он не пойдет со мной за картинами? Обманул?..

Сейчас встану... сейчас... не могу подняться, не за что ухватиться... хоть какой-нибудь столбик поблизости был бы для опоры, я бы встала и пошла домой.

Сколько ни пыталась – заваливалась на один бок, на другой. Устала, измучилась. Перевернулась на спину – отдохнуть.

Хорошо, спокойно: небо розовое, дивное небо, кобальтовое, фиолетовое, желтые звезды. Кругом мучительная жизнь, а здесь неправдоподобно тихо, красиво. Как в раю. И почему никого нет? При такой населенности микрорайона? Столько домов? Столько окон, и каждое светится. Носа не высунешь из квартиры, чтобы не встретить кого-нибудь. А тут – никого. И детишки не бегают, не терзают пруд и лужайку – все на летнем отдыхе.

Травяная лужайка с утиным прудом, обинтованная лентой больших серых домов. Куст колючего шиповника под боком, острый розовый запах в летних сумерках. Куда я попала?

Боюсь лежать: собаки выводят хозяев и оправаляются у любого куста. Скажу собаке: «ав-ав-ав!», она подожмет хвост. А хозяин – совсем другое дело... не поднимет женщину, не поддержит, не проводит благополучно домой – он просто неразвит для этого. Возиться с пьяной старухой не станет. В лучшем (в худшем) случае позвонит в милицию: мол, там пьяный валяется...

Лежу. И ни одной собаки. Куда же они подевались? А, понятно, по ту сторону дома выводят собак, там тоже скверик и лестничные входы, потому здесь тихо и одиноко. Мне – в самый раз. Рай, рай! В двух шагах от дома. Чудеса! А я и не знала. Никогда бы не узнала, если бы Славик не напоил меня портвейном. Хорошо, что напоил. Хорошо, что теперь знаю...

Надо быть довольной тем, что бог дал, – простым неприязательным бытием на исконной земной поверхности. В тонкости и глубины Мира людям не стоит вторгаться – раскрытие тайн Природы никому не даст счастья. Любопытные корыстные умники начнут искривлять Галактику – она им покажет за это!

Ой, что будет!

Зачем тайны, знания, свободы, если не знаем, что делать с мусором...

Славик, может, прав. Все зависит от того, как посмотреть. Но совсем не значит: если он прав, так я неправ. Наоборот... Ладно... Возможно, я неправ. Может, и он неправ. Что делать – не знаю. Сейчас встану и – домой, домой...

Не могу встать.

Славик не выходит из головы. По-доброму человек редко раскрывается, доброта стала подозрительной. Как Славик говорил: «На добро же я должен ответить добром. А где мне его взять? Из себя. А там у меня не бездонный карман, из которого можно черпать бесконечно много. Есть, конечно, есть. Но количество ограничено. Брать можно только порциями, мелкими долями по крайней надобности. А то и себе не останется»... Уж не хватает сил у человека на доброту, если бы на злобу недоставало... Ну как же я ему не сказала достаточно убедительно: от бунтов бывает только хуже, они высасывают силы...

Подъезжает милицкий джип, милиционер выводит оттуда собаку, она кружит вокруг меня. Милиционер заставляет меня подняться. Я подпрыгиваю, потому что боюсь собаки. Меня затолкали в машину и везут в КПЗ, а там уж полно народу: мужики, мальчишки, пьяные обкуренные девки. Пацан со щенячьими глазенками оживает:

– Давай, давай! Хороший кадр!..

– Что – «давай»?

– Раздевайся. Трусики покажи...

Другой пьяный парень:

– Потрахаемся!..

– Это вы мне?

– Тебе, тебе, не им, не бойся! – Он пренебрежительно взглянул на девиц.

– Это вы мне? Я же старая!..

– Неважно. Совершенно неважно... Нам все равно. Ментам понравится...

Я сжимаюсь от ужаса:

– Мы же в милиции?

– В милиции, в милиции, и что?

– Как – что? Моя милиция меня бережет! – На мое простодушное заявление раздается такой всеобщий хохот: стены затряслись, заколебался потолок. Дверь открылась: молодой милиционер, на лице которого явственно написано, что он с нетерпением ждет конца смены:

– Что происходит?

– Пустите меня! Выпустите! Зачем меня привезли сюда: я ничего не сделала...

– Разберемся...

– Пустите! Пустите!

– Не положено!

– Я вам скажу... – Я выскакиваю. Он не успел меня задержать. А все остались в камере. Связка ключей позвякивает в руках мальчишки-милиционера, он ловит меня и усаживает на стул возле своего стола. Я уверяю его, что сама виновата, сама, сама... он ни при чем...

Майор милиции вдруг появился: он только что где-то сидел за столом и еще не успел разогнуться в полный рост, в его руке от возбуждения и страха трепещет бумага.

– Что происходит? – говорит майор.

– Да вот – гражданка...

– Почему неадекватна? Здесь все ругают милицию, а она винит себя... непонятно...

– Отпустите меня!..

– Отпусти ее. Она неадекватна...

– Убирайся (дуреха!). – Милиционер кивнул на дверь. Я вырываюсь на улицу. Почему меня выпустили? За что забирали? Что такое адекватно?..

18

Слава богу, этого не было. Страшилки снятся! Ужастики невозможные! Потому что боюсь милиционеров...

Кажется, я уже в состоянии на ноги встать, не буду больше ходить на одной ноге...

По ту сторону дома в сквере маячат молчаливые темные тени собачьих поводьей, умильно следят, как ловко оправляются под всеми кустиками их питомцы, напичканные специализированными кормами, – тут под кустиком не полежишь. Трамваи скрежещут, грохочут по рельсам, от машин нет прохода...

Это уже собачий рай, адски загаженный, а может быть, и есть самый ад. Как близко они друг от друга! Удивительно, удивительно близко! Если бы не напоил меня Славик, я бы никогда не узнала, как близко друг от друга рай и ад...

Чего только не случается с нами под фиолетовыми небесами. Теперь точно знаю: среди любого житейского скрежета можно найти райский уголок (независимо или зависимо от портвейна). Хорошо, что узнала до скончания своего века. Но даже родной матери не скажу, положу в копилку молчания.

Мать говорит:

– Я тебя искала, искала... Где ты была? Ты упала? Давай я тебя отряхну.

Никогда так тепло со мной не разговаривала. Что значит – разлука. Кувыркалась по району, а не сидела безвыходно подле нее. Небось о себе беспокоилась: одна останется, что делать станет?

Она говорит:

– Я поела, что было, и тебе оставила. Верила, что ты придешь.

– Я всегда приду. Никогда не оставлю тебя одну.

19

Как по плану, мы поднялись по лестнице и подошли к знакомой только мне двери квартиры. Я распорядилась стоять всем поодаль от меня, чтобы, если откроется дверь, видно было одну меня, а не всю компанию, и хозяйка не напугалась.

Звонок... Звонок... Звонок... Звонок... Звонок... Звонок...

Стоим. Дверь в дремоте.

Звонок продолжает вальсировать: вальс... вальс... вальс...

Дверь нахмуривается.

– Дома никого нет? – разочарованно говорит Лидия.

– Я слышу шорох шагов, – говорю. Дверь хоть и мощная, но кое-что живое, как дыхание, сквозь нее

пробивается. Я знаю толк в дверях: дверь пустой квартиры выглядит по-другому – как брошенная автомашина, в отличие от той, что всегда на ходу.

Я постучала своим косяковым неуклюжим кулаком. Звук показался неубедительным, лестничная акустика усилила звучание: ах-а-а... но все равно звук вышел беззащитным.

– Не так надо! – сказал Славик. Он подошел к двери и неделикатно ударил в нее каблуком, а лестничная акустика разнесла трамбумбах на весь дом, как взрыв бомбы: я содрогнулась, остальные попятились, Лидия пустилась было вниз, но видит, никто ее не догоняет, – вернулась.

– Вот как надо! Понятно?! – сказал Славик.

Вероятно, хозяйке показалось, что дверь начали подрывать. Она думала: если выйдет, помешает взрыву?

Запоры защелкали. Дверь приоткрылась.

– Здравствуйте, Панама Егоровна! Можно войти?

Она молча боязливо выжидательно отступила, на секунду я выглянула в еще открытую дверь, махнула рукой своей «компанией», чтобы они быстрее пробрались за мной.

– Сюда, ребята, поживей!

Они довольно сноровисто пролезли в дверь и несколько скукоженно от неожиданности окружили меня в широком длинном коридоре, увешанном рисунками в одинаковых узких коричневых рамках: интерес к изобразительному искусству был ЕЙ действительно присущ. Мои «пионеры» смотрели не в рамки, а настойчивыми требовательными взглядами уставились прямо ЕЙ в лицо, после того как она повернулась к нам, захлопнув собственноручно входную дверь, и кисти просторного махрового терракотового халата качнулись, словно гири старинных часов. А мы стояли, словно в ловушке.

– Мы пришли за картинами, – коротко сказала я. И мои свидетели окружили ЕЕ.

– Я поняла, – сказала ОНА и пошла по коридору в комнату.

Сейчас может случиться невесть что.

Взгляды моих «боевиков» уставились на меня.

Я молча, тихо, напряженно стояла во главе «отряда», Петя смешно и серьезно хватался рукой за пистолет, торчавший из кармана брючат, очень похожий на настоящий, Лидия с любопытством ждала какого-то «нечто»: что происходило сейчас, казалось ей только прелюдией чего-то более значительного, а не такой «оперетты».

– Где ты взял оружие? – спросила Лидия Петю.

– Отец подарил, когда я был маленький.

– А-а-а, – поняла она, что пистолет – игрушка.

Славик смотрел так, будто хотел спросить у НЕЕ денег взаймы, и побольше, и конечно, без отдачи, иначе не был бы Славиком. Он так убедительно выглядел в своем привычном состоянии, так трогательно, что хотелось стать его ученицей в деле заемов.

ОНА молча вынесла в руках два холста, Петя утопил пистолет поглубже в карман и торопливо схватился за подрамники.

Снова молча ушла, как будто так и должно было быть. Уходы и выходы повторялись четыре раза, пока у каждого в руках не оказалось по два холста, количество участников похода было заранее рассчитано.

– Петя, все? – спросила я.

– Да, – сказал Петя, – восемь.

– У меня больше нет, – лукаво-растерянно сказала ОНА и прошла открыть перед нами теперь уже выходную дверь. Словно гири часов вздернулись кисти пояса на халате. (Эти кисти! Такого халата! Я, как дурочка, не зная, что делать дальше, пялилась на роскошный халат.)

Я была ошарашена, дыхание сперло, не могла выдать из себя ни слова. Услышала только хлопок двери за спиной.

Я ничего не понимала, но хотела понять, выяснить, почему все так быстро произошло? И беспрестанно.

Я остановила Славика, дала подержать ему мои холсты, велела всем спускаться вниз и там меня подождать, а неодолимая сила, жгучий интерес подкинули меня снова к двери.

Я позвонила, не рассчитывая, что она снова откроется передо мной, с какой бы стати? Мы для нее просто смешные люди, сколько бы ни пыжились. Нас она точно не могла испугаться, с нашим «угрожающим» игрушечным пистолетом.

Хоть я и не ожидала, но дверь отворилась.

– Что еще? – удивленно она смотрела на меня.

Стоя на лестничной площадке, я сказала:

– Простите, пожалуйста, меня за назойливость, но скажите: зачем вы брали картины?

– Повисеть! – ухмыльнулась она.

– Этого не может быть! Но пусть будет так...

– Почему же: все может быть... А вы считаете как?

Мне казалось, она странно со мной разговаривает, будто о не том, что происходит сейчас, а имеет в виду что-то другое: знает некую тайну или вспоминает что, известное не одной ей...

– Заходите! – Она шире раскрыла дверь.

А я испугалась: терракотовый шкаф возьмет меня в заложницы, выкупать некому, мать одна пропадет...

– Входите, входите, коллега! – Неестественно ласковый голос напугал меня еще больше (изнасилует меня!). Я не двинулась. – Вы какого отдела?

– А вы? – говорю наугад.

– Я думаю: у нас с вами есть о чем поговорить. Входите! Даже если вы другого отдела...

– Какого отдела?

– Неважно. Мы с вами договоримся...

– О чем?

– О чем хотите. Что же вы не заходите? Вы же хотите мне что-то сказать?

– Подождите! – мрачно насупилась я.

– Так что же вам надо, не пойму?

– Почему вы отдали картины?

– Ну как же! Ведь сын пришел собственной персоной!

– Вы его пожалели?

– Да нет! Что вы! Зачем жалеть? Мальчишка основательно взялся за дело и напугал меня до смерти! – почему-то засмеялась она. – Не пистолета его, конечно, я напугалась, но не ожидала подобной решительности. Я ведь слышала ваши с ним разговоры и как он без вас ругался. Вы бы слышали: как он ругался! Хорошо, что не слышали! Так нечеловечески страшно ругался – нельзя передать! Сейчас-то он мал, но быстро растет и уж спуску нам с вами не даст, имейте в виду. А я хочу жить поспокойнее...

Насмешливая гримаса кривила ее лицо, а меня еще больше озадачивала: неужели над этим можно насмеяться?

– Почему вы мне говорите это? Не захлопнули перед моим носом дверь?

– Но мы с вами люди определенного круга, у нас еще есть слова. Входите!

– Какого, вы говорите, отдела?

– Какого! ГЭБЭ. Как и вы, наверно?

– Я не знакома с БЭГЭ...

– Познакомьтесь и с тем и с этим...

– Я не пойду!

– Вы что, притворяетесь?!

Вдруг, смотрю, она совершенно переменяется: лицо стало злое, ненавистное.

– Слушайте, что вам надо? Я уезжаю...

– Если бы мы не пришли за картинами, вы бы их увезли?

– Отстаньте! Мне надоело! Да отвяжитесь от меня! Не ваше дело!

– Ах так... Прощайте! – Я быстро повернулась и стала спускаться к своей команде. Все равно я ничего не понимала, не узнала: разговорами только затушевывается суть, слова загадочнее поступков. Смутные вопросы продолжали торчать в мозгу. «Коллега» – почему?

Дверь за мной захлопнулась не скоро. Она тщательно оглядывала углы на лестничной площадке, стены, подоконник высокого окна, освещающего лестницу. Она, я догадалась, искала взрывчатку. Теперь взрывные устройства подкладывают везде: в самых неожиданных местах. Их прикрепляют к деревьям, подвешивают к потолку, к стенам... Отвратительная жизнь... ад и рай – в двух шагах друг от друга...

Черт с ней! Мне больше ничего от нее не надо. Она все равно не скажет, что произошло на самом деле.

Когда я вышла на улицу и увидела свою группу с картинами, меня вдруг осенило, дошло: она сотрудница какого-то «отдела» и выполняла задание. А легко отдала картины, потому что думала, я тоже из «отдела» и явилась к ней тоже по заданию? Вот почему – «коллега»?.. Я недоумевала, когда Таня мне разъясняла. Наконец прояснилось...

Мне представлялось: она, видимо, думала, один «отдел» послал с заданием выкрасть, другой – с заданием вернуть? Или «отдел» один, а задания два? Моя женская логика работала лихорадочно, как-то сумбурно.

Я все думаю: как удалось мне не попасть к ней в заложницы? Я могла бы запросто войти к ней, но удалось вовремя остановиться. Все же хорошая у меня реакция, чутье меня не подвело.

Меня обьяло ужасом: художник-то наш, видно, чудом выжил. Или было рассчитано – подкосить? Ничего себе заданье! Цулуйкина здорово «поцеловала» мужика, едва жив остался. И никому не поставить в вину. Вот ведь как бывает в нашем женском кругу. Сука какая! Задание выполняла? Не всякое задание надо выполнять, женщина!

Пусть «коллега» остается, она же не послушается меня.

Но дело сделано, теперь уж ничего не напишешь, пора домой. Несмотря на тревожные вопросы, у меня вырвался вздох облегчения.

Пока Петя развешивал на прежнее место холсты отца, а Славик торопился домой поскорее выпить бутылку, я, моя мать и Лидия торжественно распивали шампанское за нашим кухонным столом, как в новогодний праздник, поздравляли друг друга с удачей (еще стоим на своих ногах). Мамочка, не понимая, что происходит на самом деле, верила, что так и должно быть.

Шампанское было необходимо Лидии, иначе наш поход не оправдывал ее надежд на пышную торжественность, которой она ждала (где я возьму ей «пышность»?). Мне ничего не оставалось, как взбить эту самую «пышность» шампанским. Зачем иначе я водила ее вокруг картин?

Картины, она сказала, нести ей было приятно, но в живописи она никогда не понимала и сейчас ей не по силам: «Других вон в университетах, в академиях учат, а в живописи они ни бум-бум, что ты от меня хочешь?»

Чтобы она не разочаровалась во мне, не сочла отсталой от времени – я больше всего боюсь этого, дорожу мнением жильцов моей площадки, – на мой взгляд, ей нужно было побольше шампанского. Я знала: она не привыкла довольствоваться рюмочкой, бокальчиком, потому сама старалась выпить поменьше, ей оставить побольше. Мамочка отпила ровно столько, чтобы не повредить здоровью, торжественно подержала бокал, потом вполне изящно отставила...

ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ

1

Настроение стало как в Новый год.

Но я осталась без денег: они ушли на оплату дороги, на такси, на бутылку с закуской Славике (закуска, между прочим, обошлась дороже бутылки), на шампанское. И все.

Посижу теперь на макаронах, как Лидия. Есть еще горох и овсянка. Не птица овсянка. Не деревня. Овсянка из овса, горох из бакалейного магазина.

Без денег даже легче.

Узкие рамки возможного. Скучность воображения. Убогое отражение в тусклых бумажках-бляшках, вчерашний свет. Замедленный жест. Это когда МАЛО денег. Гораздо свободнее, уж когда их совсем нет.

Занимать денег я ни у кого не хочу. Соседи относятся ко мне хорошо, словно к родственнице, на лестничной площадке живем, словно на одном плоту гребем. Но просить в долг ни у кого ни за что не стану.

При полном безденежье придется совершать подвиги, не привлекая кошелька.

Подвиг домоседства.

Самоограничения.

Воздержания.

Поста.

Смирения.

Послушания.

Терпения.

Молчания.

Всепрощения...

Такие подвиги не стоят ни копейки.

Нет денег – черт с ними. Ничего не шуршит – тихо. Абсолютное безденежье, может, лучше, чем мучительно скаредный достаток.

...Какая хорошая у вас морковка! Нет ли похуже? Мне... Сколько? Две-две. На двоих хватит. Достаточно. Больше не надо! Не люблю паршивую морковку – куда мне столько! Одну? Две. Спасибо большое-пребольшое, до самого неба. Ну где вы еще найдете такого благодарного покупателя? Покупательницу. Остальные – люди как люди. Только у морковка на блюде...

Ой, свёколка! Какая свёколка! Одну, пожалуйста. И помельче. Еще мельче. Совсем маленькую. У вас таких нет? Как жаль! Я люблю маленькую, мягонь-

кую свеклинку. Неужели такой нет? Не бывает? Посмотрите, потрите... ну и не надо-надо-надо...

Кочанчик-кочешок. Мне маленький, чуточный, пикотный кочешок-шок-шок. Что: слб́ва не знаете, никогда не слыхивали? Не может быть! Вы же с людьми работаете! Перед вашими взорами весь нацконтингент, можно сказать, все человечество проходит, а вы своих не признаете? Ну что вы! Этакой до дома не дотащить: мне много нельзя-льзя-зя...

У вас лимоны толстокожие: одна кожура и мякоти нет. Не прощупывается! Да не давлю я, не давлю, уж нельзя прикоснуться! Мне лимончик-миллиончик, помельче-льче-че, миллиончик-чик-ик. Не очень кислый? Не знаете? Не пробовали? А вы бы попробовали и мне сказали наверняка. Сладкие? Сладкий мой лимончик-миллиончик-чик-ик, один-одинешенек. В горле застрянет – кислятина!

Скукожилась, как паршивая кожа.

Вегетарианка я! Мы – вегетарианцы! Нам ничего не надо! Ничегошеньки! А то растолстеем, некрасивые станем. Зачем нам, вегетарианцам, ваши горы фруктов-продуктов?

Нам что-нибудь похуже: меленькое, с гнильцой.

Вкуснее, я вам говорю...

Знаю я, что говорю! Толстых не любим. Изящные. И не предлагайте. Ни-ни-ни!

Как удается быть такими изящными? С трудом, конечно. С помощью чудодейственной диеты. Могу сказать, но только по секрету. По большому секрету. Иначе нельзя. А то все изящными станете, потесните нашу непревзойденную оригинальность!

ТЬфу-фу-фу, гадость! Радость-ость. Нас не интересуе-суе-суе-суе. Мы заботимся о том, что на Гаити происходит, а не тут, под самым носом пылит...

Мы чудачки-даки-даки, дудачки.

А вам какое дело-ело-ело? Зело-зае-заело...

2

Вот теперь лечу по улице, как пушинка. Ничто не тянет карман. Моя старая улица слеплена из домов, тесно притертых друг к другу. Там, где теперь живу, улицы по строю другие.

Без денег честнее, свободнее, вольнее, счастливее. Вот всегда бы так. Вообще бы без денег обходиться, деньги – одна забота, а толку никакого, все идет в отходы...

Самолет по небу летит, белую полосу прошивает. Два самолета. Полосы перекрещиваются. Кто-то

разноцветного змея запустил, он трепещет, хвост на ветру дергается... Были бы деньги в кармане, и не заметила бы, недосуг было бы к небу глаза поднимать, думала бы о том, что вот: деньги в кармане, как их распределить... до чего надоели, куда от них деваться, проклятых?

Двери в старых домах теперь всё новые ставят, как в нашем-вашем магазине...

На двери в изящной рамочке объявление – компьютерный набор (узкие коричневые рамочки вошли в моду, и объявления стали изящные, не то что были прежде: напишут кое-как от руки, а все в очередь бросаются).

«ПОДИУМ! ПОДИУМ!! ПОДИУМ!!!

Отбор моделей – 16-00».

Что за подиум дурацкий? И дверь не заперта, все открыто, на виду, раньше такого не было. Девушка только что вошла.

Зайду и я, будто по объявлению, посмотрю, что теперь внутри делается.

Нельзя, так уйду и по знакомой с детства улице дальше пойду. Я в этом доме раньше жила, после капитального ремонта он внешне сильно изменился и живет теперь без меня по-другому...

Там по банкеткам девушки сидят, одна краше другой, похоже, ждут своей очереди. Да, дом изменился, а очередь осталась. За чем стоим? Кто последний? Неужели начнут выяснять, как надо правильно говорить: крайний или последний? Прежде с этого начинали.

Я села с краю. Сижу. Никому не мешаю. Будто так и было. Что будет?

Из занавеса выскочил парень в женской крашеной стрижке (я, например, сама себя стригу и машинку тоже – на полном самообслуживании). Он с папкой в руке, в другой руке «паркер». Водит «паркером» красиво, словно дирижерской палочкой. Все встали. И я стою.

«Паркер»-то «паркер», но у него черт знает какие часы!

Не японские – «Сейко», «Ситизен», «Ориент», «Омакс» – нет.

Швейцарские! Но не «Омега», не «Лонжин». Часы – «Радо»! Это еще не все: на груди висит на шнурке мобильник.

Я с ненавистью на мобильники смотрю, они напоминают мне паразитов, что заражают воздух и размножаются как тараканы, куда ни пойдешь, везде пикают, истязают музыкальную классику до ширпотреба, без стыда, без совести, никто не привлечет за нарушение авторских прав, черпай беспрепятственно из чистого колодца классики электронными блямбами, что развешаны на грудях любого дурака.

(Вслух говорить такое нельзя, только «про себя»: сочтут невежественным врагом мирового прогресса, мир не потерпит правды, поглотит меня со всеми потрохами, до естественной смерти дожить не дадут.)

Теперь еще бывают необыкновенные ботинки, самые лучшие, новые, последней моды. Их, видно, выскивают специально для джентльменского шика. «Мерседес» на себя не навесишь, бывший мой двор весь забит машинами, не лохматками, как прежде, новыми блестящими автомобилями.

Да, еще интересно: он сегодня ничего не жует. В прошлом году не жевать значило себя не уважать. Видно, жвачка вышла из моды. Примета времени.

Персоной VIP себя считает – не иначе. Я не знаю как следует, что за персоны, вижу только, что они на себе таскают весь «традиционный набор». Вернее, знаю: ничего путного не делают, просто распоряжаются теми, кто не персоны VIP, известно, что можно делать в дурацком «прикиде» – только распоряжаться, показываться...

Вон, уже начал распоряжаться. Указал «паркером» девушку:

– Вам спасибо! Можете больше не беспокоиться...

Девушка молча пошла к выходу, недовольно оглядываясь на «паркер». (Видно, заранее не подходит. Чего уж мне ждать!)

– Спасибо. Не беспокойтесь! – Другая ушла... Третья... Четвертая...

Пойду-ка я отсюда, пока меня не погнали.

– Прошу вас остаться, – указал мне «паркером» и мельком взглянул на свои «Радо», заметил точное время...

Я, оказывается, подхожу фирме: ростом, статью, фигурой. Меня со всех сторон осмотрели, и не только «паркер», других (многих) звали на смотринки. Кому костлява – кому лучше не надо. Ха-ха! – так и хочется пококотничать.

Завтра с утра началась работа с моим лицом. Есть, говорят, лицо! Есть! И дорогого стоит! Убিরали лишнее, добавляли, что им надо, чтобы на все сто. Одели заново с ног до головы. Я, конечно, такое сроду не напяливаю, но не стану же фирме перечить, «инфантилка» этакая.

Моя походка сразу понравилась, переучивать не стали, велели не менять ни походку, ни фигуру. Мне совершенно не хотелось сопротивляться и перечить.

И вот хожу по подиуму, по подиуму, по подиуму перед людьми под музыку много раз. Оказалось, правильно. Кто бы мог подумать!..

3

Походила, походила – заплатили хорошие деньги: полный карман денег.

Теперь некогда в небо смотреть: с подиума сразу в магазин. Дома завалила продуктами стол. Хорошая, сладкая наживка – деньги! И все за то, что кому-то понравилась моя костлявая фигура. Оказывается, и такой фигурой можно похвалиться.

Ни потерпеть, ни пострадать как следует не дали, а я было приготовилась голодать.

Я уж уверилась в том, что никто никому не нужен, а уж я – тем более. Оказывается, и уроду может место найтись, если не стараться его подыскивать особенным, натруженным, жадным, голодным взглядом. Нечаянно быстрее найдешь. Вон как время изменилось!..

Не унывайте, бедняки! Не сидите дома. Идите по улице, свободно размахивая руками. Не на Лиговке, так в другом месте – удача найдется. Может, она давно вас (нас) ждет. Главное тут, чтобы не ты ее ждал, а она тебя. Когда ты ее ждешь, от тебя все глаза отворачивают...

Теперь звонят из фирмы, зовут поработать – данные в картотеке остались.

Я отказываюсь.

Обещают больше платить. Деньгами меня соблазняют.

Но мы, бедные, ведь еще и тупые в своем бедняцком упорстве, капризные, нас не сразу поймешь. Мы считаем: в честной бедности наша гордость. Какому богатому такое понять? Никто меня не понимает – знаю.

Хоть романы пиши, только бумага нынче дорога стала, бедному не по карману. Ему упорство дороже, денег не требует, а богатым недосуг при деньгах-то...

Богатый спокоен: он все для себя любимого сделал, как на троне сидит, богатством нанятые управляют, небось, за нищенскую плату.

А бедный постоянно выкручивается, хитрит, соображает, воображает, делит и умножает. Одно соображение тащит за собой другое. Соображений накапливается целый состав вагонов в поезде жизни. Мы, бедные, еще и напыщенными норовим быть. А как же! Вам не понять, а я по себе знаю. У нас в мозгах такие завихрения бывают, никакому богатому воображению не разобраться. Нам (им) не угодишь. Вообще, бедные такие дряни – с нами лучше не связываться, по себе знаю: с нами шутки плохи.

Ни одно государство с нами не уживается, мы вечная больная мозоль на его ноге, и никогда от нас не избавится: сколько ни мори – не переводится. Перебить нас – вооружений не достанет, да от любой войны нас только прибавляется.

Но богатые должны нас, бедных, любить, уважать и специально разводить, именно нам они обязаны своим самодовольством – без нас не было бы их. Спасибо должны говорить нашему бесспорному существованию.

Единственный выход: сделать нас богатыми.

И тогда без хлопот.

Но богатые от этого победнеют и никогда не согласятся.

Лично я ума не приложу, что тут можно сделать: богатства мира не безграничны, а количество людей неисчислимо.

(Впервые в жизни по-настоящему не знаю, что делать, создалась ситуация, из которой я, такая просвещенная умница, не вижу выхода.)

У наших людей есть особенность: когда совсем худо, начинают молиться богу, просят Иисуса Христа, строят церкви по всей стране, часовни, колокольни, льют мощные колокола, чтобы до бога скорее дозвониться, шелнут покаяния. И называют свои путаные терзания русской душой. Вместо того чтобы выдумать что-нибудь поновей.

Конечно, можно утешаться религией, она вполне теперь доступна, расправила плечи, раскинула руки во все стороны света. Не знаю, правда, на чем религия материально держится, на святом духе верующих, что ли?

Но бог помогает, когда ему самому помогают. Взять к себе он всегда готов. Но разве это человеку надо? По-моему, не всегда. Люди помолятся, понадеются, а остаются на том же месте, с которого начали, и отсталыми на целый век: время тикало вперед, может, к прогрессу, а они тикали, пятились к началу древнего мифа. Там ничего нового не может быть.

Я здравый смысл предпочитаю, обеими руками за него держусь. Подумаю, решу, как надо по здравому смыслу, – и без претензий. Врач, и тот, наш неизбежный бог, считает: здоровье в наших собственных руках.

Я же советская атеистка и продолжаю оставаться таковой вопреки настроениям времени. Считалось: библиотекарь – человек просвещенный, зачем ему верить в Иисуса Христа? Тайно, что ли, по ночам молиться? Под одеялом? В глубине души?

Иисус Христос, как я понимаю, – философ, предложил миру свою формулу жизни, на которой выросла вполне тоталитарная мировая религия.

Христианская религия породила огромную культуру, через которую просто так не перешагнешь, она обязательно на тебя повлияет. Кроме того, библейско-евангельские заповеди легли в основу конституций западноевропейских стран. И значит: независимо от моего атеизма я все равно воспитана в духе христианской нравственности. То есть все, что я думаю, делаю, говорю, укладывается в нормы православного воспитания независимо от меня самой – от плоти народа, от земли, – какие бы веяния ни влияли, как бы ни проявлялись мои метания, несогласие. Как бы я ни упиралась, ни противоречила, основным ориентиром в моих поступках будет любовь, сочувствие, совесть.

Хотя в XX и XXI веках стало ясно: культура христианская и нравственность переживают острый кризис и не могут ничего удержать в своих рамках.

Может, правильно, что я атеистка.

Я и сейчас согласна с формулой: «религия – опиум для народа». Но пусть будет «опиум», пусть остается для тех, кому надо: в периоды социальных переломов появляется много растерянных людей, они идут в церковь. И пусть утешаются. Я не против. Пусть будет на свете все, что нужно людям или может понадобиться. Но называть это прибежище духа надо как следует: не духовным богатством, а несчастьем, отступлением, отсталостью – изощренной уловкой, в конце концов. Уповая на бога, люди делаются как тени, лишаются энергии действия, на живых не похожи.

Но мне не надо: образом меня не утешить. Мне лучше умереть, чем напрасно верить в образа.

Она укоряет меня («она» – не одна, их много в нашем кругу, которые готовы смотреть на меня с укоризной):

– Ты даже в Бога не веруешь! – Что, мол, с меня взять, с человека ущербного, недостойного. А я говорю:

– Бог у меня есть. Я сама бог. Любой человек – бог, всякое животное, трава, дерево – боги. Река – бог. Гора – бог и всякий камень... – Она смотрит на меня еще более презрительно и подозрительно. А я продолжаю восхищаться: – Что за физика, что за эволюция образовала нас всех?

Мы рождаемся, чтобы читать этот божественный вселенский роман, раскрывать глгучую тайну божества.

Во всяком случае, моя религия – это религия «шестидесятника». Просвещенного шестидесятника...

Я только говорю, что жить можно не в одной религиозной системе, и даю свой рецепт. Хотя об этом стоит не говорить, а помалкивать, мало ли что... Теперь религиозная идеология сильно обострилась. Одна острая идеология у нас сменяется другой остреейшей идеологией. Лучше всего помалкивать, если хочешь сохранить свое собственное «я». Именно «я» оказывается в опасности между остриями мира. Всякой системе власти, верований, предрассудков, условностей хочется приобщить

«я» к себе, не оставить меня при себе. Держи ухо востро. Свое «я» закутывай в себя поглубже, не раскрывай, не обнажай, не высказывай. Онемей. Притворись, что нет у тебя никакого «я».

А то...

Что?

То! «Я» оказывается между нацеленными на него остриями, уберегись попробуй. Много охотников на эту дичь. Черт его знает, чем кончится. С лица земли сотрут, не заметишь...

Так вот: обещают повезти меня на показ за границу.

Соблазнительно!

Но невозможно.

Я вынуждена отказаться: туда ходить мне неловко, будто на панель. Занятость там большая: всю жизнь им отдай. За это же хорошие деньги платят.

Мне мамочку нельзя оставлять. Очень редко живут теперь с матерями, все больше пытаются пристроить куда-нибудь, отправить на отдых.

А у меня судьба – моя родительница. Она у меня одна. Другого родителя в жизни не было.

Во всем я настойчиво ищу здравый смысл, нахожу, упускаю, сбиваюсь, снова ищу – трудно уловимый подвиг здравого смысла – и тут он мне сам попался. Ага, попался!

Много подвигов я себе напридумала, но на самом деле понадобился совсем другой – подвиг здравого смысла. Он всегда дорого обходится, задаром не дается, дорого стоит в отличие от других.

Заплатить за него пришлось всеми большими деньгами, что я могла бы получить за «подиум»...

4

Деньги у меня еще остались, я не транжира.

Могу даже кому-нибудь дать от души. Наконец-то не самой просить.

Дать.

Подарить.

Без отдачи...

Не кому-нибудь. Есть конкретный, известный мне человек, который всегда нуждается в деньгах. Как он без них живет, как выкручивается, никто не знает, он никогда никому не скажет, мол, никого не касается. Но он отзывчив, пойдет на любое дело, поможет, если как следует попросить. За бутылку горы свернет. Надо кому: мебель на себе перетаскает, дворец отремонтирует, дом построит собственными руками, улицы и пристани подметет, на тракторе целое поле вспашет – очень, очень способный к технике человек, – если, конечно, кто-нибудь его попросит как следует. Мне он недавно так помог, так выручил, без него ничего бы решительно не получилось. Век не забуду его отзывчивость! Всё в жизни такая мелочь по сравнению с тем, что может он. Замечательный, редкий парень! Единственный недостаток – он вечно без денег.

Конечно, это Славик.

Звоню ему и говорю:

– Денег хочешь?

– Ты что, замышляешь ограбить банк?

– Ой, что ты! Мне такое и в голову не приходит.

– А я бы тебе безоговорочно помог в этом славном деле. Я уж давно понял, что ты у нас в роду хорошая авантюристка.

– Нет, Славик, ничего грабить не надо. Я получила деньги и могу тебе немного дать.

– Немного мне не надо! – сразу отрезает Славик.

– А много где взять?

– На «немного» купи себе мороженое, сиди и ешь маленькой ложечкой из малюсенькой вазочки – тю-тю-тю! Вы это любите.

– Ну что ты городишь, Славик? Какое мороженое? Я могу тебе помочь деньгами...

– Мне?

– Да.

– Ты?

– Ты мне помог, я – тебе...

– Что ты воображаешь себе, помогалка?!

– Славик, я ничего плохого не имею в виду...

– Мне и хорошенького не надо!

– Как – не надо? Денег не надо? У тебя деньги есть?

– Нет у меня денег. Нет и никогда не будет, заруби себе на носу.

– Так вот же: я тебе предлагаю...

– За что? Я тебе что-нибудь плохое сделал?

– Почему – плохое? Хорошее сделал.

– За хорошее паршивыми деньгами платят? – смеясь, изгаляется Славик.

– Почему – паршивыми? Я их сама заработала...

– Заработала? Ну и иди ты с ними в баню.

– В какую баню? Я никогда не парюсь в бане. У меня ванна есть. Я душ принимаю.

– Ты что, со своей наивностью ничего не понимаешь? Не понимаешь, что «в баню» значит куда подальше?

– Не понимаю... – растерялась я.

– Ничего не понимаешь, а денег мне своих предлагаешь? И тебе не стыдно, тетка дорогая?

– Предлагаю без корысти, пока они у меня есть.

А когда ты станешь просить, к тому времени они у меня кончатся. Мне будет нечего тогда дать.

– Ну и что?

– Как что?

– Ничто! Тогда ты у меня спроси.

– У тебя же никогда денег нет.

– Есть или нет – другое дело. Но ты спроси. Не денег, так что другое. На деньгах, что ли, свет клином сошелся?

– А как же не сошелся? Свет на деньгах с ума сошел!

– А я при чем? Я этой теории не доверяю.

– Как хочешь, но будешь просить в неподходящий момент. А сейчас у меня подходящий момент, и я сама тебе предлагаю...

– У-тю-тю, у-лю-лю: она сама предлагает! Не просят, так нечего предлагать. Нашлась какая!..

– А ты какой? – уж рассердилась я.

– А я? Сказать тебе откровенно, какой я?

– Скажи.

– По-честному?

– Конечно.

– Я вообще-то сентиментальный и злой! Ясно?

– Ну и сиди и злись тогда без денег...

– Это мое личное дело! Никого не касается, благотворительница несчастная!

– Ну что ты ругаешься? Я же тебе ДЕНЬГИ предлагаю...

– Зачем?

– Как – зачем? Деньги всегда нужны.

– Кому?

– Всем.
– Я тебе – не «все». Я совершенно отдельный человек! Как понять не можешь? Я у тебя просил?
– Просил.
– Сейчас просил?
– Сейчас не просил.
– Ну и не надо. Заплескалась там, понимаешь, расчувствовалась со своими деньжатами. Я даже испугался: подумать только – деньги зря дает!.. Сама с чем останешься, тетка неумная?
– Какое тебе дело, сколько у меня останется?
– Небось если бы много было – шиш бы предложила?!
– Зачем тебе много? Бери сколько даю.
– Я сказал: не надо!
Ничего себе: немыслимые противоречия времени!
– Что ты вздорный какой? Никак с тобой не договориться!
– Да. Я вздорный. Я себя уважаю!
ОН СЕБЯ УВАЖАЕТ!!!
– Возьми! Ну возьми! – скромно, без зазнайства, ему говорю.
– Не возьму! – отрубает Славик.
– Не возьмешь? Ну может, возьмешь?
– Нет! – отстреливает Славик.
Разговор явно зашел в тупик, не в ту сторону крутится.
– Ладно, будь здоров! – говорю. – Извини, если что не так говорила. – И повесила трубку.
Какое варево эта беднота! Сам черт их не поймет. Совершенно невозможно с ними разобраться.
Бедняк несчастный!
Выпендривается!
До чего мудрёны эти бедняки! Сразу не разберешь: не понять, что им вообще нужно, кроме бедности.
И что так за свою бедность держатся? Не пойму.
Не пойму...
По телефону и то не поговоришь, все кочевряжится.
Ну и сиди в своей конуре без денег!
Знаю: все они – ненормальные.
О! Как я им сочувствую! Как сочувствую! Как самой себе сочувствую несчастным... так сочувствую, что стыдно деньги в кармане держать.
Начать жить с начала – денег все-таки для этого мало. Их вполне достаточно, когда сидишь дома, никуда не ходишь – не ездешь, крупного не покупаешь. А как начнешь прибархляться, суетиться с деньгами, туда-сюда тратить, их сразу ни на что не хватит, незаметно все утекут.

5

Деньги еще остаются.
Куда их деть? Кому бы дать? Кому бы помочь? За что бы заплатить?
За все заплачено. А они все равно остались.
Скоро подвернулся случай, куда их частично потребовалось истратить.
Пришла я в библиотеку, в которой прежде работала, принесла гостинцев к чаю: конфет и пирожных. Пить чай с пирожными... в библиотеке... думаю, большой шик. Большого шика я не представляю.

На чайном столике, куда пирожные выставляю, валяется какая-то кассета и мешает мне раскладывать лакомства по столу.

– Уберите кассету! Чья кассета, – говорю. – не на месте лежит?

– Да выбрось ее. Она ничья.

– Как – ничья? А все же – чья? Что на ней записано?

– Мы не помним. У нас магнитофон сломался, послушать не можем. Кто записывал, того уж нет, и кого записывали – тоже нет. Хочешь выбрось, хочешь – себе возьми. Нам не надо. Просто мусор. Все время попадает на глаза и всем мешает.

Я положила кассету в карман и, наскоро попив с коллегами чаю, пошла искать магазин, где продаются магнитофоны: куплю себе магнитофон и буду слушать кассету. Вот тут мне деньги понадобились. Маленький недорогой магнитофон я принесла домой, вставила кассету и слышу голоса: разные, но говорят об одном. Понимаю: идет беседа, дискуссия о художественной выставке, записана неумело, плохо, или кассета слишком стара, размагнитилась. Голоса доходят до слуха с трудом, но мне все равно интересно: кручу и слушаю, слушаю...

Судьба-то какая милостивая, не только наказывает, но и помогает. Кассета – подарок судьбы!

Вот хорошо: денег лишних больше не осталось, можно не беспокоиться. Все пойдет по-старому: честная бедность струится тихо, без всплесков, умереть не даст и безобразно разбогатеть не позволит.

6

Я слушаю, слушаю...

Каждый говорит свое и обязательно другое. Интересно! По-разному мыслят. Редко бывает. Обычно – все в одну дуду.

Один: – Природа вызывает у меня восторг, удивление перед миром...

Другой: – Ну, вы традиционалист. Вас много, вы господствуете в искусстве веками. Каждый гордится тем, что ПО-СВОЕМУ отражает мир. У вас всё в «природе» правильно: небо сверху, земля внизу, деревья растут из земли к небу. Зачем это все отражать-то? После начали понемногу деформировать предметы, сдвигали их с насиженных мест – и это уже было смело, вызывало протесты, критику, негативные отзывы. Отличаетесь друг от друга красочным парадом: у одного краски всю пылают, у другого – затухают с самого начала. «Восторг» выражается сочетанием красок – живописностью. Кто краски сердцем выбирает, получается чувственно, природа выходит облагороженная, как в мечтах...

Третий: – Природа – живая картина, и повторять ее – форменное воровство. Не иметь права! Не давать себе такого права!

Он предлагал что-то другое для отображения, выражения, изображения, но что именно и в какой форме, понять невозможно. Запись в этом месте испорчена – сплошное мычание и скрежет...

Если не природа, то что? Пояснил третий слышный голос.

– Художник творит при свете интеллекта. Я стер горизонт с лица земли. Опрокинул с подстав все предметы натюрмортов, раздавил их и сволок в

помойную кучу. Я поставил крест на всем видимом. Хватит дурачиться, раз за разом изображать цветочки, вазы, кувшины, дома, деревья и человек (этих все равно не перепишешь, их как муравьев на свете). Я начал открывать горизонты невидимого в человечестве и для человечества. Здесь хваленая так называемая живописность не так важна. Важнее мысль, выплеснутая изображением...

Другой голос: – Авангардисты чертовы! Знаю я ваши отвратительные мрачные мысли. Вы доводите до того, что останется одна массовая культура: те же цветочки, вазочки и деревца. Люди станут любоваться «рекламой на канале», штучками, где «все очень красиво», изобретательно и пошло. Люди любят, когда им льстят, и не принимают гротескного. Они не верят, что познание неприглядной человеческой сути развивает разум, и предпочитают рекламные штучки, а не глубокие размышления над бездной человеческой.

Во-первых, потому что мрачных мыслей на ваших холстах о противной сущности и безысходной судьбе человечества люди долго не вынесут. Во-вторых, слишком много людей, которые вообще мало что понимают в изображениях и не хотят понимать. Но эти орды, эти тьмы людей тоже должны смотреть на что-то приемлемое глазу и уму. Глаз у них больше, чем их самих, их тоже надо чем-то насытить. Вот откуда идет живучесть массовой культуры.

Человечество не переводится, сколько бы всякие «умники» ни издевались. Должно что-то радовать глаз. Пишите «из головы», сколько хотите, но заботьтесь не только о себе, о своем самовыражении, но и о других тоже. Умные стали! Но почему такие мрачные, позвольте вас спросить?

Солнце светит все еще каждый день и погаснет не так скоро, как мы угаснем. Так и нечего издеваться над самими собой, над собственной буйной головой. Что же: те, которые издеваются над людьми, сами, что ли, не болеют, не умирают? Также, по-моему, вздыхают любви, и дети у них не спрашиваясь рождаются.

В общем, можно много говорить, и я, извините, слишком увлекся говорением. Но я к тому веду, что надо все же художникам уметь рисовать классически, традиционно. А то есть мнение: концепции в искусстве возникают оттого, что рисовать не умеют. И не всегда хулиганить. О светлых сторонах жизни подумать. Поиздевались, показали, как худо на белом свете, и хватит. Давайте дальше.

Живописность хорошая штука. Радостная. Только не каждому дана. Вот увидите: люди и художники будут снова к ней стремиться, опрокидывайте – не опрокидывайте. Одни будут опрокидывать, другие поднимать. Я так думаю, и вы меня не переубедите.

– У! Шишкин несчастный!

– Я не Шишкин. Неправильно меня так называть. Я дело говорю. Будем дальше думать, ребята. Что мы, не художники, что ли? Художники мы. И всегда будем. Пожалуйста: воплощайте все стили по мере собственной или общественной надобности. При чем тут я? Или Шишкин?..

Дальше не было ни звука.

Я посидела, помечтала, и в мозгу поворотило после слушания разговора на литературу, более доступный мне предмет. У нас люди никогда не перестанут читать книги. У нас читать будут всегда.

Чтение спасает от отчаяния. У нас отчаяния больше, чем где бы то ни было...

Почему одна картина соседа-художника потрясает до рыданий? Мучает меня?

Видимо, ею мучился художник, и теперь передается мне. Другие его картины согревают душу, поднимают до... над... к... затрудняюсь сказать от волнения.

Симфония цвета, симфония чувств, живописный восторг, яростная страстность, чувственная живопись!

Художник вложил в живопись душу, она меня греет и потрясает...

7

Дело сделано – картины нашего художника на месте! Моими руками, ногами, мозгами! Теперь, когда решительно нечего больше делать, я подстрегла Таню в свободный час и попросила рассказать про картины, нелегкими ухищрениями вызволенные из чужого плена. Интересно теперь послушать, что она скажет.

– Давайте смотреть не подряд, одно за другим – путаница в голове образуется, – а системно.

– Системно – это как?

– По мере созревания мысли художника.

– По времени написания? Ретроспективно? – Мне тоже охота показать эрудицию.

– Нет, нет, время путает художника. Время – понятие страшное, оно может его уничтожить. В то время как художественная мысль может пронзить время, преодолеть его давление...

– Как вас понять? Что-то очень сложно. И привлекательно.

– И для меня сложно – понятно объяснить. Но попробую... Сегодня, завтра, послезавтра так же, как и вчера, и позавчера, художник может писать разноплановые картины, которые не будут воплощением его основной идеи. Просто он покажет возможности своего ремесла, профессионального артистизма, настроение момента. Он талантлив, у него все равно красиво получится...

– А идея?

– Не одна идея. Цельное мировоззрение. Но главное – понимание современного мира, чувственные ощущения, выраженные чисто ЖИВОПИСНЫМИ средствами: красками, их расположением на холсте, композицией, без созерцательных, описательных, литературных, как я называю, приемов, которые преобладают в сознании людей, имеющих прямое или косвенное отношение к изобразительному искусству, во все времена и давно всех задавили.

– Простите: кого «задали»?

– Литературщина в картинах задавила сознание зрителей. Они думают, будто так и надо, и по-другому нельзя, и не бывает, и не может быть... От простого (слишком простого) к сложному. Как в школе. Перейти на другой уровень художественного сознания. Найти свои оригинальные формы выражения. Смотрите: небольшой холст – этюд к картине с натуры: море, песок, лодки, люди – уже достаточно ЦЕЛЬНО живописно схвачено. Но это всего лишь грамотный этюд к картине. А вот КАРТИНА на основе того натурного этюда – «Море, песок и лодки». Изумрудно-золотистая охра

песка, ненарочитый ритм деталей на берегу делают живой и внушительной картину. Заметьте: ни в этюде, ни в картине нет привычного горизонта. Горизонтом можно считать верхний край холста, но это горизонт холста, а не содержания картины. Уже необычно...

Вот вариант с горизонтом. НАД горизонтом в центре пылает солнечный круг, разноцветное свечение неба. ПОД горизонтом – цветные воды и на поверхности много яхт с простыми, разноцветными парусами. Картина и называется «Паруса».

– Мне картина с горизонтом даже больше понравилась, – говорю я.

– Больше нравится, потому что привычнее, проще понять. Я называю композицию философичной (движение жизни под Солнцем), можно придумать целый словесный роман. А грамотный искусствовед может назвать композицию ложноромантической...

– Ничего ложного я тут не вижу. Очень приятная картина.

– Так вы не искусствовед. Потому и не видите. А литературный аспект этого «горизонта» очень сильный. Целую словесную беллетристику можно развести.

А вот небольшой холстик: солнце тут тоже есть. Оранжевое. Плотные зеленые воды. На их фоне столкновение яхт с красными и белыми парусами. И без горизонта. Цельно, живописно, эмоционально. Чувствуете? Другой уровень понимания и живописи, и личности живописца.

– Сразу почувствовала, как только вы сказали.

– Но еще не все, – говорит Таня и достает из стенового шкафа холст, который я раньше рассматривала и ничего не поняла.

– Тоже «Лодки в море». Может быть, здесь нет песка, может быть, есть. Нет и горизонта. А что есть? Здесь есть буквально всё! Надо только увидеть. Живопись! Дикая, необузданная, сильная – экспрессивная! Почти абстрактная композиция, но фигуры лодок отчетливы – вот они. Значит, назovem стиль экспрессивно реалистическим. Апофеоз восприятия мира художником.

Здесь может быть тысяча цветных пятен, вызывающих вопрос «почему?», и тысяча неожиданных мазков для ответов...

Такая картина никогда не перейдет в разряд массовой культуры, и ее никто не сможет повторить. Только это и есть искусство. Все остальное – около искусства.

Теперь вам понятна ИДЕЯ художника? Движение мысли от привычного частного к ЦЕЛЬНОЙ живописной форме?

– Если бы не вы...

– Без меня нельзя. Без меня не получится! – Таня засмеялась.

Ее наглядный урок сам по себе производил на меня сильное впечатление. Раньше я все не так понимала.

– Так что я вам хочу сказать напоследок: ЗРЕЛЫЙ художник может работать в любом стиле – лишь бы ЖИВОПИСНЫМИ СРЕДСТВАМИ, без вспомогательных подпорок. Еще, конечно, умелое владение всем цветовым арсеналом.

– Таня, вы талантливый человек! – восхитилась я.

– Вы, Мария Васильевна, тоже: такой трепетно понятливой ученицы у меня еще не было...

Но возникшее согласие – минутное дело.

Прошла минута, и вновь начались терзания.

– Нет, Таня, нет! Ну кто из наших, скажем, библиотекарей поймет безумную мешанину? А вот эту, с горизонтом, сразу воспримет и поймет.

– Если ВЫ сочтете непонятным, то тем самым отдадите понимание другим, а сами останетесь за чертой. Мол, пусть они там возятся, а мне не по уму? Я не хочу считать, что живописная образная система не для ВАС. Мне обидно и больно было бы это сознавать. Ведь я вас искренне полюбила. Мария Васильевна, милая, постарайтесь не быть безнадёжно консервативной.

– Я сама не хочу. Но что ж поделать? Трудно понять, что тут море, а не что-нибудь другое.

– А лодки? Вот они просматриваются. Где они, по-вашему, бывают, если не на воде?

– Но чтобы так писать воду! Море, наверно, так еще никто и не писал?

– И никто никогда ТАК больше и не напишет! Вот что ценно! Найден прием – единственный, разовый, неповторимый.

Не та спокойная водичка, какую мы все привыкли смотреть с поверхности в ясную или дождливую погоду с милыми корабликами. Море – страшная стихия, она, по сути, опрокидывает наши созерцательные впечатления о ней. Уже не просвеченная солнышком водичка, которую видели на предыдущей картине. Художник преподносит нам с вами свое драматическое ощущение морской стихии, а лодки, которые просматриваются сквозь ожесточенно контрастные пятна и мазки, трагедийно обречены.

Стихия чувств, насыщенная до предела.

Красоты необычайной!

Согласны ли вы со мной?

Чтобы лучше понять, смотреть надо не со своей колокольни, а с точки зрения всего предыдущего творчества художника. Случайный взгляд может оказаться слишком поверхностным.

– Да, Таня, недаром «стихия» показалась мне похожей на атомную войну.

– Я бы сказала: чувства художника атомного века... Но красота!.. оказывается, в искусстве страшное может быть необычайно красиво. Как получается – удивляюсь!.. По поводу этой картины не хочется придумывать и рассказывать сюжеты, она воспринимается чувственным аппаратом человека целиком, должна вызывать сильное ответное смятение – на то и рассчитано. А уж после может включаться мозг...

Внезапно во мне будто что закипело внутри, поднялось к глазам и прорвалось слезами, они выбрызнули неудержимо. Я едва сдержала рыдание. И ведь уже не впервые. Может быть, оно впервые возникло не от обиды, не от боли, не от радости – от картины. В картине много всего, моей душе не под силу перенести.

– Извините! – Я торопливо вышла из квартиры. Объяснить, что со мной, я бы все равно не сумела.

Да, не в первый раз охмурила меня картина. Нервы, душу измотала. Ладно ли, хорошо ли? Раны сознания разбередила. Почти убила.

Не добила. Отдышусь. Соберусь с мыслями.

Мозги встанут на место. Заново начну думать, отталкиваясь от картины.

Ладно уж и то, что за душевное потрясение не надо деньги платить. А жизни пока еще вполне достаточно. Хватит для потрясений. Не на одно потрясение хватит.

По сути настоящий-то интерес жизни только пробуждается. А раз пробуждается, то дальше интересно. Еще интереснее...

8

- Картины бы посмотреть, – пришла я к Пете.
- Идите в комнату. Только мне не мешайте.
- Что ты делаешь?
- Увидите.

Я хотела привычно взглянуть в зеркало, что в коридоре напротив входной двери, но зеркало было сдвинуто с гвоздя и приставлено к стене ребром, кое-как, шатко.

- Что-нибудь произошло? – спрашиваю.

– Нет. Не удивляйтесь. Я снял его по делу.

Он ухватился за раму, поднял на уровень глаз и стал тщательно осматривать стыки фанерованной спинки с рамой, будто искал в щелях насекомых.

Ну ладно, думаю, он у себя дома, мало ли что ему вздумалось делать. Я отворила дверь в большую комнату, где висели картины, и:

- Ах! Что это?

– Ничего, ничего. Не волнуйтесь, так надо. Поставьте стул или табуретку себе и спокойно садитесь.

И стул, и табуретка валялись кверху ножками среди другой мебели, сдвинутой со своих мест и опрокинутой набок или на попа. Из кроватной рамы был вытасчен пружинный матрас и едва приставлен к боковой доске, словно больной, выпятив пузо постели и выдавив из себя требуху подушки, одеяла и скомканной простыни. Шкаф с посудой отодвинут от стены, из его нутра все выставлено на пол, и я с испугу чуть не раздавила чашку на блюде, оно пискнуло под ногами, чашка залясала, задребезжала, я отскочила к двери.

– Осторожно! – сказал Петя. – Да вы не пугайтесь. Разгребите немного середину, там и сядете.

Письменный стол лежал на полу лицевой стороной, неаккуратная груда бумаг и ящики, желтая лакированная нутром, сползали с нее косо. Даже мольберт жалобно кряхтел на боку, беспомощно поверженный среди всего остального. Со стен, аккуратно развешанные на прежних гвоздях, весело и шутливо сверху вниз смотрели на беспорядок картины – «холсты», как их называла хозяйка.

- Ну и ну! – проворчала я.

– Да не бойтесь вы! Не пугайтесь! Ничего такого...

- А что это, голубчик Петя?

– Эти вещи я уже проверил.

– Как – проверил?

– Как следует. Тщательно.

– Ты что-то ищешь?

– Ищу.

– Что ты ищешь?

– Пока не нашел.

– А что? Что?

– Подождите.

– Что же ты все-таки ищешь таким варварским способом?

– Сам не знаю. Пока не найду...

– Ты с ума сошел?

– Да не бойтесь вы, говорю вам! Садитесь. Смотрите. Не мешайте.

Я поставила давно знакомую табуретку на ноги и села. Но смотреть картины пока не было никакой возможности. За стеной шла такая возня, что, сидя на табуретке, было просто не сосредоточиться. Мне было настолько не по себе, что я перелезла через преграды и заглянула за дверь в другую комнату, где Петя в данный момент возился, тем более, что и двери, и комнаты чуть не слеплены друг с другом. Там Петя все переворачивал и выпотрашивал. Страшно было смотреть. Потный, он ползал вокруг вещей, ощупывал, обыскивал со всех сторон. Мне неудобно было ему мешать, я снова запрыгивала на табуретку и пялила глаза на картины, но в таком разгроме сосредоточиться никак не могла. Вот уж действительно: искусство требует спокойного долгого созерцания, в бедламе невозможно ничего рассмотреть.

Невыносимо любопытно, что же делается за дверью? Зачем он все переворачивает? У меня внутри уже все переворачивалось от нестерпимого желания участвовать и помогать. Я же всегда на помощь готова, только позови. Но зова не поступало. Я сидела и ждала, когда послышится Петин голос. От нетерпения я встала и, наострив уши в Петинном направлении, перелезла через кучу бумаг и ящиков из письменного стола, начала, как всегда, поливать цветочки. Я смотрела в окно, но была уверена, что сейчас он меня позовет. Зачем я здесь? Я здесь давно уже действующее лицо. Должна заметить наверняка: простого человека от созерцания большого всегда отвлекают неизбежные мелкие бытовые делишки. В самый нужный момент мелочей набирается несметное количество, как нарочно. Нечего, мол, нечего тебе, сопливному, в большое лезть, углубляться, от мелкой жизни отвлекаться. Несчастные все же мы в этом смысле. Нас ни на что не хватает: на большое, я имею в виду.

В это время из-за стены раздался стук-гром: не иначе, шкаф с одеждой переворачивает. Я тут же бегу через развал в комнате, спотыкаюсь, падаю, поднимаюсь, тороплюсь поглядеть, что там происходит: белье и одежда из шкафа вывалены на кровать, Петя ползает вокруг беспомощного шкафа, будто обнюхивает его.

- Клопов ты, что ли, ищешь?

– Похоже на то, – говорит Петя тоном хозяина положения.

- Давай я тебе помогу.

– Не надо, – говорит Петя. – Свет, пожалуйста, не загораживайте.

Я снова убираюсь в другую комнату. Двухкомнатные квартиры такие знакомые, одинаковые, а тут черт ногу сломит.

Приклеиваюсь к табуретке, но картины смотреть не могу. То есть смотреть-то смотрю, никто не мешает, но сознание и внимание гуляют где-то в другом месте, около Пети и его непонятных занятий. И мимо картин. Они сами насмешливо смотрят на меня со стен. Но мне интересно!

– Можно мне понемножку тут убирать? – кричу я Пете.

– Не надо! Ничего не трогайте! – кричит Петя. – Я сам! Да не беспокойтесь вы! Сидите спокойно!

Не знает он, как трудно дается мне это «спокойно».

– Что же ты ищешь? – снова кричу я.

– Потом скажу, когда найду, – отвечает Петя.

– Что ты темнишь? – кричу я.

– Я сам не очень представляю, что ищу. Вам понятно? – отрывисто кричит Петя.

– А тебе понятно? Как же ты найдешь в таком случае, если сам не знаешь что? Я тебе не мешаю?

– Нет, – кричит Петя.

– Можно, я что-нибудь сделаю?

– Что вы имеете в виду?

– Ну, может, картошечку почищу, отварю?

– А картины? Вам же нужно картины посмотреть?

– У тебя голодный вид.

– Разве что картошечку. Ну ладно, почистите.

Отварите.

Я с готовностью отлепляюсь от табуретки и перелезаю через завалы в кухню, там еще прежний порядок, но до поры до времени: и до кухни дойдут Петины руки, он вовсю разошелся. Потому с картошечкой надо поторопиться, а то и кухня рухнет, и мне придется уйти, а интересно, что будет дальше.

Я отыскиваю пакет с картофелем и начинаю свое привычное милое женское дело, до мужских заморочек не допускают.

Петя за стеной, похоже, начал потрошить кровати, судя по звукам из-за стены.

– Почему ты не говоришь мне, зачем ты все ружишь? – кричу я.

– Пока не могу.

– А почему?

– Потому. Потом скажу...

Мне не уйти отсюда, пока не узнаю, в чем дело. Любопытство пробирает все больше: меня отсюда силой не вызволить. Мне уж начинает нравиться, что тут происходит, и подольше бы не кончалось. На всю жизнь рассчитывать не могу, мне домой надо, но хотя бы до конца происшествия дотерпеть.

К матери Лидия зайдет, они вместе у телевизора посидят, порасскажут друг дружке житейские байки, угостятся: у нас на столе, между прочим, не пусто.

Когда он закончит свою изуверскую работу, то позовет меня наводить порядок, я только того и жду – постоянный тихий порядок у меня в крови. В силу полной размеренности моей жизни от рождения до старости я даже не представляла себе, что можно учинить собственными руками такой беспорядок. Мне лишь бы ничего не трогать. Если бы у меня сделали такой переворот, я, обыкновенная туповатая обывательница, не вынесла бы. На минутку мне снова показалось, что Петя сошел с ума.

– Петя, ты не сошел с ума? – крикнула я из кухни.

– Допустим: да. Ну и что с того? – Он снова озадачил.

Если бы сказал «нет», я точно была бы права в своем подозрении: он сошел с ума. Но он сказал как-то непонятно. Когда же он скажет мне, зачем все делает? Я чувствую себя в их квартире, как на другой планете, здесь все сдвинуто с мест, все перевернуто и перевероршено.

– Поешь горяченькой картошечки, – кричу я.

– Сейчас, сейчас, – отвечает, а сам не идет.

– Иди, скорее, остынет, – кричу я.

– Спасибо! – отвечает, но не идет.

Вот он пошел в ванную, там полилась вода: неужели ванну и раковину снимать и переворачивать будет?

Он просто вымыл руки.

Он сел за стол, с жадностью ел картошку. Я на него смотрела.

– Ты хоть одного клопа нашел?

– От клопов мы очистили квартиру в прошлом году, сейчас их нет.

– У нас редко-редко встречаются. Что же ты ищешь?

– Пока не нашел, сказать не могу.

– Почему же такая таинственность? Мне-то хоть слово скажи. Я никому не проболтаюсь, ты меня знаешь, мы ведь с тобой вроде друзья.

– Если не найду, то сейчас смешно говорить. А найду – сразу скажу.

В чай он накладывает много сахара, быстро выпивает и торопливо выходит из-за стола, решительный, озабоченный.

– Ну, что теперь? – спрашиваю.

– Подождите! Некогда. Спасибо! – и уходит доразорять свою комнату.

Зачарованная, замороженная событием, я вновь пробралась к табуретке и смиренно села рассматривать картины. Но ни в коем случае не уходить: мне же любопытно, что будет и чем кончится кавардак.

Цветочки политы, картошечка сварена. Что ж теперь?.. И начала я себя ругать.

И цветочки польем, и супа-борща наварим, полы вымоем, белье постираем, горы свернем – каменной натаскаем, рельсы от Москвы до Владивостока проложим, целину поднимем, в армии отслужим, шпионов поймем, в войне победим, детей народим (для детских домов), церковей понастроим по старинным мифам народов мира, колоколов нальем с трехтонными языками: они будут звонить, а мы в телячьем восторге ахать, лишь бы только не вдаваться в сложное и тонкое для ума дело, для чего приходится голову ломать, сосредоточиться, подумывать, поучиться.

Знаю я и нас и вас – головы ни у кого как следуют не работают, глаза смотрят не куда надо, а в сторону, в сторону или назад – все людское неблагополучие у нас от недомыслия происходит. А все новое приходит из другого мира, позже всех и в остаточном варианте.

Но ведь такое и вслух нельзя сказать: меня же заключают те, которые этого не понимают, но себя в обиду не дадут. Такие и бывают слишком высокого мнения о себе и заносчивы непомерно. Еще под меня подкапываться начнут, как под нашего художника.

А у него живопись.

А у меня начался приступ восторженности.

Тонкость.

Мысль и чувство художника.

(Чувствую, напыщенность внутри меня возрастает, градус чувства подскакивает.)

Движение духа!

Скажите, пожалуйста!

Кому нужна душевная звучность?

Нам сложно. Нам даже не сосредоточиться. Нам что попроще. Пусть лучше хребтина гнется от тяжести, лишь бы мозгами не шевелить...

МНЕ надо. Только мне: картины висят в простой малогабаритной городской квартире, не доступные никому постороннему.

Только МНЕ.

Не надо мне наконец рожать, побеждать, мыть, варить, ловить врагов и воевать. Стану я наконец что-нибудь человеческое понимать!

У меня теперь нет героев, кроме моего соседа-художника. А я героев люблю. Я их обожаю. Потому что они всегда были за Родину, и я Родину люблю. Если бы их не было, я бы не знала, как жить. Негероям живется очень несладко. Я лично живу, потому что они есть или когда-нибудь были. Мне есть чем восхищаться. А я хочу восхищаться Человеком. Я бы сама стала героем, если бы кто-нибудь натолкнул меня на такую мысль. Но жизнь-то у меня получилась не моя, а матушкина. Она под себя меня подгоняла. Зачем ей мое геройство. Ей нужнее мое холуйство. Родители (уж эти матери-одиночки!) сами гробят своих детей.

Понятие пришло ко мне, когда уж жизнь прожита.

У нас всё, буквально всё сопротивляется умственному развитию. Взять хотя бы литературу: такой трогательной, чувственной литературы, как русская, трудно себе представить. Но мысль, как правило, стоит на месте: не любят наши писатели мыслить. Сердце исходит слезами и кровью, а голова не работает, как из положения выйти. За мыслью приходится лезть в американскую или французскую литературу. Вот вам (нам) и мы – сами с усами!

Сидеть и созерцать... (Слова-то какие!) Ни «сидеть», ни «созерцать» в жизни не приходится. А тут минута выпала – не суетиться. Никогда ведь не было. Может, больше и не выдастся подобной минутки, зрение падает неумолимо. Хочется человеку выскочить из житейского переплета на минутку, соприкоснуться душой с духовным миром художника...

Смотрю картины одну за другой подряд, и начинаю проступать их слаженный смысл в целом: люди, лодки, сети, море жуткое и радостное под вращающимся кругом солнца, разноцветные легкие паруса пересекают солнечную дорожку. Надо же так не бояться солнца! Дети обычно пишут солнце, они ничего не боятся. Взрослые художники пишут не само солнце, а свет в трехмерном пространстве. А этот – смелый? Или дурной? Или ума у него, что ли, больше, наглости, зазнайства, надменности? Он, видите ли, с самим солнышком на «ты». Всадил солнце в самый центр холста, в самую середину Вселенной. Да оно у него еще и крутится!..

А паруса? Ну и паруса! Обалденного темно-красного цвета, не то столкнулись, не то переплелись. Солнце зловещее, как в страшном сне. Это, что ли, называется экспрессивным реализмом? Раз все ненормально усилено.

И тот самый холст, от которого меня дрожь пробирает, всю начинает ломать, сбивает с панталыку, чуть с ног не валит – буквально доводит до слез, они вырываются из меня фонтаном. А тоже называется просто: «Лодки в море». Дикая картина! Отвернуться от картины трудно. Ему как-то удалось разбросать зеленоватые пятна, и глаза все время кружат от одного к другому. Середина кратером ввинчивает в себя глаз, затягивает взгляд в самую сердцевину. Дьявольская картина! Смотреть

невозможно и глаз не оторвать. Я приготовилась сдерживаться, чтобы, как прежде, не разрыдаться, задребезжал телефон. Это меня отвлекло от картины.

Петя разговаривал, видимо, с бабушкой. Он уклончиво объяснял ей, что сейчас разбирает вещи, поел вкусной картошечки. Удивительно: мальчик не сказал ни одного лишнего слова. Положил трубку. Телефон последний раз пискнул, как бывает в старых аппаратах. И слышу: он начал разбирать телефонный аппарат. Неужели и телефон раскурочит? До чего дошло! Что он, действительно ненормальный?

– Зачем вещи ломаешь? – кричу ему.

А он отверткой ковыряет в телефоне.

– Ну что ты делаешь? Телефонный аппарат денег стоит, ты его разберешь, собрать как следует не сумеешь...

Он вытирает пот со лба и злится. Да еще стал подозрительно на меня поглядывать.

Я говорю:

– Без картин люди обходятся запросто. А без телефона в вашем положении не обойдешься, все равно что еще один больной в семье. Хлопот с ним больше, чем с человеком: мастера не дозовешься. Удобствами дорожить надо. И нечего телефон раскурочивать...

– Пока ничего не случилось, все в порядке... – говорит Петя. – Мы за все платим.

– Ну и порядок! Чего тебе там надо, в конце-то концов?

– Ищу «жучка».

– Деревесного? Он что, у вас мебель жрет?

– Что непонятного?! Проклятая сука наверняка подсунула «жучка».

– Ах, вот что!

Помню, я мимоходом сказала Пете, что журналистка, у которой мы картины отнимали, слышала наши разговоры. Мне тогда показалось, он пропустил мимо ушей. Но нет, вон как выперло.

– Разве его найдешь? Откуда ты знаешь, где он?

– Не просто же так ОНА разговоры слушала. Не успокоюсь, пока не найду и не выковыряю его...

Я оставила его и снова приступила к картинам. Они стоили того: внутреннее напряжение в холстах теперь притягивало к себе. Я уж полюбила живопись. Лучше художника Волкова для меня никого теперь нет.

Неожиданно Петя крикнул:

– Нашел!!!

Я углубилась в картины, не поняла сначала, что ему надо, но кинулась к нему:

– Где он?

– Был в телефоне.

– Покажи, как он выглядит?

Я перелезала через завалы вещей.

– Я его каблуком раздавил! Пусть разговоры помойных крыс слушает теперь, сука проклятая!

На полу, когда я туда подоспела, лежали черные раздавленные крошки, блестела малюсенькая металлическая штучка, что-то еще... По мелким крошкам трудно представить, как выглядела в натуре зловредная штучка, я не стала обострять сомнениями его ужасающие поиски: наверно, Петя лучше меня разбирался в технике, оставалось ему поверить. Микросхема. Передовое техническое изобретение...

– Напрасно ты его раздавил. Надо было ей самой подsunуть. Жаль, я не успела на него взглянуть. Показал бы сначала мне, потом давил, что ж так поторопился?

– От злости! Не надо мне гадости! Я хочу быть чист... – злился Петя.

Недаром телефонный аппарат вздыхал, кричал и сильно меня пугал, когда я находилась в их квартире.

– Давай, – говорю, – я помогу тебе теперь все убрать.

– Спасибо. Я сам! – отрезал Петя и взглянул на меня подозрительно. Потом пояснил: – Теперь я знаю, что искать, еще раз прошурую все складки, чтобы ничего больше не мешать жить.

Я возвратилась на табуретку к картинам. Но... Вот уж это «но»! Я поняла, кажется, окончательно (а может, не окончательно), почему ОНА почти беспрепятственно выдала нам все картины. Она думала: я из «отдела» и пришла к ней по заданию. Иначе зачем бы ей без лишних слов выдавать нам картины... ОНА говорит, уезжает. По «делам», что ли? Кто-то определенно ею крутит! Я стала сама не своя, когда представила, сколько шныряет среди нас таких, как она. Я не могу знать их «дела», ничего не могу доказать, нет информации, нет и доказательств. Вопрос требует изучения, чтобы рассуждать. Но кто даст мне изучать-то его? Никто никогда не даст. Только и можно предполагать, догадываться. «Работники» небось и сами не понимают, что делают. И мне не надо знать. Я не хочу. При разветвленной глобальной информационной сети предпочитаю сидеть в неведении. Такое узнаешь – жить не захочется! Утешаюсь тем, что ко мне никто не лезет. Зато и меня никто не слушается. А догадываюсь просто потому, что у нас так было. И сужу по аналогии.

Не люблю я «отделы». Сомневаюсь, что делают они что надо и правильно. Не хотела бы я быть ни в одном «отделе». А «терракотовый шкаф» меня подзревает. Вернее, безусловно рассчитывала, что я оттуда. Иначе она бы не разговаривала. Если бы я к ней еще раз вошла, она бы меня втянула... Я только сейчас кое-как понимаю, «задним умом» и наивно. У нас что ни сделай по-человечески, упрекут в наивности. Уж больно все изощренные стали...

Но я ни в каком не «отделе»! И вообще, не ваше дело, госпожа терракотовый шкаф, что я такое. Вполне соглашаюсь, что я – никто. Но я есть – и не ваше дело! Я всех люблю, только не «отделы». Душа у меня тоже есть, только не то, что вы думаете. Из-за таких умельцев приходится еще оправдывать и подтверждать свое существование даже перед самим собой. Будто у нас только всемирно известным место. А кого в помине нет, так и на свете нет, что ли? Живем... своими фантазиями.

Прозвенел звонок в дверь. Я вздрогнула.

Петя кликнул меня: уже я кому-то понадобилась. Для чего – любопытно. И здесь в покое не оставляют...

Я пролезла к двери. Лидия стояла за дверью, испуганно сообщила: мне немедленно надо домой, случилось непредвиденное, и она не смогла ЭТОМУ помешать. Стоя у двери, я заметалась от дурного предчувствия.

Из двери – в дверь: одну прикрываю, другую отворяю. Двери, между прочим, имеют две стороны – внешнюю и внутреннюю, отделяют частный мир

от внешнего, от большого уличного шума, микро от макро... снаружи и внутри... макро от микро... Тут... Там...

А там... Ой, что ЭТО! Ну и дела!..

Вот так «горшок»! Разве это «горшок»? Был бы «горшок» – еще куда ни шло! Все мимо горшка!..

9

У меня опустились руки: лучше бы стол был пуст и мы ели одни макароны.

Вот что значит: в каждом деле по крайней мере две стороны – хорошая и плохая; сторон наверняка больше, только мне сейчас некогда обсуждать другие, пора разбираться со второй, дух кругом разносится невероятный.

Мамочка обкакалась, себя и вокруг себя, всю квартиру запачкала.

ЭТО мне в назидание за то, что на минутку от житейского мусора оторвалась. Не суждено, видно, духовные движения созерцать. Всю жизнь физиологическую грязь разгребать, чистое место вышитой собственными руками салфеточкой накрывать. Просвета не знать. Самой незаметно превращаться в грязь. Выше предначертанного судьбой ординара голову не совать. Обречена. Ясно.

Сколько бы тяжестей ни перетаскать – все мелко, песок меж пальцев...

Там – космос. Тут – быт. Сквозь двери они претекают друг в друга, одно в другое...

Засучила рукава: злобно мою, стираю, убираю. И ругаюсь про себя последними словами, что мне не свойственно: не дают человеку картины посмотреть, заставляют грязь убирать, не собираться с мыслями, не сосредоточиться – обязательно поблизости учинится какой-нибудь тарарам.

И начинается внутренний монолог про другую сторону хорошего заработка. Ругательства непотребные, совершенно «ненормативная лексика» неудержимо прут из меня и собираются в копилку моих грехов. Пусть! Говорят, за грехи бог, которого люди себе назначили, любит больше, чем безгрешных: грешных ему хоть простить приятно, а что с безгрешными делать, видно, не знает сам.

До чего же неинтересно отмывать проклятую грязь!

Но чтобы злость от неприятных чувств не заполонила, а наоборот, выветрилась, рассеялась, как дым в атмосфере, я начинаю себя смирять.

Вычищая стены и пол, я думаю не о чистоте несчастных квадратных метров, я думаю, что ЧИЩУ ПЛАНЕТУ, не оставляю миру свою грязь. Уборка – неприятное, трудное дело, но когда думаешь о ЧИСТОТЕ ЗЕМНОГО шара, легче подвигается.

Природа сама трудолюбива: ее руки – дождь, снег, ветер, солнце, – они работают день и ночь...

Сейчас станет чисто, как в метро. В метро у нас красиво, светло, чисто, надежно довозят, куда надо, всех: кривых, косых, убогих, красивых, молодых, старых, изящных и толстяков – там все человечество, где еще можно увидеть столько людей воочию! Там самая прекрасная демократия – люблю метро!

– Ничего, ничего, сейчас будет все в порядке, – говорю вслух, умывая мамочку.

– Нечаянно получилось... нечаянно... – повторяет она.

Смывая нечистоты, думаю не о дурном запахе, исходящем от человека, а о человеческом достоин-

стве. Мои внутренние противоречия постепенно смиряются и сливают меня со всем человечеством, в котором чего хочешь найдешь, в том числе и божественное величие.

Усталая, грязная, вся в поту – чувствую себя скверно, – я делаю БЛАГОРОДНОЕ дело и не хочу испортить его противным, злым словом. Я приговариваю вслух:

– Сейчас все будет чисто, красиво. Ничего не случилось. Счастье отмыть ближнего от грязи. Одно удовольствие! Всех грязных, вонючих, кто в пути, кто в море, милости просим на помывку. Была бы вода...

Мамочка насторожилась:

– Что ты говоришь про удовольствие? Я ослышалась? По-моему, ты преувеличиваешь?

– Ничуть не бывало: куча радости вымыть человека с душистым мылом, обернуть мягким полотенцем, одеть в чистое платье, грязное постирать, высушить, разгладить, уложить в расчете на будущее скорое счастье...

– Сомнительно! Я еще не выжила из ума... – говорит мамочка.

– Ну вот, стало лучше, чем было... уверяю тебя... себя... весь мир...

– Я же тебе говорю: я не выжила из ума...

– А ты в этом уверена? – говорю я.

– Мне говорит внутренний голос. А ты? Что тебе говорит внутренний голос: ты не выжила из ума? Прошу тебя: не верь и не поддавайся этой напасти. Тебе нельзя!..

Я выпучила на нее глаза и рассмеялась. Злость, усталость, отчаяние улетучились.

Пока есть чистая прозрачная вода, счастье действительно еще есть. Стою под непрерывной хрустальной струей, пью воду из чистого стакана.

А если бы воды не было? Что тогда? А что мы с ней делаем?..

10

Я себя, конечно, ценю должным образом. Но художник Волков выше нас всех. И ему, бедному, досталось расплатиться за то, что высоко вознесся, вырвался из узкого круга. Грязь, мелочь вспучились, разбрызгались, залили, поглотили... и человек в больнице – несчастье какое!

Как неумолимо опускает нас жизнь!

Мне обидно. Несправедливо. Я ведь хорошая.

Уверяю: сушая правда... хорошая...

Наперекор обстоятельствам буду ходить смотреть его картины, пока меня оттуда не попросят!

11

Тарарам у них кончился, вещи улеглись на свои места. Сиди-ходи сколько хочешь, никто не мешает. Все заняты, дома не сидят.

Однажды дома была Татьяна.

Я посмотрела при ней картины и ей говорю:

– Милая Танечка, спасибо, что позволили посмотреть ваши холсты. В каждом столько души, чувства. Даже в непонятных есть то, что душу переворачивает!

Таня несколько недоверчиво на меня взглянула.

– Не благодарите. Смотрите, и все.

Я дальше веду:

– Я теперь живопись художника Волкова больше всего люблю, так ему и передайте, пусть он знает: прибавилась, мол, еще одна поклонница его замечательного таланта. Я думаю, ему будет приятно...

– Какого художника? – подозрительно прищурилась Таня.

– Вашего мужа – художника Волкова.

– Почему вы решили, что он – Волков?

– А какой же он? Вы Волкова, а он... почему другой?

– Мария Васильевна, но он же не Волков. У него другая фамилия.

– Как – не Волков? Как – не Волков? Какая другая? Не может быть!

– Моя фамилия – Волкова. А его – другая. А вы не знали?

– Что же у него за фамилия? Мы тут рядом столько лет живем... а я не знаю... Я думала, вы оба Волковы.

– И все же его фамилия – другая.

– Какая? Какая? Скажите, какая?

– Да что случилось, Мария Васильевна? Зачем вам вдруг так срочно понадобилась его фамилия?

– Да как же, ведь столько лет на одной площадке...

– Ну и что? Живем и живем, а фамилия зачем? Кому надо, тот прекрасно знает не спрашивая, – уклонялась Таня.

– Отчего он не подписывает свои картины?

– Древние русские тоже не подписывали своих фамилий... может, чтобы иностранцы не оспаривали?..

– Люди не нужны друг другу?

– Может, всё еще опасаются доносов, репрессий...

– Я, Таня, не доносчик. Я доброжелательный человек!

– А кто знает?.. – Таня смотрела в сторону.

Я изнеможенно смотрела на Таню и ждала, когда же она произнесет фамилию. А она избегала. А я стояла.

– Другая, другая у него фамилия. Вовсе не Волков.

– Скажите мне, пожалуйста, его настоящую фамилию. Должна я знать моего кумира.

– Его фамилия – Голявкин, – наконец странным роковым голосом молвила Таня.

– Голявкин?! Так это же известный писатель – Голявкин? Как же так?.. – Я растерялась. – У нас в библиотеке много книг Голявкина, мы их даже вслух прочитывали, особенно детские нам нравились, они такие свежие всегда были... Как же так?.. А тут?..

– Скажите еще «свеженькие», «свежачок»...

– Но это вы говорите. Я так не говорила. А почему вы так иронично со мной разговариваете? – удивилась я.

– Дело не только в «свежести». Он начинал НОВУЮ литературу второй половины двадцатого века. А вы не знали? Не замечали? Вы же в библиотеке работали.

– А... да... действительно... можно так сказать... Вы считаете: в нашем кругу никто ничего не понимает?

– В вашем? И в нашем... Противно.

– А что вы от нас хотите?

– Ну, хоть какую-то живость воображения.

– Ну что вы: где нам взять? – Я пыталась в свои слова вернуть иронический тон, но в момент вдруг увидела, как кисло и затхло в нашем женском кругу, будто сумерки круглый год: мало света. Если бы только в «кругу». Боюсь, в обществе – так же. А что дальше – в космосе, в Галактике – просто не знаю. Обидно за нас, право... Включишь радио: может, что дыхнет оттуда, кроме осадков в виде дождя и снега, но там... все «погибли, погибли»... Наши певцы плоховато поют, так вот вам (нам) англо-американские через каждые пятнадцать минут. А то пузырями пускают слюны перед прежними хозяевами жизни: вот, мол, были люди – императоры, графы, графини, бароны и баронессы, князья и княгини – не то что мы, грязь у них под ногами. А я ведь думала, надеялась: у нас демократия...

Вот только кто просветит – и увидишь. А так – сумерки. Слово движет к свету, но практически нельзя никому стоящего слова сказать, сразу поднимут гвалт в защиту чести и достоинства. Хвали, и больше ничего, все кончается моим ворчливым внутренним монологом. Сейчас больше верят виртуальности, а не реальности.

А я считаю: мысль – общечеловеческая ценность, напрасной быть не должна. Даже «плохая» мысль имеет положительную причину, надо как следует разобратся в причинах. И моя мысль не совсем бытовое событие, не только нашей несчастной лестничной площадки касается, а глобального масштаба. Да жалко, что ли, если несчастный, неуверенный человек ощущает себя стоящим на самой высокой точке окрестности земного шара, пусть его оттуда не свергают. А то... привыкли всё свергать да переворачивать...

Тане я ничего не скажу, не стану соревноваться с ней в откровениях...

– Вы считаете: я неправильно понимаю?

– Это бывает, Мария Васильевна. Все правильно: он писатель по профессии, а по образованию – художник-живописец, иногда графику делал для своих книжек.

Как неудобно, право, ощущать себя такими бессмысленными! Меня поразило, что мы не знаем имени художника, от картин которого я рыдаю и сейчас вдруг чувствую: чуть не падаю в обморок. Но кому меня поднимать-то? Огляделась: не Таню же отягощать своими чувствами. Да в мире, по-моему, давно перестали падать без чувств или от чувств, видно, глупостью, это считается – умные стали!

И я удержалась на ногах, пошатываясь от стыда и неловкости. Схватила ладонью за лоб и беспомощно, жалобно говорю:

– А я думала, он – Волков...

Таня изнеможенно промолчала: что, мол, скажешь в такой ситуации.

– Я ничего не знала. Не подозревала. Извините меня!..

– За что извинять? Что вы говорите? Не знали его фамилии не только вы. Он не афиширует свою фамилию. Живем как все. Все очень просто... Я ведь тоже до недавнего времени не знала вашей фамилии. Живем в одном доме, на одной лестничной площадке, знаем друг друга в лицо. А фамилий не знаем – как за семью печатями, будто законспирированы. Лично я всегда опасаясь спросить у соседа фамилию, вдруг нарвусь на неприятный ответ: «А вам какое дело? Зачем вам понадобилась моя фамилия?» Не спрашиваю. Думаю: и все так же...

Да если бы скромные жильцы квартир всё про него знали, беспрерывно бы лезли к нему, нас бы интуитивно к нему тянуло непреодолимо. И каково бы ему было, бедному безвыходному романтику, среди нас? Было бы нестерпимо.

Так, может, хорошо, что мы не знали, кто он на самом деле и что там у себя делает?

Да, хорошо! Во всяком случае не хуже, чем есть. Лучше даже.

Мысли не дали мне упасть в обморок, вдребезги разбиться. Я устояла, выстояла и даже несколько больше выпрямилась, осознав правоту нашей лестничной малопочтенной жизни, потому что другие – еще хуже, тем более теперь все равно ничего не изменишь и нет смысла перекраивать мысли, меня никто не слушается.

После этого я в ответ беспомощно, безынициативно пробормотала (надо было хоть что-то пискнуть в ответ):

– А... да, а я не знала...

Танин взгляд проблеснул по мне мгновенно и презрительно.

12

Ошеломленная открытием, я мысленно повторяла фразы о живописи художника Голявкина. Это был восторженный внутренний монолог, я рассчитывалась за то, что раньше не понимала.

Симфония цвета.

Симфония чувств.

Праздник чувств.

Живописный восторг.

Яростная страстность.

Страстная живопись.

Прекрасно одарен как живописец.

Чувственная живопись...

Мы с Таней посокрушались, поговорили, посплетничали. И я ушла переживать новое открытие: из двери – за дверь – в дверь...

Подумать только: живу на одной лестничной площадке с Голявкиным! Прежде не знала. Кажется, я в последнее время стала другая. Более чувствительная, что ли... Из-за картин Голявкина, между прочим. Из-за того, что с ним рядом живу.

А моя фамилия, в общем, простая...

13

Начался учебный год. Петя учился. Таня работала и ездила в больницы. Художника еще долго возили по разным реабилитационным центрам. Таня уставала, но не позволяла Пете ее заменить.

Петя настраивался на отца. Ему отца не хватало, он давно не виделся с ним.

А Таня не хотела показывать сыну отца в слабости и отговаривала от посещения больничной палаты. Она знала: в слабости кроется стимул преодоления слабости, а мужчина должен развиваться до смерти, раз ему удалось выжить. Таня, видимо, верила: отец сумеет преодолеть недуг и показать мужество сыну. Она же учительница везде и всегда.

Но я уже им больше не докучала. Они сами заходили ко мне: между нами было полное доверие.

Таня сказала мне веское, как «тонна» валюты или тонна тяжелого металла, замечательное, не стираемое от употребления, дороже любой награды, очарова-

тельное в своей простоте и безыскусности без лишних довесков слово: «Спасибо».

Художник, говорят, стал приходить в себя. Ему не надоедали по поводу картин, они висели на своих местах. Его берегли.

Теперь-то я понимаю: чем настойчивее художник пробивается к индивидуальной творческой независимости, тем больше подозрительности к себе вызывает, абсолютно не защищен, уязвим со всех сторон, испытывает такое внутреннее напряжение, что плоть разрывается на части. Так оплачивается пресловутая творческая свобода. Вот вам и творческая свобода!

Что и как случилось на самом деле, остается невыясненным. Расплата жестока. Как появилась у них жуткая толстуха, никто не знает. А «дела» ее были?.. А способы? Известно какие... разные, всякие, не знаю какие...

Лучше помолчу об этом: как бы не нарваться на неприятности...

Журналистка, я узнавала, действительно скоро уехала в другую страну. Жила там какое-то время.

Теперь предполагается беспрепятственное перетекание человеческой биомассы из одного места в другое, в зависимости от того, куда наклон: туда или сюда. Прежде такого не было. Потому теперь надо волноваться не об «утечке мозгов», а позаботиться о наклоне в свою сторону – любому государству должно быть по силам. Если не по силам, то зачем государство?

Потом журналистка вернулась в страну: наклон, что ли, пошел в нашу сторону? Может, по службе так было надо.

Теперь уже умерла. В самом расцвете сил. Думаю, бог, которому предназначено карать и миловать, призвал поскорее к себе: может, решил, пора спасать, пока еще в силах, а то может и у бога не получиться, если слишком грехов накопится.

Ее хоронил профсоюз, никого родных у нее здесь не было...

14

Наконец художника привезли домой.

Я выскочила навстречу.

От лифта он поднимался по лестнице, подволакивал правую ногу. Его фигура не потеряла внушительности.

Я смотрела на него как на героя. Последнее время он и был героем нашей жизни: все наши мысли и дела вращались вокруг него.

И он пожал мне руку.

Лидия выглянула из своей квартиры, но близко не подходила, ей, видно, было не так важно, как мне.

За ним шла жена, готовая поддержать в любую минуту. Мужчины, между прочим, желая чего-то достичь, не зря берут для опоры женщину, водительницу и мучительницу, как неизбежный посох для себя и своей удачи. Так что не стоит трепаться об эмансипации: все существует само собой во все времена, только удача, видимо, зависит от того, насколько разумна женщина. Женщины всегда и принуждены и свободны, точно так же, как и мужчины, кому как удастся.

Зависит от того, «с какой стороны голова затесана», как говаривал один мой читатель на абонементе: помню, он еженедельно приходил брать философские книги в библиотеке, а сам, судя по частой присказке, работал плотником, руки у него были как две кувалды, большие, с толстыми пальцами и «железными» ногтями в почерневших ободках.

Прямо не верилось: художник и писатель будет жить снова среди нас, в трепетном женском кругу. В нашем кругу чего хочешь найдешь: и погибель, и спасение обеспечим. У нас и ласковый поцелуй может оказаться вредоносным.

Совсем не значит, что мы станем атаковать художника любовью с утра до вечера. Но все же... как выйдет. Он этого не потерпит, но мы разве будем об этом спрашивать? Незримо охранять, да и только. Ему наверняка этого не надо. Но все равно будем, от нас не уйдешь, мы настырны, всеведущи, неизбежны, мы всегда тут, от нас некуда деться. Никому из нас в голову не придет, что ему наша опека не только не нужна, но отвратительна.

Мы смешны. Но нам не всегда это видно. Что ему от нас взять? Мы ему явно ни к чему. Но нам-то без него теперь не обойтись.

Я пошутила. Мне можно не верить. Или верить. Ну, посмотрим, как будет. Мы ведь хорошие...

Не бойтесь, мы действительно не плохие...

Петя рассказывал: отец сразу сел к своему мольберту, взял кисть в левую руку и попросил его считать с палитры засохшие краски: и кобальт фиолетовый, и другие...

Про кражу картин он так и не знает. Иногда, говорит сын, он отходит от мольберта и чистит картошку одной левой рукой, потом жарит ее к Петину приходу из школы. Он разрабатывает левую руку, удается нелегко и не сразу, ведь он всегда был «правшой», но правая отказала.

Помогают домашние, беззащитные в общем смысле. Драматизма в них стало еще больше. Но мы теперь не оставим его своим вниманием, станем заботиться и охранять, только у нас как-то все вкривь-вкось выходит...

Закончилась огромная эпопея жизни. Теперь у нас все дома.

Если считать, что мы живет от утра к вечеру, то делается грустно за нас. Но на самом деле живем мы от вечера до утра – уже веселее. Вполне светлое дело и не без радости. Впереди у нас, правда, зима. Но и зиму переживем.

На одной лестничной площадке с самим Голявкиным я живу словно «в башне из слоновой кости».

Я привычно подошла к двери и взглянула в глазок: лестничная площадка, как баржа со спасенными пловцами, как аквариум, по которому проплывают ноги, свет колеблется, послушный вращению планеты, кто-то сбросил желтый резиновый мячик, он запрыгал по площадке, словно мысль по лбу: бим, бам, бум...

Нравится мне золотисто-желтый цвет...

Нашла себе амбразуру...



НЕПРИКАЯННАЯ ДУША*

Правдивая повесть для маленьких, или Страшная сказка для пожилых детей.

...Кира была второй законной женой Якова Ильича. Свою первую жену Ирину, ни своего сына Леонида он, как ни тужился, не мог вспомнить.

Яков Ильич начал свою семейную жизнь очень рано — едва ему исполнилось восемнадцать!

Конечно, с «тройками» по основным предметам Яша не мог пройти в институт. А в их семье — интеллигентов в первом поколении — все дети должны были быть с вузовскими дипломами.

Решили, что Яков пойдёт в техникум, а потом, окончив его, — в армию. Если же ему захочется «делать карьеру», то он сможет потом поступить в вуз.

Яков очень легко сдал экзамены в техникум. И сразу же их первый курс послали в совхоз на уборку овощей. Началась веселая трудовая жизнь! Учащиеся техникума спали на двухэтажных нарах в неотапливаемом бараке, разделенном на мужскую и женскую половины. Они ели какое-то варево из общего котла. Работали по шесть — семь часов в непролазной грязи под осенним дождем. Зато потом до полуночи «тряслись в шейке» в коридоре «под радиолу».

Там-то Яше и приглянулась полненькая черноглазая девица Иришка в модной коротенькой миниюбке. Такие юбки тогда еще только начинали входить в моду. Девчонка все время залиристо хохотала. Смеялась она и тогда, когда он полез к ней целоваться; и тогда, когда тискал ее под кофточкой, и тогда, когда повалил ее на свежее сено. С отъездом из совхоза их роман закончился сам собой. Но в конце декабря Якову стало не до смеха! Техникумовская директриса вызвала его в кабинет прямо с лекции. Там он увидел заплаканную Иришку и, как он потом догадался, ее мать. Мать протянула директрисе листок бумаги с круглой печатью, которую та торжественно, дикторским голосом, прочла вслух. Это было заключение врача. Иришка была уже «на четвертом месяце»! Она «показала», при тщательном допросе своей матери, что отцом ее дитяти был Яков.

Директриса не хотела в техникуме «плодить безотцовщину»! Она не хотела, чтобы их техникум склоняли на всех совещаниях роно и чтобы про плохую воспитательную работу в нем по городу попользи дурные слухи!

Мать Ирины и директриса стали кричать на Яшу. Они хотели, чтобы он признал ребенка своим и немедленно женился на жертве своего темперамента. Они пугали его исключением из техникума и комсомола. Пугали его даже тем, что, не признав ребенка, он сядет в тюрьму, чем сильно испортит себе жизнь. Иришка была несовершеннолетней!

Яше дали на раздумье три дня. На следующий день он не пошел в техникум, бродил вдоль Невы и усиленно старался что-то придумать. Так ничего и не надумав, Яков сильно напился, а затем обо всем рассказал матери. Мать заплакала. Заревел и сын. Пришел с работы отец. Яшу выставили за дверь. Родители долго и тихо совещались в комнате. После этого мать попросила у сына телефон и адрес девушки.

Мать и отец Ирины назначили с новой родней «двухстороннюю встречу» в ближайшей «стекляшке». Вернувшись за полночь, пьяненький отец разбудил своего тщедушного, но блудливого сына. Яков, как «честный человек», должен был жениться на «обманутой им девушке». И должен был дать ребенку свою фамилию, став ему законным отцом! Правда, Иришка (по совету своих родителей) не взяла псевдогерманскую фамилию Якова, а наоборот: сам он (уже по совету своих) решил взять псевдоукраинскую фамилию жены.

Родители в этом же типовом кафе сыграли молодым совсем скромную, человек на сорок, свадьбу и сняли для них на первое время однокомнатную квартиру.

В ней-то и началась их семейная жизнь. Сначала Ирина и Яков играли «во взрослых». Хотя повзрослому они даже не умели распорядиться деньгами. Они чинно, «под ручку», ходили по разным магазинам. Там молодые покупали себе по «свадебным талонам» и на деньги, подаренные им на свадьбу, всякую ерунду: то магнитофон «Астра» с кассетами, то фотоаппарат «Зенит» с увеличителем или чешскую бижутерию. Они обжаривали конфетами и пирожными, запивая их лимонадом или сладким ликером. Почти каждую ночь они неумело, но бурно любили друг друга.

Ну, какая из Иришки была жена! Она, дожив до семнадцати лет, совсем не умела стирать, мыть и готовить. Хотя вскоре Яков и теща уже покупали кроватку, одеяльца, пеленки и чепчики — все, что было нужно для родившегося сына Леонида. Почему-то все это заранее покупать не полагалось! Яков, когда впервые увидел маленькое, по-азиатски желтое личико младенца, решил, что это — совсем не его ребенок. Отцовские чувства в его душе вовсе не проснулись. Но позже, когда мальчик приоткрыл свои бессмысленные темно-черничные глазки, Яков разглядел в его крохотной мордашке нечто знакомое и родное.

С рождением сына и началась настоящая семейная жизнь. Младенец орал день и ночь! Круглые сутки к ним приезжали врачи-педиатры, приходили патронажные сестры из детской поликлиники, появлялись какие-то бабки-знахарки. Все они пытались понять, что же болит у младенца и отчего он так заливается. Ирина бегала «неприбранная», в старом засаленном халате. Она то кормила грудью новорожденного, то сцеживала молоко. Вокруг валялись испачканные Леонидом пеленки. Младенцем пахло еще за дверью.

Здесь, в этой своей семье, Яков вечно был чего-то должен, от него ждали каких-то поступков. Как только он приходил из техникума — бежал в молочную кухню, по дороге купив себе и Ирине чего-нибудь поесть. Затем стирал, сушил и непременно гладил сорок пеленок, распашонок, ползунков и подгузников. Именно такое их количество «обрабатывал» за сутки Леонид.

Окончание повести. Начало в №№ 5, 6 «ИС»

Жена Ирина все внимание отдавала сыну и совсем не обращала внимания на Якова.

Яков же теперь совсем не мог заняться учебой. От постоянной беготни он просто валился с ног! Кое-как, из жалости, ему ставили тройки, чтоб он совсем не вылетел из техникума, но стипендию-то вовсе не давали. Ирина тоже не получала стипендии, так как была в «академическом отпуске». Те деньги, что давали им родители, исчезали в мгновение ока.

Теща начала поговаривать с Яковом о том, чтобы он бросил техникум и пошел работать слесарем на Балтийский завод. Это было крушением всех его планов!

Когда во время очередной ссоры Иришка снова послала Якова к черту, то он и на самом деле куда-то ушел. Но, видно, не дойдя до черта, он сам «сдался» в военкомат. Как раз в это время шел военный призыв. В тот же день его, учащегося-добровольца, забрали в артиллерийские войска. Когда сыну Леониду исполнилось полтора года, в их воинскую часть пришла бумага из суда о разводе Якова с его женой Ириной и исполнительный лист на алименты для сына.

Замполит, решив, что жена Якова, как в старинной песне, «нашла себе другого», не стал спрашивать Якова о его семье и посоветовал сержанту крепиться. Яков без разговоров подписал все нужные для суда бумаги.

В течение восемнадцати лет Яков бросал «в никуда — в некую прорву» четверть своей ежемесячной зарплаты. Он не интересовался ни судьбой первой жены, ни судьбой своего единственного сына. Все дела между бывшими супругами и их чадом вела бухгалтерия его проектного института. Яков видел фотографии первой семьи на дореволюционном комодике в квартире своих родителей. Они любили неудавшуюся невестку Ирину и своего внука Леонида, который с годами все более и более лицом и манерами стал походить на своего отца — Якова.

После армии Яков не стал восстанавливаться в техникум, а поступил вне конкурса, как военнослужащий, в вечерний институт. Ему недолго удалось пожить в родительском доме, вернее, в их двухкомнатной квартирке. Новая бешеная любовная страсть захватила Якова в свои сети. Появилась она — роковая Юлия.

В том самом секретном учреждении, куда Якова устроил бывший шурин (муж двоюродной сестры Ирины), служила, чуть ли не с военных времен, одна дама. Замужем она была за крупным инженером-изобретателем и имела четырнадцатилетнюю дочь. Хоть и была она внешне хороша и приятна, но только внутри нее сидел сам черт!

По-видимому, смотрясь в зеркало, она видела, что ее молодость быстро уходит. Ей очень хотелось перед наступающей старостью получить от жизни еще один раз чего-нибудь «вкусненького»! Вот эта дама и «положила глаз» на демобилизованного солдата, студента-вечерника и красавца — Якова. Яков был довольно высок ростом, ладно скроен, крепко шит и, к тому же, чрезвычайно боек на язык. Тогда он в подражание «битлам» отрастил себе пышные вьющиеся кудри. И Яков тоже заметил манерную, хорошо одетую и надушенную даму. Ему льстило ее внимание. Если двое хотят одного и того же, то случай или черт всегда идут им навстречу!

Как-то так получилось, что они были командированы в чужой и незнакомый Якову город. Сделав

свою работу, командированные пошли в ресторан. Затем они прошлись по этажам гостиничных баров, но потом, решив выпить еще чего-нибудь, сначала зашли в четырехместный номер Якова, а потом и в ее одноместный номер. Там, дав «на лапу» администратору этажа, они провели вместе всю ночь.

Яков и Юлия тщательно скрывали свою связь. На людях они только чуть-чуть кивали друг другу головами и совершенно между собой не разговаривали. Каждый из них, по отдельности, прокрадывался на снятую Юлией квартиру, где они проводили вместе несколько счастливых часов. На этой-то квартире Яков под руководством Юлии и постигал все таинства Камасутры.

Всё шло хорошо до тех пор, пока Юлия, войдя в эту самую квартиру, не застала в ней своего мужа. Тот, оказывается, давно знал об ее встречах. За деньги мужу Юлии рассказал о влюбленных и даже дал ему квартирный ключ подлый мужик, сдавший им свою жилплощадь.

Почтенный супруг вовсе не желал скандала «на все учреждение», он также не желал и партсобраний с «обсуждением вопроса о его семье». Он не хотел портить себе служебную карьеру. Он вообще постарался «не выносить сора из избы» и тем самым травмировать душу дочери-подrostка. Муж соглашался тихо отпустить Юлию, дав ей «приличное содержание», и даже сам согласился оплачивать ей эту съемную квартиру! Супруг только просил у Юлии, чтобы она, хотя бы временно, иногда бывала дома. Он боялся, что девочка не поверит в то, что ее мамочка в вечной загранкомандировке. Муж, будучи жилим человеком, не хотел ничего менять в своей жизни. Он хотел жить, как и прежде, в уютной четырехкомнатной квартире с любимой дочерью и молодой домработницей, по-видимому, сотрудницей КГБ.

Яков подивился такому благородству мужа, но вскоре он понял его, прожив несколько недель вместе с Юлией. Юлия, хоть и проработала в учреждении уже много лет, но ни с кем не дружила, не имела там сплетничающих подруг. Ее вовсе не занимали другие люди. Она любила только себя и любовь!

...Выпив бутылку портвейна до половины, Яков Ильич вспомнил один из дней, которые он провел с Юлией.

...Летом, в девять часов утра, Яков вернулся с ночного аврала. Юлия встретила Якова в полумраке квартиры в длинной батистовой ночной рубашке и шелковом розовом пеньюаре. «Без тебя мне не спалось всю ночь. Я вот только сейчас прилегла и немного заснула», — томно проговорила Юлия ярко накрашенными перламутровыми губами. Яков видел, что она почему-то ему врет или чего-то не договаривает. На голове у нее была взбита «бабетта», глаза сильно подведены, лицо от «загарной» пудры и румян выглядело перезревшим персиком.

Юлия, подав Якову на стол вчерашние холодные котлеты из домашней кухни, принялась за свой очередной рассказ, не лишенный пикантных подробностей, о том, как ее «пытался соблазнить» некий посторонний мужчина. Увидев, что голодный Яков жадно ест, а ее вовсе не слушает и совсем не ревнует, Юлия начала приставать к нему с нежностями. Она гладила Якова под столом своей длинной ногой, сжимала своими тощими коленями его колено и наклонялась так, чтобы он сквозь ночную рубашку и пеньюар видел ее нагое тело. Словом, она подводила

своего друга к занятиям по Камасутре. Усталый Яков, подчинясь ее сильной воле, рьяно принялся за дело.

От этих ежедневных занятий и плохого питания Яков чувствовал себя выжатым лимоном. Он перешел с вечернего на заочное отделение института, чтоб хоть немного отдохнуть и выспаться! Устав от ласк Юлии, Яков уходил отсыпаться к своим родителям, но Юлия, которую он им намеренно не представил, досаждала ему и тут своими бесконечными телефонными звонками. До чего же она ему надоела! Яков вспомнил старую восточную мудрость из книги «Тысяча и одна ночь»: «Бойся любви назойливой старухи!» Как это было верно, и как это все по правде относилось к нему! Так они прожили целых три года.

Почувствовав охлаждение к себе, Юлия начала зверски ревновать Якова. Она пыталась узнать, есть ли у Якова другие женщины и, даже, не ходит ли он к ним в рабочее время. Она звонила Якову разными, то тонкими, то грубыми женскими голосами через телефонный коммутатор предприятия по нескольку раз в день. Якову сделал замечание за его любвеобильность «первый отдел». Юлия выслеживала Якова вечерами после выхода с учебы, кралась за ним по пятам, стараясь, чтобы он ее не видел, пряталась за кустами и заборами. Яков не мог просто так поговорить с девушкой или женщиной, потому что дома его ожидали истерика и скандал.

Однажды Якова, после долгой веселой встречи с друзьями, ноги привели не к Юлии, а в дом родителей. Было уже полпервого ночи, а его мама все еще не спала. Ее встревожил странный поздний звонок подруги сына. Безумно хохоча, та просила передать Якову, что он ею прощен и теперь-то он может ее совершенно забыть!

Мама попросила Якова позвонить Юлии и узнать, что с ней такое случилось. Он позвонил, но телефонную трубку Юлия не сняла. Делать нечего! Поймав ночное такси, Яков отправился на квартиру Юлии.

Открыв дверь своим ключом, он еще в прихожей увидел на полу и обоях ярко-красные пятна крови. (Как выяснилось, Юлия ножом слегка поранила себе руку). Из комнаты вышла улыбающаяся Юлия с большим кухонным ножом в руке. «Ну, так что же, милый Яшенька, умрем вместе?» — весело проговорила она. Тут она замахнулась, целясь наотмашь воткнуть острие ножа в горло Якова. Яков, пытаясь выбить у нее из рук нож, сделал «специальный армейский прием», но неудачно: острый ножик вонзился ему в правое предплечье. Сильно полилась кровь, которую было никак не унять. Увидев льющуюся кровь, Юлия, вплотную подойдя к дивану, упала на него в обморок. Пришлось вызвать «Скорую помощь».

Где-то через час, на специальной машине, приехал фельдшер с двумя санитарями. Фельдшер остановил Якову кровь и обработал рану. Ну, а Юлию, после сделанного им же успокоительного укола, санитары, нежно взяв под руки, повели в машину. Яков предусмотрительно накинул на длинную ночную рубашку Юлии короткую каракулевую шубку, чтобы не привлекать внимания высунувшихся из окон зевак большими кровавыми пятнами на вороте ее рубахи. «Скорая помощь» повезла буйную воительницу в психиатрическое отделение больницы имени Скворцова-Степанова.

На следующий день в учреждении все только и обсуждали это ночное происшествие.

По-видимому, в Отдел кадров был звонок из больницы. Сотрудники вслух сочувствовали Якову, но некоторые весельчаки с ехидством сообщали ему, что у Юлии он был не единственный ученик и что они его вроде бы даже хотели предупредить.

Яков от досады и стыда кусал губы. Он тут же написал заявление об уходе, но ему не дали уволиться. Начальство ценило Якова, видя в нем задатки хорошего инженера. Его просто перевели в другой незнакомый отдел, на другую площадку.

Кстати, Яков видел Юлию еще раз, где-то лет восемь спустя, в банкетном зале ресторана гостиницы «Прибалтийская» на свадьбе ее дочери. Тогда он был в ресторане со своей очередной дамой.

Проходя по коридору, Яков случайно взглянул в открытые двери банкетного зала, где шла чья-то свадьба, и узнал мужа Юлии. Тот сидел по левую руку от молодых рядом с сильно накрашенной сухопарой старухой. На старухе было платье с громадным вырезом, открывающим ее по-старчески жилистую шею. Плечи ей прикрывал серый норковый палантин. На ее голове была взбита та же самая «бабетта». Эта самодовольная старуха вовсе не обращала внимания ни на гостей, ни на молодых, а постоянно гляделась в настенные зеркала зала, все время что-то поправляла то в своем туалете, то на лице. Приглядевшись к старухе, Яков узнал в ней сильно постаревшую Юлию. Как бы невзначай обронив сигареты, Яков отпустил руку своей дамы и, не разгибая спины, проскочил мимо дверей этого банкетного зала.

От знакомства с Юлией у Якова остался глубокий шрам на руке и сильная травма в чувствительной душе. Теперь он совсем не верил в женскую любовь. Старая, развратная, полусумасшедшая самка умело воспользовалась его молодым красивым телом, не интересуясь ни его судьбой, ни его здоровьем, видя в нем только сильного самца, а не человека.

Из-за тяжелых жилищных обстоятельств, когда его сестра Белла разошлась с мужем, вернулась к родителям с пятилетним пацаном, Яков Ильич теперь сам вызывался в долгие командировки на дальние объекты. Там он самостоятельно находил новые, более правильные решения по данному вопросу. Его служебный авторитет рос день ото дня.

Даже будучи неженатым, Яков Ильич мог бы получить какую-нибудь комнатенку, но опять этому помешала сестра Белла, снова вышедшая замуж за художника, для которого она была, как в анекдоте, «средством передвижения». «Молодые» собрались за границу на историческую родину жены. Пока Белла ждала очереди на выезд, Якову Ильичу ничего не давали и куда не продвигали.

Тут еще почти в одночасье, как Филемон и Бавкида, умерли их родители.

Отец в войну в боях за Белоруссию получил осколочное ранение в живот. Какие-то осколки ему вынули при операции еще в полевом госпитале, какие-то — при повторных операциях в Медицинской академии, но несколько осколков так и остались в теле. Вот такой осколок пережал нерв возле нижнего позвонка, и у отца отнялась нога. Его стали готовить к операции. У отца после ранения было большое сердце. Мать Якова с утра, как на работу, ходила к отцу в больницу. Дома зимними вечерами она все время звонила по телефону знакомым: то врачам, то

провизорам, пытаюсь достать нужные для мужа лекарства. Мама совершенно не обращала внимания на свое здоровье.

Как-то Яков пришел в больницу к отцу пораньше. Отец и мама были в палате одни. Они молчали. Мать сжимала ладонь отца в своих ладонях и тихонько, не вытирая с лица слез, плакала. Отец поднес ее руку к своим губам, целовал ее нежно и благодарно.

...Мама скоропостижно скончалась в ординаторской «от удара». Туда она зашла, чтобы взять градусник для мужа. Отцу ни врачи, ни Яков ничего вразумительного сказать не могли. Он и так обо всем догадался. Только спросил Якова: «Где мама? Что с ней?».

Яков попытался соврать отцу, замямлил нечто бессвязное: мол, маме нездоровилось и она ушла домой, не попрощавшись. Но отец молча взглянул на стену за своей кроватью, где висело потерятое маминo выходное пальто с черно-бурой лисой. Яков не выдержал и по-бабьи разрыдался в голос. Тут же, выскочив из палаты, он забрел на черную лестницу, где и выплакался, уткнувшись лицом в пыльный матерчатый шланг от пожарного крана. Вернувшись в палату, Яков увидел, что отец лежит, отвернувшись к стене. Плечи его вздрагивали. Яков понял, что и он тоже плачет. От сделанного ему успокаивающего укола отец вроде бы заснул. К утру он заснул насовсем.

Якову тоже хотелось большой преданной любви, какая была у отца и матери, и почему-то он чувствовал стыд. Стыд за свою непутевую жизнь. Стыд за то, что ловчит, что не носит отцовскую фамилию. Но потом, спокойно рассудив, он оставил все, как есть.

Дальнейшие годы Яков жил как-то машинально. Он «крутил романы» с женщинами разных возрастов и планов, иногда даже по два или три романа одновременно.

Например, он заходил со своей дамой в маленькое кафе, где ему вдруг нравилась официантка. На следующий день он, не порывая с прежней возлюбленной, уже «крутил роман» с новой пассией — хорошенькой официанткой.

Но такое обилие романов совсем не трогало его души, хоть женщины и были от него без ума. Их он легко привечал, но так же легко с ними и прощался. Так как у него не было своей комнаты, то он и жил у своих возлюбленных, когда месяц, а когда год или два.

Перед женитьбой на Кире Яков Ильич почти год жил с одной очень красивой женщиной, у которой муж сидел в тюрьме. Она один раз в полгода ездила к нему «на зону» в Челябинск. Потом мужу по амнистии «скостили срок», и он должен был вскоре вернуться домой. У Якова с этой женщиной было серьезное объяснение. Она решила, что «примак», то есть Яков, должен уйти, так как оказалось, что у нее с мужем был пятилетний сын, который с самого рождения жил у бабушки.

Вот так Яков снова оказался в своей комнате, где и должен был существовать вместе со своим племянником Ильей. Яков Ильич не любил своего племянника. Тот напоминал ему лицом и манерами своего отца — невзрачного белобрысого коротышку, «здорово возомнившего» о себе, но ничего собой не представляющего, так сильно обидевшего его сестру и их семью. Такое же самодовольно-наглое, «свинское», выражение морды он встречал потом у мод-

ных нынче собак — белых бульдогов, заполнивших собой почти весь Ленинград.

Тут-то учрежденческие кумушки и обратили внимание Якова на девушку тридцати с небольшим лет, хоть некрасивую, но — «очень положительную». Отец ее когда-то работал в их же учреждении и умер «на боевом посту»: в своем кабинете. Его дочка Кира поступила сюда чертежницей, потому что ее мать, заболевшая после рождения дочери, работать вообще не могла. Кира окончила вечерний техникум и тот же институт, что и Яков, но только десятью годами позже. Проживала она хоть и в коммуналке, но зато в центре города. Теперь Кира была уже старшим инженером в соседнем, несекретном, отделе. Вот так, с помощью доброхотов, и сложилась семья Якова Ильича и Киры Борисовны.

Кира давно заметила на лестничной площадке сотрудника, красивого и, как говорили, холостого мужчину. Когда тот курил на лестнице, то постоянно заговаривал с проходящими мимо интересными дамами и девушками. При разговоре с ними его глаза загорались, голос делался томным и вкрадчивым. Анекдоты и комплименты так и сыпались из него, как из рога изобилия. Ответом на его остроты всегда был женский смех.

Яков решил познакомиться с девушкой, сосватанной ему пожилыми, доброжелательными тетками. Для этого знакомства он ничего не стал делать. Он просто подошел к девушке, о чем-то ее спросил, а потом, весело разговаривая, проводил ее до дома.

Сердце Киры от радостного удивления прыгало, как шальное. Когда они переходили через дорогу, Яков, как бы нечаянно, взял ее под руку. От волнения она чуть не попала под машину.

Так, под руку, Яков и повел свою жертву на заклание. Кира боялась поднять на Якова глаза и старалась обстоятельно отвечать на его ничего не значащие вопросы правильным литературным языком, как будто бы писала выпускное сочинение в школе.

Якову, привыкшему к веселому флирту и легким знакомствам с женщинами, был умилителен и немного смешон густой девичий румянец, покрывший ее щеки от его внезапного к ней мужского внимания. «Бабе пора бы уже вести в школу своего первенца, а она все еще краснеет при разговоре с мужиком!» — усмехнулся Яков. Он стал нарочно компрометировать скромную и некрасивую Киру. Яков стал явно ухаживать за ней: заходил в ее отдел, чтобы вместе с ней идти в столовую; в гардеробе брал номерок от ее пальто и даже, на глазах у всех, помогал ей его надеть! Вся женская половина проектного института только и говорила об этом. Якову захотелось сделать еще что-нибудь хулигански веселое. Но только вдруг, через неделю знакомства, он, неожиданно для себя, сделал Кире предложение руки и сердца. Она вроде бы согласилась, но сказала, что окончательный ответ даст, посоветовавшись с мамой.

Уже потом, выйдя замуж, Кира никак не могла взять в толк, для чего Яков женился на ней? Женским чутьем она твердо знала, что она ему совсем не нравится. Ведь не так себя ведут с любимыми женщинами! В нем она не чувствовала к себе ни нежности, ни даже жалости. Она вспоминала их первую брачную ночь, когда в полной темноте, без любовных ласк и игр, как бы нехотя, совершил он необходимое дело и тут же заснул, повернувшись к ней спиной. От него она никогда не слышала ласковых слов. Он никогда не делал ей подарков, не покупал

цветов. Он просто отдавал ей заработанные деньги, конечно, не забыв упомянуть про различие в их зарплате. Распределять и тратить эти деньги на еду, на вещи для него и себя она должна была сама. Кира стеснялась тратить на себя чужие деньги. Поэтому себе покупала только самое дешевое и необходимое, а хорошо и тщательно одетый красавец Яков покупал себе всяческие дорогие мужские игрушки.

Если бы Якову была нужна ее жилплощадь, то он, прожив в ее доме целый год, хотя бы переклеил обои или побелил потолок, а так они жили в комнатах со старой довоенной мебелью и вылинявшими обоями, наклеенными ею вместе с мамой около шести лет назад.

У молодой жены создалось впечатление, что Яков живет здесь не как в своем доме, а как в третьеразрядной гостинице, и вот-вот готов съехать.

В первый год их совместной жизни, во время белых ночей, Яков часто просыпался от пристального взгляда жены. Облокотившись на подушку, Кира глядела ему в лицо, словно пытаясь прочесть на нем какие-то тайные мысли.

После смерти матери Кира быстро «оклемалась» и стала настоящей хозяйкой дома.

Ведь у Якова Ильича, когда он решил жениться на Кире, конечно же, был свой расчет: он видел, что девушка — из приличной семьи, знал, что будет женою накормлен, обстиран и наглажен. (Главное — жену не баловать!). Он абсолютно верил, что Кира ему никогда и ни с кем не изменит (ну, кто же полюбится на такую некрасивую женщину!?) и будет его любить, хоть он и не будет прикладывать к этому никаких усилий.

Так и вышло. По-видимому, от женского одиночества Кира по-настоящему влюбилась в своего красавца мужа. Но таких, как она, влюбленных в него дур Яков встречал на каждом шагу.

Яков Ильич считал, что он «свое уже отлюбил» и что у него есть дела «поважнее». Он давно уже собрал материалы для кандидатской диссертации. Для тренировок Яков Ильич начал читать жене написанные им главы. Та, к его удивлению, почти все поняла, стала давать ему дельные советы, а потом принялась делать для него расчеты и чертежи. Яков Ильич весьма удивился такой понятливости Киры, потом он начал прислушиваться к ее мнению, затем — она стала ему лучшим советчиком, а уж потом, когда он привлек к ее внешности, то смог даже к ней привязаться. Кира была умна, с ней Якову никогда не было скучно, он с интересом ждал ее острых, насмешливых суждений о том, что происходит на работе, в городе и мире.

Когда при встрече холостые друзья спрашивали Якова, слегка подмигивая беспутным, козлиным взглядом: «Ну, а как у тебя с женским полом?», то Яков Ильич серьезно отвечал: «Никак! Я ведь теперь — женатый человек!»

С Кирой он прожил более десяти лет. Их не обремененное детьми семейство объездило почти полстраны. Целый книжный шкаф был набит альбомами с путевыми заметками и фотографиями разных мест. Кира любила и умела фотографировать. Главным героем ее был он, муж Яков. Яков — на отменях Байкала с громадным омулем, пойманном конечно не им, а местным рыбаком. Яков гребет одним веслом в каноэ. Он же — в горах на фоне скал и неба в горской папаше...

...После смерти жены Яков Ильич попросил сво-

их новых друзей-алкашей сдать эти альбомы в макулатуру. Не хотелось ему одному вспоминать об этих поездках, и потом он не хотел, чтобы чужие глаза с любопытством рассматривали его прежнюю личную жизнь...

В их веселом открытом доме часто бывали дружеские складчины и «капустники»-КВНы сотрудников с песнями, танцами и розыгрышами. Неожиданно для всех заводиной этого веселья стала застенчивая Кира, а Яков ну просто оживал от всеобщего внимания.

В его душе бродило, гуляло, как шампанское, не разбуженное инженерской жизнью, веселое актерство, которое внезапно выбивало закупоривающие пробки и вспенивалось до потолка!

Если бы его в ту минуту спросили, что ему нужно для счастья? Он ответил бы: «Ничего!»

Ничего для счастья ему и не было нужно. Он был счастлив тогда, когда нарядным и красивый сидел за обильным дружеским столом. Когда со вкусом рассказывал «смешной до колик» анекдот, а все, кто сидели за столом, весело смеялись. Когда танцевал с молодыми, хорошо одетыми, красивыми дамами, прижимая их к своему телу чуть плотнее, чем это принято, а они от этих нечаянных ласк не отодвигались и многообещающе опускали ресницы. Был счастлив, когда о нем, после защиты диссертации, заговорили в коридорах и кабинетах, как о выдающемся ученом. И продвигали, продвигали вверх по служебной лестнице!..

После известных событий в стране и вся эта жизнь, и работа, и друзья — все пошло прахом! О прошлом и, как оказалось, о счастливом прошлом было больно вспоминать.

Здесь, на теплом пляже, Яков Ильич и вовсе не вспоминал столь давние события. Казалось, что все это он давно видел в кино и все это было вовсе не с ним. Нынче он попытался вспомнить, почему разразился скандал двухнедельной давности с безобидной маленькой Леной. Оказывается, как с большим трудом вспомнилось Якову Ильичу, он разочаровался в своей новой любви — милой Миле. И поэтому, после крушения всех своих светлых идеалов, он напился до бесчувствия, благо, что он в этот день получил пенсию.

...Лена зашла к Якову Ильичу по предварительному уговору: Яков Ильич должен был отдать ей деньги, которые ушли на похороны его жены Киры. Об этом они заранее договорились по телефону. Когда пришла Лена, то Яков Ильич был уже сильно пьян. Он нецензурно ругал всех женщин на свете, ругал милую Милу и даже свою покойную жену. Досталось от него и Лене: Яков Ильич кричал, что она «приходит к нему, чтобы потереться о мужские штаны», что она «имеет на него виды» и что ей «никогда не удастся прибрать его к рукам». Потом он швырнул ей купюры в лицо! Лена заплакала и, не подняв денег, громко хлопнула дверью.

Она тут же нашла утешение у соседки Якова Ильича — старушки Анны Павловны, с которой у Лены были давние, хорошие отношения. Анна Павловна немедленно кулаком стала стучаться в комнату соседа. Увидев его красное лицо и услышав пьяную речь, старушка тотчас дала дебоширу сильную оплеуху, сбив его с ног на диван. Потом она накрыла Якова Ильича пледом, собрала разбросанные по комнате деньги и повернула в дверях ключ, который забрала с собой, побоявшись, что вдовый сосед смо-

жет еще «чего-нибудь вытворить».

Собственно, из-за этой соседки, старенькой Анны Павловны, и «разгорелся весь сыр-бор»! Это она познакомила Якова Ильича с соработником Людмилой (Милочкой, как все называли ее), которая обслуживала Анну Павловну уже около трех месяцев.

...Когда после смерти жены Яков Ильич вышел из больницы, он сам походил на покойника: «в лице нет ни кровинки». Племянник жены Миша все-таки добился для него второй нерабочей группы с пенсией по инвалидности. Эту крохотную пенсию Яков Ильич должен был получать до тех пор, пока ему исполнится нормальный пенсионный возраст. Так что инвалид-пенсионер мог, хоть и скудно, но все-таки жить не работая.

После смерти Киры Яков Ильич остался без всякого призора. Комнаты Миша успел «приватизировать» и получить от Якова Ильича «на себя» завещание, обещая помогать дядюшке, чем сможет, и, вроде бы, даже их оплачивать. Но, уехав, Миша об этом как-то забыл.

Зато абсолютно чужие люди не забывали Якова Ильича — приходили выпить с ним «за упокой» его жены, а потом, когда он напивался и засыпал, они уносили с собой, «на добрую память», еще оставшиеся в их комнатах ценные вещи. Причем Яков Ильич не мог вспомнить, с кем и когда он пил. Вот такую его жизнь заметила, и совершенно не одобрила Анна Павловна.

Она выругала Якова Ильича за пьянство, убрала в его комнатах, заставила помываться, сходить в парикмахерскую и к врачам, а потом призвала себе на помощь соработника Людмилу.

Мила (или как стал называть ее про себя Яков Ильич — милая Мила) была юная, изыщная, с хорошо развитыми формами девица. Одеждой ее были — узенькие брючки и обтягивающие кофточки. Перед ее приходом Яков Ильич стал бриться и даже гладиться.

«Наверное, не попала в институт и работает для стажа», — старомодно думал о ней Яков Ильич. Для него было полной неожиданностью узнать о том, что Мила, еще не окончив десятый класс, вышла замуж за двадцатипятилетнего парня и имеет уже годовалого сына.

Яков Ильич пытался вести с ней долгие «интеллектуальные» разговоры, но Мила, вечно торопясь, быстро их прекращала. Зато она охотно ела вкусные шоколадные конфеты, которыми угощал ее Яков Ильич. Как-то Милочка пришла с заплаканным личиком. От Анны Павловны Яков Ильич узнал, что муж нахально изменяет Миле.

В прошлую субботу, когда Милу пришла навесити закадычная школьная подруга и засиделась допоздна, муж вызвался ее проводить. Вернулся он наутро, часов в десять, объяснив свое отсутствие тем, что Мила наготовила на ужин «всякой дряни» и что у него от этой дряни разболелся живот. Поэтому он всю ночь не мог выйти из туалета подруги.

Яков Ильич жалел Милу и мечтал о том, как он «разоблачит» перед ней негодяя мужа, как потом она с розовощеким малышом переедет к нему на его квартиру и как он положит Милу спать в свою одинокую постель вдовца. (Зачем молодой и красивой женщине понадобится такой больной и нищий старик, об этом Яков Ильич как-то не подумал!) Он сядет около красавицы и станет любоваться тем, как на ее шейке тонко бьется синеватая жилка, как на щеч-

ках, при улыбке, появляются нежные ямочки и как разливается румянец на ее личике, когда он произнесет какое-либо «рискованное» слово. Но почти всегда все чистые мечты кончаются горьким разочарованием!

Сначала Яков Ильич увидел хнычущего хилого малыша Милы с руками и лицом, покрытыми коркой диатеза. Голова малыша была повязана рваным шерстяным платком. У мальчика болели ушки, и он непрерывно кашлял. В общем, дите болело и его не брали в детские ясли.

Бедный мышонок! Люда принесла ребенка к Анне Павловне, обещавшей посидеть с ним. Сама она не хотела брать «больничный лист» из-за денег, которые она сможет получить за рабочие дни. Оказывается, и Милочка тоже нуждалась!

В конце дня Яков Ильич услышал вопли Милочки, крик Анны Павловны и истошный плач ребенка.

...Анна Павловна, хоть никогда прежде не состояла в компартии, теперь была рьяная коммунистка. Поэтому она на досуге принялась читать свежую коммунистическую газету «Завтра».

Ну, а Милино дите в это же время пригоршнями ело из цветочного горшка хорошо удобренную «Идеалом» влажную землю! За этим занятием и застала их Мила. Она вымыла ребенку рот от земли и стала громгласно укорять Анну Павловну, как нерадивую няньку.

Та же обозвала Милочку нерадивой матерью! Мол, у ребенка — полно болезней, ребенку не хватает минеральных солей! А она, Милочка, бегает по ночным улицам и ловит своего мужика у чужих баб! Потом Анна Павловна отметила и то, что семья Милочки и так уже живет в нищете, а плодятся они, как кролики. Ведь этот, уже рожденный Милой ребенок, не ухожен и не ест вволю витаминов!

Яков Ильич пригляделся и увидел уже изрядный живот Милы, прикрытый длинным свитером. «Так вот, значит, зачем она работает! Она хочет получить декретные!» — горько подумал Яков Ильич.

Видно, права была Анна Павловна, когда упрекала Милу в бесчеловечности. Отдать несчастное крохотное дитя в детский сад, или, как их там — ясли, когда у него есть в наличии живые родители и бабушки. Если бы теперь мы, русские люди, были богаты, то и у нас имелись бы личные психоаналитики. Ими было бы доказано, что все наши несчастья, все наши комплексы — от раннего отрыва от матерей! Ведь испуганный, одинокий среди чужих людей, ребенок не знает, когда увидит свою много и долго работающую мать.

Яков Ильич был разочарован и обижен на Милу. Теперь Мила стала для Якова Ильича не просто красивой женщиной, а самкой, вечно ждущей ласк от своего мужа.

Мила и вправду — никудышная мать! Она «засунула» больного ребенка в детский сад, чтобы тот не мешал ей полнокровно жить со своим мужиком. Этот вывод стал для Якова Ильича большим горем. Он убил в нем иллюзию любви. Вспыхнувшее горе, конечно же, тут же нужно было чем-то залить!

...Все это медленно и с подробностью вспомнив, Яков Ильич наконец-то допил имеющийся в бутылке портвейн и незаметно уснул, накиннув на себя от палящего солнца свою почти что чистую рубашку.

Вновь проснулся Яков Ильич на черноморском пляже уже вечером от дикой головной боли и холода. Без греющего осеннего солнца он промерз до

костей. В ночном небе горели яркие, с кулак, звезды. Яков Ильич попытался встать, но тело его не слушалось, вернее, не слушались левая нога и рука. Где-то рядом слышалась музыка и раздавался чей-то молодой залихватистый смех. Яков Ильич хотел позвать на помощь, но рот и губы тоже стали непослушными, из его глотки раздался какой-то жалобный звериный вой. Рядом с Яковом Ильичом остановилась совсем юная пара. Они, наверное, только что познакомились и хотели показать друг другу, какие они чуткие, благородные и сердобольные. Юноша присел перед Яковом Ильичом и попытался на его шею нащупать пульс. Жалостливая девушка подошла к полуголому старому человеку и, чтобы укрыть его от холодного морского ветра, выдернула из-под него пиджак. Молодой человек, нащупав пульс, громко, призывно закричал, созывая людей. Вызвали «Скорую помощь». Собралась небольшая толпа гуляющих-отдыхающих. На отдыхе все скучали, и многим уже хотелось чем-то заняться.

Увидев людей, Яков Ильич снова впал в сонное забытие. Наконец-то, он смог вспомнить ту страшную ночь — ночь Кириной смерти.

...Год назад Яков Ильич пришел «сильно навеселе» от своих новых друзей в два часа ночи. Кира не спала. Она сидела, скорчившись, как потом понял Яков Ильич от боли, перед телефоном. «Яша, милый, мне очень плохо! Помоги мне дозвониться до «Скорой» или позвони Лене, а то я теряю сознание», — морщась от боли, прошептала она.

Но Яков Ильич, тупо глядя на нее, чертыхнулся и пошел в столовую, где он, не раздевшись, прямо в мокром пальто и ботинках, завалился животом на диван и крепко заснул.

Как прошла эта ночь, Яков Ильич не помнил. Помнил лишь Анну Павловну, трясущую его за плечи и бьющую его по щекам, да громадного врача, который что-то говорил ему прямо в ухо повышенным голосом, по-видимому, номер больницы. Потом все куда-то ушло и стало тихо.

Проснулся Яков Ильич в темноте. Громко позвал Киру. Тишина.

Зажег свет. Посмотрел на часы. Часы показывали семь. Узнавать, вечер это или утро, он не стал. Все равно пока еще не мог стоять на ногах. Попил воды и снова заснул.

В следующий раз он проснулся уже светлым днем и увидел записку, лежащую на столе. В записке был номер телефона больницы, куда увезли Киру. Больница была совсем рядом, так что дозваниваться до нее Яков Ильич не стал, а сразу же решил пойти туда и навестить больную. Почему-то он прихватил из буфета пол-литровую стеклянную банку черничного варенья и положил ее в большой белый полиэтиленовый мешок.

На скамье перед входом в больницу сидела сухоногая старушонка и энергично гладила серую полосатую кошку. Кошка прямо-таки счастливо извивалась под ее руками. Обе они — и кошка, и старушка — строго поглядели на Якова Ильича, по-видимому, нехорошо оценив его по-моряцки шатающуюся походку.

В «справочном» сестра поискала в бумагах фамилию Киры и ответила, что такой больной у них нет. Потом она посоветовала Якову Ильичу обратиться в «приемный покой» и показала нужную дверь. Яков Ильич обратился. Там долго сличали какие-то списки. Потом попросили подождать дежу-

рившего в ту ночь врача. Трезвея, Яков Ильич все больше и больше начинал беспокоиться. Наконец, пришел и этот врач. Он длинно заговорил, употребив какие-то непонятные медицинские термины. Яков Ильич ничего из них не понял и с нарочитой интеллигентностью в голосе, культурно спросил: «Извините! Не повредит ли моей жене черничное варенье?»

Тогда врач заорал на Якова Ильича и крепкими ругательствами втолковал ему, что его жены Киры больше на этом свете нет, что она умерла от разорвавшегося аппендицита и последовавшего за тем заражения крови, потому что «Скорую» вызвала поздно проснувшаяся, глуховатая старенькая соседка тогда, когда уже ничего нельзя было сделать.

Яков Ильич резко встал, по-военному развернулся и вышел на улицу. Там он вдруг громко завыл, причитая: «Что же я буду делать?! Как мне жить дальше!?!»

Потом, пройдя еще несколько метров, так и не вынув банку с вареньем из мешка, с силой грохнул его об асфальт и стал медленно оседать на пожелтевшую газонную траву.

К нему подскочила ранее виденная им на скамейке строгая старуха, подхватила его и пронзительно закричала. На ее крик выбежал тот же, еще не успевший уйти с вахты, молодой врач, с которым Яков Ильич только что разговаривал.

Очнулся Яков Ильич через четыре дня в палате реанимации среди датчиков и трубок с диагнозом — обширный инфаркт миокарда. Когда его перевели в общую палату, то туда вскоре пришли маленькая Лена и незнакомый племянник жены — Михаил с нотариусом. После ухода Михаила и нотариуса маленькая Лена с простодушной беспощадностью стала рассказывать Якову Ильичу о похоронах Киры. Про то, что попрощаться с Кирой в крематорий приехало человек пятнадцать — двадцать (соседи, и с работы), что из родственников были Михаил из Одессы и старушка — троюродная сестра Киры. Было много цветов. Про то, что она, Лена, заказала заочное церковное отпевание новопреставленной рабы Киры и сококоуст. Поминки сделали в комнате Анны Павловны. Одна их бывшая сотрудница, хорошо знавшая их семью, сказала, что, мол, у мужа Киры — Якова от любви к ней разорвалось сердце! И так далее, и так далее...

Яков Ильич под лопотание Лены вспомнил «в какой любви» последние месяцы жили он и Кира.

...К тому, что муж не проявляет к ней никакого внимания, Кира относилась спокойно. По крайней мере, ему она ничего не говорила. Но однажды, когда Яков Ильич беззвучно открыл дверь своим ключом, он застал Киру перед зеркальным шкафом в абсолютном голом виде.

То подходя ближе к зеркалу, то пятясь от него, она тщательно рассматривала свое располневшее к старости тело. Потом, горько вздохнув, Кира начала неторопливо одеваться. Яков Ильич на цыпочках вернулся назад к двери и громко хлопнул ею так, как будто бы только что вошел. Он тоже перестал любить глядеться в зеркала: в них Яков Ильич видел себя таким, каков он сейчас есть, а совсем не тем, кем он видел себя в своем воображении.

«Конечно, Кира и в молодости-то была некрасивой, а сейчас, ясное дело, она вообще не вызывает желания!» — подумал Яков Ильич. Остановившись на этой отрадной для себя мысли, он начал искать

предмет своих желаний.

Долго искать не пришлось. На их же лестничной клетке обитала семья торгового моряка. Его жена никогда, с рождения ребенка, не работала и воспитывала сына — трудного подростка. Яков Ильич то и дело заставлял этого «тинэйджера» на лестничной площадке, дымящего сигаретой или сосущего со своими друзьями баночное пиво, а то и «лапающего» глупых, развязных, сильно-накрашенных девчонки.

Чувствовалось, что его «заботливая» мамаша скучает по мужской ласке. Даже на лестницу к мусоропроводу она выходила сильно надушенной, с «боевой раскраской» на лице и в длинном, шелковом, не застегнутом на верхние пуговицы халате. Как-то Яков Ильич подстерг эту мамочку у лифта и чуточку прижал к стене. От взрослой, тридцатипятилетней женщины он услышал звонкий зовущий смех, ну совсем такой же, как у юной Иришки на сеновале! Уверившись, что «дело на мази», Яков Ильич полез губами к не застегнутому пуговкам.

О, ужас! — из двери их квартиры вышла Кира. Она вроде бы ничего не заметила и даже поздоровалась с соседкой, но вечером, когда Яков Ильич вернулся домой после очередной встречи с друзьями, он был с гневом изгнан из спальни. Ватное одеяло и подушка ждали его на разложенном диване в столовой. Он пытался протестовать, но оскорбленная Кира была непреклонна: «Видишь ли, Яков, я не хочу остаток дней провести за лечением венерических заболеваний! Стара я для этого!» Наглый кот Дымка уже лежал в ее кровати, на месте Якова Ильича, свернувшись в серый шерстяной клубок.

Ничего не оставалось делать, как пойти спать в столовую. При тусклом свете бра на Якова Ильича весело глядел с небольшого портрета на стене отец Киры — кудрявый лысоватый мужчина лет сорока, носатый, с лицом без подбородка, в профиль похожий на большую болотную птицу. Папочка стоял под пальмой на морском берегу. На руках он держал свою худенькую, длинноногую, до черноты загорелую, четырехлетнюю дочь. Лицо дочки до изумления походило на лицо отца. Этаким маленьким, длинноносый куличок! Они счастливо улыбались друг другу кривыми зубами.

«Конечно, мужчина считается красивым, если чуть-чуть «симпатичней обезьяны», но зачем же от него детей-то рожать?!» — глумливо подумал Яков Ильич. Эту счастливо озарившую его мысль он тотчас же с ехидным смехом передал своей жене Кире, снова войдя к ней в спальню. С этих пор Яков Ильич и Кира стали жить в разных комнатах, почти как злобствующие соседи.

Кира стелила Якову Ильичу постель на диване, подметала пол, вытирала пыль, меняла белье. По старой памяти, она иногда даже мыла и стригла Якова Ильича.

Во время очередной ссоры он упрекнул Киру тем, что она прежде получала много меньше, чем он, и, мол, поэтому теперь обязана его кормить. Да Кира, жалая его, не отказывалась. Не работая и не принося никаких денег, Яков Ильич стал очень строг к приготовленному женой обеду. Он обвинял Киру, что она кормит его чуть ли не помоями, так как видел, что она готовит обед из принесенных ею с базы «дармовых», вялых овощей.

И куда только делся тот лохотный фронт, всегдашней кафе и ресторанов! Яков Ильич demonstra-

тивно рыгал, ковырял вилкой в зубах, выкладывал непрожеванную вставными зубами пищу на скатерть и туда же сплевывал то лавровый лист, то перец. Если ему что-либо в еде не нравилось или просто хотелось устроить скандал, то он выливал целые кастрюли свежего, только что сваренного Киры супа в унитаз.

Жене не хотелось рядом с ним есть, его видеть и слышать, потому что в ее адрес и адрес ее родных сыпались неуместные колкие реплики.

Яков Ильич, из мужской гордости, днем вообще отказывался есть. Он теперь наедался лишь ночью, когда доставал из холодильника и ел, вернее пил, все тот же холодный Киры суп. Пил прямо из кастрюли, по-собачьи лакая его через край. Кстати, это его темное ночное дело сопровождал прокрававшийся из Кириной спальни такой же вороватый кот. Яков Ильич кидал коту кусочки мяса из супа, считая, что так он развращает кота и тем самым вредит жене. Потому что нажравшийся ночью кот наутро уже не желал питаться сваренной для него хозяйкой рыбной кашей. Кира считала, что Дымок болеет, и от этого сильно расстраивалась.

Почти каждое утро Яков Ильич дрожащими с похмелья руками открывал дверь в спальню Киры. Со слезами в голосе он просил денег в долг «на опохмел», твердо обещая, что все это он делает в последний раз, что с завтрашнего дня непременно «завяжет», что некий товарищ, с которым он вчера пил, обещал ему работу уборщика улицы возле своего ларька. Этот ларек днем и ночью торговал спиртным.

Кира, сдаваясь на его мольбы, давала ему деньги. Она боялась, что Яков Ильич сможет и на самом деле без спиртного умереть или будет «таскать на спиртное» ее или даже чужие вещи. Она считала, что лучше уж жить с пьяницей, чем — с вором.

Теперь опять Яков Ильич по ночам заставлял Киру у своей постели. Она снова пристально глядела ему в лицо. «Чего ты, старая дура, на меня гляделки-то выпустила!? — ласково произносил Яков Ильич. — А ну-ка, топай отсюда!»

«Чужой, абсолютно чужой человек!» — констатировала Кира, слушая речи сильно деградировавшего мужа.

Взять себя «в руки» и начать лечиться Яков Ильич не хотел. Выпросив у жены денег, он бежал на место встречи таких же, как он, взалкавших алкоголя или попросту алкашей, детскую площадку, обсаженную давно не стриженными декоративными кустами, с врытым на ней столиком и четырьмя скамейками вокруг него. Где, набрав вкладчину нужную сумму и согласно ей, каждый пьяница получал в свой стакан, разлитый по купленным им каплям, портвейн.

У обывателей это место считалось «поганым». Матери, бабушки и отцы не водили своих чад на детскую площадку. Там было не место ни девушкам, ни приличным женщинам.

Там собиралась, напивалась, оправлялась, дралась и валялась всякая пьянствующая голь мужского и женского пола или, как теперь говорят, — маргиналы. Там звучала, как их истинный язык, только грязная, грубая брань. Найти в этом сквернословии какой-то смысл можно было только по эмоциональным всплескам, сопровождающим лексические изыски, построенные из какого-то десятка однокоренных слов.

Уняв пьяную дрожь и чуть-чуть охмелев, началась их утренняя беседа о политике, спорте и прочих важных делах страны и мира. Скопом пропив все принесенные деньги, эта публика не расходилась, надеясь на нечто чудесное: бесплатное угощение — то спиртовой настойкой какого-то медицинского препарата, самогоном, брагой, денатуратом или одеколоном, автомобильным «стекломоем» или разбавителем масляных красок. Их времяпровождение часто кончалось пьяной дракой, иногда с поножовщиной и обычным приездом милиции.

Многие из этих уже бывших людей не раз сидели в тюрьме. Почти никто из них не работал и не хотел лечиться от алкоголизма. Эти паразиты отбирали деньги у усталых работающих на нескольких работах жен или пенсию их рано постаревших матерей.

Вот в такое место и к таким людям несли ноги Якова Ильича. Здесь он уже был «своим». Забудлыги хлопали его по плечу, одобрительно слушали его речи, особенно пока он им наливал какую-нибудь бодрягу, называли его уже без имени — «нашим Ильичом».

Вот таким-то «интеллектуалам» интеллигентный Яков Ильич и доказывал свои научные идеи, хватался своей защищенной кандидатской диссертацией и, немножко привирая, хвалился большими должностями, которые он занимал в совсем еще недавнем прошлом.

В веселом расположении духа, засидевшись допоздна, вернулся домой в тот роковой день Яков Ильич...

Прожитая жизнь несвязными кусками вспоминалась и проносилась перед ним. Яков Ильич то спал, то впадал в забытие. В последний раз он очнулся оттого, что всколыхнувшаяся земля как бы подкинула его тело. Ему почему-то показалось, что он лежит среди стволов высоких деревьев в дремучем лесу. На самом деле — это резко притормозил вызванный отдыхающими санатория маленький автобус «Скорой помощи», а стволы деревьев были ногами сбегавшихся и окруживших его любопытствующих граждан.

«Граждане, граждане, расступитесь! Дайте же пройти! Ну, и что же тут произошло такого необычного!» — проговорил старческий, с официальными нотками, голос.

«Просто товарищ перегрелся и расслабился!» — вслед ему раздался ехидный мальчишеский дискант.

Яков Ильич почувствовал, что недавно выпитая им пустая винная бутылка была вытащена из-под его головы, и услышал, как где-то вдалеке она плюхнулась в воду Черного моря.

Толпа расступилась. Из машины вышел молодеватый седовласый врач, форсящий перед курортницами своим белоснежным, сильно накрахмаленным халатом. На враче был надет хорошо наглаженный костюм, почти такого же цвета и фактуры, что и на Якове Ильиче.

Яркий, слепящий свет от его электрического фонарика остановился на лице пациента.

Сначала врач, низко нагнувшись, снял с голого, распластанного на песке тела прикрывающий это тело пиджак. Затем он полез в его внутренний карман, где у Якова Ильича хранились деньги и документы, и достал оттуда паспорт.

«Смотри-ка, — сказал он пожилому санитару, — а ведь мы с ним — почти ровесники!»

«Эх! Убивают себя водкой глупые люди!» — тихо проворчал тот.

Почти голый, несчастный Яков Ильич лежал на земле у ног стоящих сограждан.

Врач присел перед больным на корточки, нащупал на запястье пульс и снова осветил фонариком в лицо. Оно было багрово-сизым. Яков Ильич с большим трудом приоткрыл веки. Врач начал водить у него перед носом вытянутым указательным пальцем. Он хотел, чтобы Яков Ильич следил за ним глазами. Но тот этого сделать не смог.

Из кабины спрыгнул молодой шофер. На счет: «Раз, два, три!» — он и пожилой санитар ловко поместили тело на носилки, а затем сунули их в специальную заднюю дверцу автобуса.

«Скорая помощь» газанула и выехала на асфальт. Собравшийся народ, не видя больше ничего интересного, начал неохотно расходиться.

Усевшись по своим местам, шофер, санитар и врач дружно задымили, открыв при этом форточку на передней дверце автомобиля. Внутри автобусного салона забилась резкий сквозняк. Одеядло слетело с больного, и голому Якову Ильичу опять стало холодно.

«Куда его повезем?» — спросил водитель автобуса.

«В дальнюю больницу», — ответил врач.

«Почему же так далеко? Есть же больницы гораздо ближе!» — возразил шофер.

«Глупый ты, Ванек! Там же — морг большой! — пояснил опытный санитар. — Когда его хватятся, да хватятся ли вообще, неизвестно. Может, там ему с месяц придется лежать!»

«Про что это они так спокойно говорят? — с тревогой подумал Яков Ильич.

И тут он понял, что это все говорится о нем! Ведь они считают, будто он вскоре должен будет умереть и что живым они его до больницы не надеются довести!

Его бросило в жар. На лбу выступил пот. Из глаз потекли крупные слезы.

Он уже не мог пошевелиться, и страшная предсмертная тоска одолела его сознание:

«Вот и кончается моя, такая короткая, жизнь! Зачем я жил? Что же мне удалось в ней сделать?» Он вспомнил мать, отца и сестру, даже Иришку и своего сына. Вспомнил погубленную его роковым пороком кротку жену Киру, которую так и не полюбил и над которой ставил такие жестокие опыты. Всей его взрослой жизнью, всеми его действиями в ней руководил кичливый эгоизм.

«Прости и прими мою душу, Господи!» — молился неведомо какому Богу Яков Ильич. — Прости меня, Кира. Ведь я и вправду без тебя не смог жить!»

В это время автобус высоко подпрыгнул, налетев на глубокую колдобину на асфальте. В сердце у Якова Ильича что-то оборвалось. Оно сильно, беспорядочно забилося, потом, как-то бестолково задрожав, вообще остановилось. Закрытые глаза Якова Ильича на мгновение увидели яркий свет, как при сильном ударе по голове.

Яков Ильич глубоко вздохнул. Вместе с хриплым выдохом из пересохшего рта большой невидимой птицей его душа тоже вылетела из тела, взмахнула крыльями и полетела над Черным морем, на встречу к ожидавшей его, неуспокоенной душой Кире, прах которой был так и не предан земле!

Бригада «Скорой помощи», совсем забыв о своем больном, слушала по радиоприемнику репортаж о финальной игре с Чемпионата мира по футболу. Медработники так и не заметили, что «потеряли» больного. Яков Ильич лежал на носилках спокойный и величественный, но был все-таки похож, из-за пушка на лысой голове, ставшего горбатым носа да еще из-за широко раскрытого, не подвязанного рта, на голого неоперившегося птенца хищной птицы.

Так и закончилась жизнь этой семейной пары, которую всмятку раздавило колесо новой русской истории.

P.S.

Якова Ильича похоронили под казенным номером на старом городском кладбище.

Прав был санитар: его тело так никто и не востребовал. Только месяца через четыре племянник его жены Михаил попросил выслать ему до востребования, «наложным платежом», «Свидетельство о смерти» Якова Ильича, чтобы тут же оформить на себя завещанные ему комнаты.



ПОЭЗИЯ

Виталий ДМИТРИЕВ

* * *

Мелодии горькая завязь –
 всей жизни моей продолженье.
 О, если бы только не зависть
 к природе, утратившей зренья,
 когда, затопляя округу
 невнятицей истинной боли,
 почти повторяя друг друга,
 смыкаются небо и поле.
 Что толку в ночном причитанье?
 Какого ты ищешь спасенья?
 Стихи на едином дыханье
 почти не имеют значенья,
 а их необычная смелость –
 боязнь пустоты и застоя.
 Минуй нас смертельная зрелость
 и слово, – уже восковое.
 О, эта волна звуковая!
 Обманет. Конечно, обманет.
 Но все-таки, страх заглушая,
 нахлынет, низринет, изранит,
 потом подойдет к изголовью
 с любовью, даруя отсрочку,
 и значит, ты жив, если кровью
 забрызгана каждая строчка.
 Спроси – для чего? Я отвечу,
 что смысла и нет, и не будет.
 Поэтому все человечесь
 мне чуждо. Пусть кто-то осудит,
 но я не умею иначе
 любить. И любое прозренья
 из области детского плача,
 которому нет объясненья.

* * *

Захлестнуло с головою.
 Ухвачусь за скобы мола,
 чтоб не смыло, и волною
 средь камней не измололо.
 Зелень грецкого ореха.
 Почерневшие ладони.
 В жизни отпуска прореха –
 две недели в Лонжероне.
 Побережье. Плов из мидий,
 “бог куриный” на шнурочке...
 Каково тебе, Овидий,

подбирать двойные строчки,
 перламутровые складни
 створка к створке подгоняя?
 Потускнеют? Ну и ладно.
 Знай – потеря не большая.
 Неба зыбкая аркада,
 диких трав сухая спелость,
 звон кузнечиков, цикады,
 жестких крыльев хруст и шелест,
 шорох платья, смех негромкий...
 Вот и гложет плеск прибоя,
 чуть уйдешь от пенной кромки
 вслед за девочкой-судьбою.

* * *

Похмелье затянулось, господа.
 Мы забрели куда-то не туда.
 Скажи, зачем я вновь припоминаю
 дорогу, поле, избы в два ряда,
 телегу у дощатого сарая,
 мать-мачехой поросший косогор,
 на спуске к речке порванные сети,
 две плоскодонки... И над всем над этим –
 немислимо сияющий простор.
 Бывают же такие островки,
 которые и время обтекают.
 Я повторяю медленно – бывают.
 Глаза закрою – вижу блеск реки,
 а за рекой у самого села
 сосновый бор, деревья все в надрезах,
 по желобкам в воронки из железа
 стекает желтоватая смола.
 Прохладная лесная тишина
 утешит, худо-бедно успокоит.
 Уж если эта жизнь тебе дана,
 то о другой загадывать не стоит.
 Молчи. Давно пора бы растерять
 былые представления о славе.
 Пора, мой друг, пора – давно пора,
 поскольку умирать еще не вправе.

* * *

Вот город, в котором давным-давно
 суша напоминает дно,
 камень стен источает сырость.
 Вот дом, в котором я жил и вырос,

где, растворяя утром окно
во двор-колодец, мне суждено
страдать от жажды. Так уж случилось,
что этот город, в который влюблен,
фотогеничный со всех сторон,
равно прекрасный и в фас, и в профиль,
где я, двадцать лет отходя в «Сайгон»,
выпил цистерну плохого кофе,
давит меня, как гранитный гроб.
Но такой уж, видно, я остолоп,
предпочитающий жить в могиле.
Все ожидаю всемирный потоп
именно здесь увидеть чтоб
тонушим Александрийский Столп
и среди волн золотые шпили.
Вот сюжет картины – «Приплыли».

* * *

Захлебнешься встречным ветром
и поймешь довольно скоро –
в этом воздухе несметном
человеку нет опоры.
Распахав земное лоно,
ожидая изобилья,
не находит он резона
мастерить из воска крылья.

Обнищали наши души.
Человеку нет свободы,
если он не смог нарушить
хоть один закон природы,
и еще при этой жизни
не уверовал в бессмертье,
ожидая скорбной тризны,
навсегда прикован к тверди.

Никому я не обязан.
Но была бы жизнь бесцельной,
если б с прошлым не был связан
легким крестиком нательным.
За грядущее в ответе
быть, увы, намного проще.
О, как дико воет ветер
над разграбленную рощей.

На глазах редуют кроны.
Это много или мало,
если падает в ладони
лист, как сердце, темно-алый,
если бездна под ногами
не пугает немотою,
хоть расходятся кругами
дни, отринутые мною?

О, как просто ожиданье
переходит в сожаленье.
Кто-то просит прозябанья,
словно слабое растенье,
но смолкает тихий голос,
повторив молитву всуе.
Острый серп срезает колос
и забвением врачует.

Для осеннего кочевья
сада Божьего не надо.
Одичавшие деревья

тянут ветви сквозь ограду
уронить в чужие руки
горьковатый плод познания.
Бесполезно, ибо внуки
не вникают в назиданья.

Переставь любые строки,
перечти с конца к началу –
одинаковы истоки
и веселья, и печали.
Повтори любое слово
сотню раз – лишится смысла.
Жизни смертная основа
распадается на числа.

Застывают в жилах соки.
Для чего же я долдоню? –
Чтоб не слышать одинокий
ветра плач да крик вороний.
С каждым днем все глубже дали,
все прохладней свет вечерний.
Мокнут листья на асфальте
тусклым золотом по черни.

Я не знаю цену дружбе,
ничему не знаю цену.
Тянет вечностью и стужей
из расхристанной Вселенной,
где устало и покорно
наши звезды тлеют рядом
в этом небе беспризорном
меж Москвой и Ленинградом.

* * *

История, как правило, не лжет,
но опускает мелкие детали.
Когда-нибудь мы сможем вспомнить год,
а месяц, день, наверное, едва ли.
Часы, минуты прожитого дня
не возродить. Бессмертны лишь мгновенья.
История не лжет, но и она
стирает кое-что без сожаленья.
Эпохе не хватает мастерства.
Добротности твореньям не хватает.
Лишь музыка – мгновеньями жива,
лишь у нее такие же права,
что и у смерти, – душу возвышает.
Все прочее – слова, слова, слова...

* * *

Что видит младенец, внесенный во храм?
Лишь Господа лик в золотом ореоле.
А свечи все ярче, чем ближе к Престолу,
к алтарным вратам и священным дарам.
Дрожат, расплываясь в слепое пятно...
Душа переполнена истинным светом
и так беззащитна. Но пламя от ветра
надежно укрыто и ограждено
рукой материнской. О, благостный миг –
дита в кружевной ослепительной пене.
И молится рядом, упав на колени,
слепая старуха и нищий старик.

* * *

Спелая ветка спружинит под тяжестью птицы.
 Вздрогнешь, застынешь, пытаясь припомнить название
 дерева, птицы, травы... Над лесною поляной
 запах горячего меда дрожит и клубится.
 Гладишь рукою древесную грубую кожу,
 в темной воде различаешь свое отражение.
 Как размывает морщины живое течение.
 Время пройдет и, наверное, станешь моложе,
 тверже душою, постой здесь еще без движенья.
 Так получается – миф обрастает судьбою,
 словно когда-то корою прекрасное тело.
 А для другого, знать, время еще не пришло.
 Впрочем, для жизни и смерти годится любое.
 Сетуем, злимся порой, но скорей по привычке.
 Если чего и в избытке у нас, так простора.
 Выйдешь на просеку к высоковольтным опорам –
 кто его знает, в какой стороне электричка?

* * *

Костей дорогих, этих ребер, ключиц, черепов
 немислимый ряд обходя, заблудился б Создатель
 под кладбищем Южным, где спать нам во веки веков,
 когда навсегда интерес к этой жизни утратим.
 Не счесть, повторю, не вместить ни в какой каталог
 потерь твоих, Господи. Стыдно понять временами,
 что эта душа, к сожаленью, не вечный залог,
 и тьма неродившихся молча бредет между нами.
 Не страх, повторю, а надежда, не ужас, но свет,
 огонь очистительный. Разве и этого мало?
 Слепая судьба постоит, перекрестится вслед,
 потом отвернется, и дальше плетется устало.
 Не мрак, повторю, но сияние вижу вдали.
 Не праведник, Господи, но и греху не причастен,
 поскольку уже избежал самодельной петли,
 а замысел твой мне неведом, но все же прекрасен,
 коль я, по глаголу вбирая российский язык
 с рожденья впотьмах, натываясь на каждую тему,
 блуждая, прозрел, и, наверное, что-то постиг,
 вплетая свой голос в его корневую систему.

* * *

Ночью в подъезде, где лампочки то ли разбили,
 то ли свинтили, стоишь, к темноте привыкая.
 Дом словно вымер, как будто его разбомбили
 и расселили уже. Тишина-то какая.
 Словно полопались все заводные пружины.
 Вытянув руку, бредешь и бубнишь поневоле:
 “Нужно б свечей прикупить, фитилей, керосину,
 масла лампадного, спичек, поваренной соли...”

* * *

До бетонной плиты доплыву и нырну,
 раздвигая медуз, в злое царство рапанов.
 Блики солнца скользят по волнистому дну.
 Потревоженный краб убегает за камни.
 Мир безмолвия.
 Вспомни книжонку Кусто,
 самодельную маску из старой покрывки,
 дно Невы...
 Интересно да только не слишком.
 Впрочем, Черное море ведь тоже не то,
 что мне грезилось в детстве. Стиральной доской
 грязноватый песок опускается ниже.
 Ни кораллов, ни рыб. Я боюсь по Парижу
 точно так же пройтись и сказать: “Боже мой,
 вот о чем я мечтал”.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

* * *

В подметной тьме, за устричными створками,
водой солоноватую дыша,
ослышками, ночными оговорками
худая тешится душа –

ей все равно, все, милый, одинаково.
Что мне сказать? Что истины такой
я не хотел? Из опустевшей раковины
несвязный шум волны морской

шипит, шипит пластинкою виниловой,
так зацарапанной, что слов не разберешь.
Он нехорош, о, я бы обвинил его,
в суд оттащил – да что с него возьмешь?

Отделается сном, стихотворением
из средненьких, а я уже устал
перемогаться палевым, сиреневым
и акварельным, только бы отстал

мой поздний гость, который режет луковицу
опасной бритвой, щурится, изогнут
всем телом, и на перламутровую пуговицу
потертый плащ его застегнут.

* * *

Смеется, дразнится, шустрит, к закату клонится,
бьет крыльями, шумит и жалуется, что скучно.
Кто ты у нас - капустница? Лимонница?
Так суетлива, так прекраснодушна.

Лет восемьдесят назад в растрове питерской
тебя, летающую по будущим могилам,
узнав навскидку из окна кондитерской,
воспели б Осип с Михаилом,

они воскликнули б: «О Господи, жива еще,
не верящая молоту и плугу!» –
и, поперхнувшись чаем остывающим,
взглянули бы в глаза друг другу.

Чем долго мучиться и роговицу заволакивать
балтийской влагой, ты обучишь сына
своих сестер, как бабочек, оплакивать
и превращать окраины в руины –

там диамант фальшив, как песня пьяного,
и царствуют старухи-домоседки –
кочевница моя, заплаканный каштановый
свет, спящий на октябрьской ветке.

* * *

Утром воскресным под звон крутобедрых колоколов,
доносящийся с привокзальной площади, выйти глотнуть
свежего воздуха на балкон и поежиться, ни правильных слов
не находя, ни возгласа. Пасмурно в нашей провинции, хорошо бы в путь

к ясновельможным краям, где остроколючий каштан и грецкий орех
в темно-зеленой шкурке падают, катятся, колотятся о шербатый гранит
мостовых. День, туманный и влажный, саднит, как неотпущенный грех.
Ранит, оставит, пригубит, выпьет до дна, без особой горечи побранит.

Прекращают любые колокола свой возмущенный гул, да и я притих,
я, поденщик (или поденка), наизусть не помня молитвы, словно один из нас,
собираю рябину и терпкие райские яблочки в сквериках с городских
беззащитных деревьев, пока еще не стемнело. Который час?

Значит, близится вечер, следует выпить чаю с вишневым вареньем, прилечь
на диван, не раздеваясь, и закурить, и смахнуть с ресниц
осеннюю паутину, продолжив листать учебник «Родная речь»
для говорящих бобров, бессловесной плотвы и невеликих, но певчих птиц.

* * *

Так долга и необратима, так требовательна, и все-таки выкрикнуть «каюсь!»
не хватает времени. (Больше радости господу от одного...) Немая
сцена, как в «Ревизоре». Прошлое отдалается, по-стариковски спотыкаясь,
сугулясь, стыдясь своей нищеты и отсталости, понимая,

что за последние тридцать лет стало неисчислимо больше гляцевых
еженедельников, мусульман-камикадзе, северокорейских реакторов на быстрых
нейтронах. Постепенно Италия, да и Англия, стали заметно дороже Франции,
безвозвратно исчезли опасные бритвы и приемники на транзисторах,

даже пейджеры, еле успев войти в анекдоты о новых русских, приказали
долго жить. Не говорю уж о бюстах Дзержинского, о субботниках по уборке
малолетних осенних парков, народных гуляниях, шелковом знамени в актовом зале
моей гулкой, пропахшей хлоркой школы у Патриарших. Дело обычное. На задворки
бытия, в чуланы с кладовками, сбрасывается отжившее, в мир иной
переселяются умники и лгуны, горбуны и красотики, как предписал всевышний,
и спесиво глядят в зеркала новые поколения, не замечая, зачем ночной
дождь еле слышно стекает по облетающим веткам бесплодной японской вишни.

* * *

Да, у времени есть расщелины, выход для родниковой тоски
через тесные помещения и невысокие потолки,
виноградники, палисадники, окна узкие, пузыри
бычи в рамах, крестьянские ватники, апельсиновый луч зари –

ах, пускай ничего не сбудется – хорошо голосить налегке,
так лоза, искривляясь, трудится на иссушенном известняке,
наливаясь хмельною яростью (что, товарищ, старье – берем?)
перед тем, как ее за старостью темнодышащим топором

срубят, выкорчуют к чертовой матери и посадят другую лозу.
Почему я был невнимателен? Почему в ночную грозу
пил не римское, а советское и дымил дурным табаком?
Посиди со мной. Время – детское. Я ни с кем еще не знаком,

только рифмы бедные, как мышата, жмутся, попискивают, словно им
нет ни адреса, ни адресата. Посиди со мной, поговорим,
посумерничаем, подружка кроткая, если полночь – твоя взяла –
не плеснет виноградной водкою в опустевшие зеркала.

* * *

Одинокое облако по небу не спеша уплывает – домой,
вероятно. Налей мне чего-нибудь горячительного, ангел мой,

чтобы жизнь не осталась занозой и обузой, – правда, налей.
Что мне делать с зимующей музой, с растерявшейся музой моей?

Что мне делать, когда я в истерике – а казалось, что все по плечу –
по Европе, России, Америке, будто брошенный камень, лечу,

и в воздушном обиженном княжестве, словно косный и мертвый предмет,
несговорчивой силою тяжести утешаюсь на старости лет?

* * *

Когда я жил в стране
 Великого подтекста,
 Где кухонный квадрат
 Слыл площадью протеста,
 Где свежий анекдот
 Про дряхлого генсека
 Был лучший антидот
 От лжи и фарисейства,
 Где крепкие слова
 Не мальчика, но мужа
 Хрипела голова,
 Больные связки тужа,
 Где высший голос лил
 Родник из Окуджавы
 И тихо нас молил
 Любить свою державу –
 Другой такой страны
 Не знал я, где так смирно
 Тогда дышали мы,
 Но и сейчас кумирно
 Люблю я по уму, по свету на орбите...
 С того и мучаюсь, что не пойму,
 Куда несет нас рок событий...

15.09.06.

* * *

Как говорят теперь –
 мне жаловаться «влом».
 Я добежал своих Афин,
 И что же? Безлюдна агора,
 и то, что от колонн
 Акрополя осталось – мой докфильм.
 Хруст времени, увы, записан на камнях.
 Прокрусту и не снилось столько хруста,
 Ты, Герострат, ты соблазнил меня
 Искать дурную славу златоуста.
 Но рукописи, вот же, – не горят –
 В отличие от храма Артемиды,
 Я жгу их, не жалея – все подряд,
 А пепел – выше, выше пирамиды.

20. 10. 06.

* * *

Прохожу в арку с Невского. Двор за двором.
 Учкудук – три колодца.
 Привязалась, как Раскольников с топором,
 Песня юного сладкоголодца
 Саруханова, кто помнит «Яллу»,
 Память крутит свою юлу.
 Как любили тогда кучерявого инородца.
 О, Tempera! О, море гомосапиенского утиля!
 Ленинградские сквозняки –
 проходные учителя
 Акустической рок – игры.
 Past indefinite.
 Тот минер –
 Время сделало свой маневр.
 Славный эндшпиль бесславных орд –
 Вертикальный квинтэссенцаккорд
 Переходит в вечерний звон,
 Прогоняющий разум вон.

АЛЛЮЗИОН

*«Подруга, дурнея лицом, посе-
 лись в деревне...»*

Иосиф Бродский

к Т.У.

Это и в правду смешно,
 Но ты, говорят, поселилась в деревне...
 Лицом-то дурнею я.
 Но ты за меня дерябни,
 Если еще далека не настолько,
 Что даже злая твоя настойка
 Мой тромб не выгнала из артерий.
 Не бег убивал скаковую – стойло,
 Тебя ж возбуждала любовь к потере.
 Ты мазохистски любила бойню,
 Но выкидыш – это был я, а ложе –
 Импровизация на тромбоне,
 Соло твое по сдиранию кожи.
 Неповторимо – в том смысле,
 что не повторимо.
 Но все так похоже
 На бред о возвращении России Крыма.

* * *

Возвращение не лучший способ понять
 Историю собственной глупости. Негоже пенять
 На отброшенный хвост ящерицы. В конце концов,
 Тело – судьба души. Мелкая душа – глубокое тело – лучший из образцов
 Попсового киберпериода. Даже способность глаза
 Ограничивается телом женщины, проносающейся мимо,
 А душа – занесенная в Русь плагоническая метастаза,
 Превращающая гомосапиенс в очень мрачного анонима.

23.09.06.

* * *

Лгать, верить самому в легенду, миф, парить
 И наблюдать, как попадает кто-то под твой кураж.
 Уже не потянуть, немоготу, не выдать попури
 Из пошлых каламбуров. Ментранпаж,
 Наборщик фраз, двужильный проводник
 Утробных звуков – внутреннюю дрожь

Раскипятишь до взрыва ртути, вскрыв родник,
И веной в унисон пульсируешь с пером,
Двойник того Пиита мертвого?
Хорош!

13.10.06.

* * *

Нет сил отрубить. Похотливость Орды Золотой
Тыщу лет покрывает меня на одной на шестой.
Быть бы жиру, да быть уж хотя бы сильней,
Птица-тройка за душами: мертвые души за ней.
Две беды? О, Россия, – в каком это было году...
И за семь – нет ответа. Кто быстрюю любит езду,
Не узрит синевы, вдребадан разнося колею,
Не снесет головы, отдавая вожжу холую.
Селифана несет, бич ярит, конный храп
В резонанс с воем выюги, но слышится где-то: «Пора б
Осадить, отдышаться, напиться воды ключевой,
Тыщу лет... Скачет тройка... А птица тогда для чего?»

24.10.06.

* * *

Вот, приснится такое: все же запряжены
В одну повозку осел и, как это в «Полтаве»: «трепетная
Лань». И, хоть убей, ничего похожего на облик бывшей жены,
Скорее на образ Той, что любила сверху и заслоняла мне свет Луны.
Но теперь тот высокий свет, залезая ко мне в постель, создает портретное,
До мельчайших деталей с Ней поразительное сходство.
Ну, разве это не скотство?
Здравствуй, Зигмунд! Все, что нас покидает, – возвращается в койку
Слабым подобием. С бессознательным у тебя слишком заверчено.
Может, когда-нибудь эскулапы сдерут с нашего мозга корку
И увидят, что под Луной, все-таки, кое-что остается навечно.



Татьяна СЕМЕНОВА

* * *

Я долго буду привыкать
чужие волосы ласкать,
бояться вечером звонка,
ключа от прежнего замка.
Я успокою, обниму,
и все прошу, и все пойму.

Не догадается никто,
что зябко кутаясь в пальто,
я в старом скверике сижу.

О чем тоскую – не скажу.

* * *

Если долго мечтать, то мечта воплотится.
Одиноко девчонке в культурной столице,
если мама дежурит по двенадцать часов
и тебя караулит лишь железный засов.

И отдушину – книги, да балетная пачка.

Если в школе интриги

и для всех ты – чудачка.

И от страха, из скромности, из любопытства
ты глотаешь одну за другою страницы.

И научишься слышать и мыслить словами,
и однажды напишешь стихи своей маме,
и тебя первый раз назовут поэтессой,
и никто не убьет твоего интереса...

Надо только мечтать,
надо только стремиться,
и когда-нибудь эта мечта может сбыться.

СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС

Беглые тени белых стихов,
голос сирены, запах духов,
белой сирени, дождик с утра,
клавиши «зебры», площадь мокра.
Окна ослепли, и постовой
палочкой машет над мостовой,
словно оркестру – «раз-два-три-раз...»
«Чайка» к подъезду, свадебный вальс.
В белом невеста, в черном жених,
лица их мелом высветил блик.
То не фотограф – кинематограф.
Это автограф первой грозы.

* * *

Берег, выгнувший спину,
Дом, заросший малиной
да река по колено,
да бельишко на смену,
да короткое лето –
все, что нужно поэту.
Потому что надежда
проживает, как прежде,
там, где жить невозможно
и надеяться сложно.

* * *

Десять окон глядят вокруг.
Старый дом, словно старый друг.
Он без номера, он не в счет.
В огороде осот растет.
Он на «выселках», он такой,
он возвысился над рекой.
Вечно падающий забор
Так и просится на простор.

Не обшитый? – А ни к чему.
Не обжитый, но по уму,
а верней по моей душе, –
рай, обещанный в шалаше.
Весь в наличниках кружевных
домик бархатный, как жених.

Я приеду, ты так и знай.
Иногда меня вспоминай.

* * *

Ждала, как Иосифа Мут-э-Менэт.
Считала минуты, но нет тебя, нет.
Обвила перила зеленым плющом.
Атону кадила...
Осталась с плащом.
И как ни беснуйся, ни плачь, ни блажи –
у бога крылатого нет госпожи.

* * *

Памяти В. Кочемазова

Мои друзья – небритые мужчины –
салятся в непомытые машины
и едут в них на ближнюю стоянку,
и там городят черти что по пьянке.

Но их грехи наивны и прозрачны,
хотя бывают шутки неудачны.
Я знаю – дурака они валяют,
и ничего себе не позволяют.

Мои друзья – хорошие поэты,
я их люблю, но вовсе не за это.
За то, что с ними скучно не бывает,
за те несчастья, что они скрывают.

* * *

Б.Окуджаве

Сердечностью старшего брата,
наивностью «пражской весны»,
навеяны песни Булата,
и все мы в него влюблены.

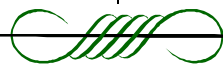
Надтреснутый голос с надрывом,
он нас не дурачил, а звал,
охвачен единым порывом
такой недоверчивый зал.

Под хронику первых концертов
смеемся и плачем навзрыд.
Да, все мы, конечно же, смертны,
но песня звучит и звучит.

* * *

Мне мало глаз для слез,
мир ластится, как пес,
и слизывает их
черемуховой веткой.
Меня обступит сад –
единокровный брат,
укроет
колоннадою беседки.

Яснее, чем слова,
потянется трава,
с такою
неожиданною лаской,
что можно все понять,
и худшее принять,
как будто жизнь – не жизнь,
а просто сказка.



Наталья ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА

* * *

А поезд грохочет над темной широкой рекой.
И что-то хрипит репродуктора голос ночной
на станции, имя которой навряд ли прочесть
в железнодорожной элегии будете честь
иметь господ...
Начинается рокот колес,
и вечные жалобы на перекося и износ
сцеплений и соединений, фрамуг и осей,
и каждая втулка о горькой судьбине своей
поведать спешит, словно грешница в энном кругу.

Я здесь пассажирка, я здесь ничего не могу.
 В какой-то конструкции шаткой (назвать не решусь)
 я тоже вращаюсь, я тоже держу и держусь.
 Мне страшно, особенно ночью, чуть менее – днем.
 Мой поезд грохочет, быть может, последним мостом.
 Но если бы верить (а лучше б, наверное, знать),
 что рядом со мной не устанут держаться, держать,
 вращаться – со стоном, со скрипом –
 но вместе со мной
 и что никаким перегонам...
 И, Боже ты мой!
 всего-то и будет – смертельная близость воды,
 и снежного леса виденье, и белой звезды
 спасительный луч, по которому – вместо моста,
 когда в безымянную реку сорвется состав.

* * *

В истлевших пальцах – призрачная роза...
 Бесплотное полночное виденье
 Той фрейлины, что вызывала слезы
 и страсть – тому назад семь поколений.

А рядом – бескозырки и бушлата,
 и пулеметных лент соединенье –
 Сын революционного Кронштадта
 он был – тому назад два поколения.

Две бедных тени оказались рядом,
 свое соседство осознать не в силах.
 Потерянно бредут по автостраде,
 проложенной по бывшим их могилам.

Почти что растворяясь в лунном свете,
 бредут они, беседуют негромко...
 И фрейлина вздыхает: «Дети, дети...»,
 и чертыхается матрос: «Потомки...».

* * *

В Мариенбурге не сойдемся никогда
 под Гатчиной... Да мы и не бывали
 на стареньком трящемся вокзале,
 не ждали поезда... Вернее, поезда
 нас проносили мимо кособоких,
 резных уродин позапрошлых лет.
 Два этажа, ватерклозета нет,
 и пляшет комарье под караоке.
 ...Люблю в Мариенбурге вечера
 не рано, нет, но не сказать, что поздно.
 Окно открыто в сад, сомлели розы,
 уходит надоевшая жара.
 Я белый китель вижу (о, повею
 кому?..) и сердце бьется в напряженье...
 Но электрички свист, ее движенье
 сбивают ретро-чувства в сладкий крем.
 В Мариенбурге плакать не дано,
 в Мариенбурге сыро, то есть – зябко.
 Геранью светится для должного порядка
 в Мариенбурге каждое окно.
 Ты никогда не встретишь там меня.
 Мне легче: никого я там не встречу.
 В Мариенбурге выдуманный вечер –
 сырая тень болотного огня.

* * *

Город, отмеченный литературой.
 Каждая часть – из какой-то книги.
 Сад ли зеленый, дворец ли бурый,
 храмы ль каких иностранных религий.

Даже фонарь на мосту Храповицком,
 даже обитель умалишенных...
 Неумоимо шуршат страницы,
 неумолим переплет запыленный.

Свечка, горящая в медном шандале...
 Полночь... У дома такси тормозило...
 Пили вино и свечу задували...
 Плакали... Утро за шторой сквозило...

Пьяный актер... Белошвейка... Какому
 веку припишем банальность сюжета?..
 Может, случается все по-другому...
 Только не с нами... Не в городе этом.

* * *

Дом расселен и пойдет на слом,
 века ровесник, доходный дом.
 Дощатый крест на парадных дверях,
 ветер посвистывает в фонарях.

«Я белошвейка, из самых простых,
 на чердаке среди кружев чужих.
 Герань... Чахотка... Голубь в окне...
 Смерть запыхалась, поднявшись ко мне...»

«Я бриллианты в подкладку зашил,
 всех растерял я и всех позабыл...
 Но цвет петербургских покатых крыш...
 Потом – Гельсингфорс... Женева... Париж...»

«Ночью холодной (не помню числа)
 я не спала, я сидела, ждала...
 «Вам телеграмма», – голос чужой.
 Шаги на площадке... Это за мной...»

«Мне было шестнадцать... Осколок влетел...
 Я на Петроградской попал под обстрел...
 Я мамину шубу сменяла на жмых...
 Мы выжили трое... из десятирех...»

И гулкое эхо ушедших годов
 Все кружит и бьется в колодцах дворов
 Угрюмого дома... А в комнате голой
 Все плачет невидимая радиоло.

КУТЕЖ В ДУХЕ ПИРОСМАНИ

Душа ни на миг не становится старше,
и, внешним приметам не веря,
о, спойте, как встарь, мне погонщик, фонарщик
под бархатным небом Иверии.

По черной клеенке – что может быть проще! –
белила с лазурью, да охра.
Наполните чаши, паломник, извозчик,
чтоб память в сердцах не засохла.

Звезда над духаном восходит хмельная,
и песня восходит к вершинам.
Словами прощания я нарушаю
застолья обычай старинный.

Что делать, я к этой земле прикипела,
что делать, я вас полюбила.
Что делать, Важа, мне, скажите, Пшавела,
что делать, Нико и Далила?

Когда нас доводят до самого края,
когда мы и сами... Но может,
на белую скатерть кувшин водружая
с вином кахетинским, продолжим

застольную песню, которая старше
и выше всех счетов и рангов...
Извозчик, фонарщик, погонщик, духанщик,
художник, поэт, иностранка.



ВЕРНИСАЖ

СОЛО ДЛЯ КИСТИ В НЕБЕСНОМ СВЕЧЕНИИ

Мир художника – это чудотворная лаборатория, где сотворяется и утверждается жизнь. И определение мастера – не титул, не приговор, а болезненный процесс превращения времени в самодвижение вещей, принадлежащих только ему одному. Несокрушимая жажда находить «вещи, скрытые в тени естественных предметов» – не техническая процедура, а проекция новой духовной позиции на творческий процесс. Дух саморазвития беспредельно властвует в пространстве... В своей речи «О достоинстве человека» Пика делла Мирандола заявлял: «Бог создал человека для того, чтобы он стал собственным скульптором – сотворил самого себя».

У замечательного петербургского художника Бориса Пономаренко этот человеческий статус проявляется в каждом жесте его гипнотической кисти. Монументальная симфония, пережившая эпохальный метаморфоз, предопределила лирико-драматическую, до бесконечной глубины прозрачную архитектуру его живописных полотен и утвердила безграничное господство вневременных истин, убегающих от «цеховой», не побоюсь дефиниций, «сословной» заданности и корпоративного герметизма.

Способы извлечения скрытой страсти и божественной тайны у Бориса Пономаренко настолько органичны и естественны, что не требуют дополнительных усилий для пленения даже искушенного зрителя. Его пейзажи: «Собор. Касимов» 1996, «Станция. Торгау» 2000, «Октябрь. Фонтанка. Листопад» 2004 – пронизаны возвышающей, антигравитационной небесной силой, создающей свечение изнутри. Это не что иное как физиологическое ощущение нашего присутствия в происходящем, изумительное порабощение светом и линиями, уводящими в духовный микрокосм несомненного мастера.

Географическая широта творчества Бориса Пономаренко сопрячана его неодолимой энергии познания мира, стремлению обнажить «скрытую под покровом природу», открыть для себя «убежища истины». В этом бесконечном самоутверждении он удачлив, потому что отмечен особым даром останавливать чудные мгновения, чтобы любить, продолжая их движение своей светящейся кистью.

Соло, которое исполняет Борис в виртуозном каприччио петербургских художников – великолепное сакраменто неисчерпаемой глубины, духовности и доброты. Природа этого звучания родникового происхождения. И как все большие течения в России, она берет начало из истоков великой русской ментальности.

Эта природа – чистая правда, подлинное мастерство. А подлинная правда о вещах открывается тому, кто владеет методом их создания. Именно в поисках художественной правды вполне сознательно создает свой метод Борис Пономаренко. Именно ради правды он пишет «Портрет Флориана», 1993, ничего, кроме правды и в его глобалистском полотне «Сублимация флоры и фауны», 2005, и в конфуцианском эгегическом «Чилине осеннего листа», 1999.

Пономаренко волшебник, вынимающий из ограниченного плоскостного пространства настоящий предмет большого искусства. Он всеяден: пейзажи, натюрморты, портреты, эмаль, витражи – его кисть не гаснет даже в эпоху тяжелых перемен, она пропитана божественной краской неба.

Эти прикосновения к высокому позволяют ему еще тоньше ощутить глубину реального. Мир противоречий не угнетает в нем мыслителя, наоборот, внутренняя речь художника превращается в метр, в мелодию, наполненную лирическим содержанием пережитого. Эта речь – поэзия. Катарсис. И люди с обостренным чувством прекрасного идут на звуки его музыки.

Полифоническая природа стихов и песен Бориса Пономаренко от того же Всевышнего благословения, которое он получил как художник. Борис заставляет нас не удивляться универсальности его таланта, а принимать нашу собственную сопряченность его индивидуальности как благодать. Этот неповторимый, необъятный мир истинного Художника надевает наши души изумительным ощущением полета слова и кисти в небесном свечении.

Л.Е.Н.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Татьяна ДУПЛИНСКАЯ

МИХАИЛ, КНЯЗЬ БЕЛОЗЕРСКИЙ, или ВОЗВРАЩЕНИЕ АГНИИ.

Повесть о первых Ростово-Белозерских князьях

ГЛАВА VI

– Ох-ти, лихо-лишенько! – причитала мамушка Настасья, пригорюнившись у ложа отроков. – Ведь уже на поправку шел...

– Почто рыдаешь, моя мати? – радостно прокричал нежданно-негаданно возникший на пороге весь в дорожной пыли Михаил. Он только что у крыльца палат соскочил с коня. Лицо его снова было разгорячено долгой ездой и летним солнцем.

Вместе с княжичем вошли довольный возвращением Михаила Глеб Василькович, Демьян и воеводы, бывшие в то время во граде: Мстислав Никитич, Онисим Скоробогатый, Лукьян Малина. Вошел и вернувшийся из поездки Антон Городня.

Что и говорить – недолюбливал князь боярина Мстислава. Чужл: недобрый тот человек. Но ведь не пойман – не тать. Богатством же своим боярин соперничал с самим князем, а потому и от народа почтения к себе требовал такого, кое было положено только князю.

Кроме князя с сыновьями, подошедшими к одру вплотную, остальные, скучковавшись, остановились на некотором отдалении от постели. Роман по-прежнему лежал с закрытыми глазами. И только вежды* его время от времени подрагивали. Демьян взял его длань в свою руку: она была холодна. Василий же, напротив, метался в трясовичном** бреду и выкрикивал никому непонятные обрывки фраз: «Птица... бу.ря... ост... ро... во... Ала... тырь...»

Неожиданная повторная студеница отрока, уже за седмицу до сего дня разгуливавшего по двору и чинно беседовавшего с детьми боярскими, у многих из челяди вызвала недоумение, различного толка пересуды и сочувствие семейному горю князя.

Князь и двое сыновей – Демьян и Михаил – встали на колени меж ложами княжичей; мамушка Настасья, лекарь Захарий и постельничий Григорий в отсутствие князя решили, что отроков лучше разделить на одрах: слишком разными болезнями страдали они.

Никто из присутствующих, занятых мыслями о страданиях невинных детей, не заметил довольной ухмылки Мстислава Никитича, мелькнувшей у него на губах и юркнувшей в бороду. Только боярин Онисим случайно увидел, как довольно погладил свою смоляную с проседью бороду боярин Мстислав, но слишком далек был богатырь от разгадки новой необъяснимой болезни княжичей.

– Что? Что ты сказал? – расслышав бормотание Василия, весь напрягся Михаил. – Птица-буря? Остров?

* Вежды – веки.

** Трясовица – лихорадка.

Боярин Мстислав насторожился: «Неужто глуздырю сему ведомо о колдуньях из веси?»

– Паки рцы*, паки! – тряс младшего брата Михаил, схватив за плечи и приподняв с одра.

– Оставь его, сыне! – попытался отстранить княжича от болящего Глеб Василькович.

– Погоди, отче! Може, zde кроется разгадка последних наших злоклучений! Я тебе ведь паки ничего не говорил о своей второй поездке к веси...

Тут вмешался Захарий. Он сложил руки на груди и умоляюще запричитал:

– О господине! О княжичи! О боляре! Оставьте немощных, оставьте, Христом Богом прошу! Я извещу тебя, господине, – обращаясь к князю, продолжал травник, – егда можно будет повидать их. А теперь прошу вас всех – уйдите! – и он бросился на колени перед вошедшими.

– Уходим! – приказал Глеб Василькович.

Последним покинул горницу Мстислав Никитич: всем видом выказывал он безграничное сочувствие к несчастным отрокам. Задержавшись у ложа Василия, он тщательно расправил изголовник, погладил складку на атласном покрывале.

Глеб Василькович невольно подметил и запомнил сию нарочитую заботливость: «Почто я мысли грешные допускаю у себя супротив Мстислава? Ведь он чадо мое тогда от медведицы спас?» Но что-то в поведении боярина не вязалось с той внутренней духовной чистотой и спокойствием, кои в случае сем должен был бы он излучать душой своей и зримый след которых неизбежно отражался бы на лице его: Мстислав Никитич старательно прятал от князя под лохматые брови бегающий взгляд маленьких глаз.

И князя вновь начали одолевать сомнения.

Рассказ Михаила о поездке к племени веси и строительстве погоста князь Глеб вместе с Демьяном вслушивал в своей любимой охотничьей палате. Здесь они беседовали втроем при зажженных свечах и изредка мерцающих за окнами звездах. Зверинные шкуры, разостланные по столцам**, развешанные тут и там, мягко приглушали их и без того тихий разговор.

Сперва Михаил рассказал о том, что дела с погостом обстоят как нельзя лучше. Детинец и все части городицы укреплялись, предполагалось поставить осмь четырехугольных костров*** и деревянную церковь Крещения Господня с подземным ходом, рытым тайно, по ночам, и ведущим в лес. Покои для иеромонаха Феогноста на всякий непредвиденный случай отвели при храме. Городище обнесли вром и начали накатывать вал.

* Рцы – говори.

** Столец – стул

***Костер – сторожевая башня.

Решено было, что вся спира Филиппа Хоти во главе с ним самим будет теперь неотлучно находиться в Детинце, исключая дни охоты. Многие языки крестились добровольно, некоторых пришлось крестить силой.

Князь слушал рассказ сына, довольно кивая головой, и, только когда Михаил стал говорить о том, что некоторые из языков разбежались по дебрям, меж бровями его пролегла узкая поперечная складка: сие означало продолжение рата. Когда же княжич стал описывать свои злоключения в землянке колдуньи, лицо князя стало мрачнее тучи.

– ...И ведаешь, отче, яко сляка-чародейка заговаривала мя теми же словесами, кои выкрикивал на одре болящий Василий!

Демьян ударил себя кулаком в чело:

– Так ведь сие означает...

– Врсноту! – договорил за него Глеб Василькович.

И все трое замолчали, потрясенные страшной догадкой.

– Тако! – первым нарушил молчание князь. Сын-овья ждали его слова. – Сие означает, что один из подданных повалился супротив рода нашего пако-сти строить, дабы извести семя наше, семя Рюриково.

Демьян и Михаил закивали головами.

– Имею я, чада драгие мои, едину догадку о тате, иже затевает свою, яко диавол воплотить хочет, цель его – завладеть Белозером!

Демьян и Михаил понимающе смотрели на отца.

– ...Имя его пока называть не стану: не пойман – не тать! Но ведать теперь будем, что на нас, Рюриковичей, ловитва идет. Бдите, чада мои! не доверяйте зело воеводам, окромя Антона Городни, пес-туна твоего, Михаиле, Онисима Скоробогатого...

Михаил и Демьян переглянулись: из неназванных отцом воевод осталось двое: Лукьян Малина и Мстислав Никитич. Кто из них мог оказаться мятежником? Филипп Хотя исключался по понятной причине: он находился в Детинце. Двое... Кто из них? Вопрос сей просто располовинил головы княжичам. Но только время могло показать, кто есть кто...

Онисима Скоробогатого князь назначил телохранителем Демьяна... Зачем великовозрастному женатому князю, который к тому же имеет верного меченосу, еще телохранитель? Давнишнюю вражду с поляницей* из-за красавицы Вассы хотел загасить князь, приблизив к себе былого соперника своего?

– Тако, – продолжал князь-отец, – заутрие я изьявлю всем свою волю касаемо Онисима...

Демьян возликовал: теперь его спира будет самой большой во граде! А вдруг отец усиливает его потому, что хочет со временем сделать наследником княжества? Но тут же вспомнив, что знаменитая на всю округу повитуха некоторое время назад осмотревшая супругу его, бесповоротно изрекла, что наследника ему не видать и что не Наталия тому причиной, а он сам, – поник. О, ежели бы дело было в его супруге он давно упросил бы епископа Ростовского Игнатия дать благословение на расторжение церковного брака и женился бы на другой, хотя и любил он женушку свою

* Поляница – богатырь, богатырка.

более себя самого... Но ведь дела государственные куда выше любви!

– А тебе, Михаиле, я даю две седмицы для отдыха, – прервал размышления Демьяна отец. – Послежде поедешь к братаничу моему старшому, Великому князю Ростовскому Борису Васильковичу и епископу Игнатию, на озеро Неро, с поручением.

«Вот и епископ Ростовский, – подумал Демьян, – да не про мене! Опять Михайло! Все он! Ненавижу! О! Да что же это я! – спохватился вдруг он. – Сгинь, лукавый! Сгинь! Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя! Свят! СвяФ! Свят! И яко же мог я такое о братаниче своем измыслить? Несть его вины в бесплодстве моем! То – воля Божия! Помози ему, Господи, на пути его! А мне даждь терпение и смирение безропотно принять крест свой!..»

– А теперь, Демьяне, отдыхай! Мне с Михаилом надобно обсудить предстоящую поездку.

Демьян насупил, но с уважением поклонился отцу в пояс и вышел.

– Почто ты, отче, отправил Демьяна? Ведь он же не аспид*, кий ужалит тебя в пятую?

– Несть. Обаче боюсь я, сыне, яко по зависти, коя имеется у него, испортит он может тебе поездку, а мне – задумку. Егда отсылаю тебя куда, словно душу из тела вынимаю! Ан надобно, сыне! Един ты у меня, надежа. Займи-ка вон тот столец – говорить будем.

Было далеко за полночь: объезжие головы** по всему граду кричали, чтобы гасили огни. В конце концов горящими в Белозере остались лишь три окна в охотничьей палате самого князя, по стенам которой чуть колыхались тени хозяев, где в углу не замечаемая ими едва поднималась в такт дыханию притаившегося там человека гора медвежьих шкур.

Вот и макушка полного лета***. Утреннее солнце зарева**** просушило росу на пышных травах и, когда повисло высоко на ярко-синем небосводе, княжич Михаил решил, что поедет отдыхать на своем Верном на берег Белого озера. Быстро остались позади крепостные стены града. Конь раздвигал мордой и грудью высокие, почти в рост человека нетронутые косами травы.

«Какое буйство природы окрест!» – восхищался юноша. Сочные алые кисти рябин соседствовали с неосыпавшимися еще цветами шиповника, пусто-дуи-одуванчики рассылали по воздуху свои семена. То тут, то там попадались на глаза огромные заросли черники с крупными ягодами, размером своим более напоминавшие завозимую купцами из полуденных***** земель черешню, нежели скромные лесные дары. Местами из-под наклоненных ветвей маленьких елочек или густого изумрудного мха выглядывали гордые подберезовики, подбоченившиеся боровики, а на солнечных островках полянок толпились семейки маслят.

Михаил решил спуститься к озеру, подальше от града, а потому пришлось ему пробираться не только сквозь густые заросли одолень-травы, но

* Аспид – змей.

** Объезжие головы – ночные сторожа в городе.

*** Полное лето – в Белозере это период от середины июля до середины августа.

**** Зарев – август.

***** Полуденные земли – южные страны.

и цепкую паутину кустарников. Повсюду клены, вяза, сосны сплетали причудливые узоры из ветвей и листвы.

И вот оно – озеро. Его серовато-голубоватая гладь уже просвечивает меж деревьев. Верный заметил шаг и стал спускаться к озеру узкой едва заметной в высокой траве тропкой. У самой воды, на песчаном пятнышке берега, Михаил спешился. Зело хотелось ему ощутить блаженство от соприкосновения молодого разгоряченного тела с прохладной тихой водой. Он разделся и с разбегу бросился в прозрачную стихию, тут же сомкнув за его спиной струи-крылья. Отплыл подальше, лег на спину, подложив руки под голову, и начал покачиваться на прозрачной постели, словно маленькая ладия. Он наслаждался одиночеством.

Под ним ходили косяки рыб, и, перевернувшись на живот и опустив лицо в воду, он видел все до самого дна: островерхих осетров и тучных судаков, полосатых щук и стерлядок с целым выводком мальков, снующих меж водорослями...

Подняв из воды руку, княжич поманил коня. Тот тихонько заржал и поплыл к хозяину, довольно отфыркиваясь. Михаил ласково потрепал его по холке и некоторое время вместе с ним кувырчался в теплых волнах озера, а потом, легонько стукнув животное ребром ладони по шее, направил в сторону берега.

Обратно княжич поднимался пешком, ведя коня под уздцы. На вершине яра решил он присесть ненадолго, дабы оглядеть озеро: когда-то еще удастся ему насладиться тишиной сей чудной лесной обители, отстоящей в стороне от шумного мира, где надо постоянно бороться со злом, дабы оно не победило тебя.

Пригорок из сухого мха, на который опустился княжич, словно перина покачивает его. Взгляд юноши блуждал по лесным травам, кустам, пока не задержался на растении, усеянном красными волосками-железками, поблескивающими в лучах солнца. Едва незадачливый комар или любопытная муха, позарившись на сверкающие, длинные, собранные от корня в пучок листочки, сажались на них – капельки липкой росы обволакивали и полонили* несчастное насекомое.

«Росянка, – мысленно отметил Михаил. – Чуден Бог в творениях Своих. Вот и мы, аще не будем мудры аки змии с татарами – влипнем в их сеть поганую! Яко мухи влипнем! Одолеет нечисть степная! Ну, а ежели польстимся на речи их сладки, да уговорам поддадимся, веру предав, – не устоять Руси! Напьемся отравы, яко скнипы и уснем. Верой истинной, неблазненной** мы токмо и стоим доньне...»

Верный заржал, напомнив всаднику, что пора возвращаться назад.

– Помни, сыне, – наставлял княжича на дорогу Глеб Василькович, – что внук ты князя Василька Константиновича, иже предпочел умереть нежели огню – идолу татарскому – поклониться! За что и был ими в лесу Шеренском, близ Кашина, умучен да за ребро подвешен. Тако токмо языцы и могут поступать... За веру нашу стой крепко! Всякое дело наперед молитвой освящай и благословением Церкви. Ну, помнишь поручения мои? – князь испытующе заглянул в глаза сына.

* Полонить – взять в плен.

** Неблазненная – без соблазна, без уклонения в ереси.

– Помню, отче, помню! – кивнул Михаил.

За время, прошедшее от начала его первой поездки к веси, княжич подрос, окреп духовно и телесно и доставать стал отцу теменем до бровей. Радовался сему вельми Глеб Василькович.

– Грамоты на харатии*, что со знаменами** дал я тебе, в пуще зениц очес твоих береги! Пятьдесят мечей сопроводить будут тебя по большаку, а то по дорогам кочевники да разбойники рыскают, аки волки хищные. В уговоренном месте пересядете на ладии. И вернись, сыне, живой и здоровый. Тебе после же мене править! Храни вас всех Господь!

Глеб Василькович обнял сына и едва ли не впервые в жизни заплакал.

Проводы на сей раз были нешумными и немногочисленными, дабы не привлекать лишнего внимания недругов. Один выехал князь на коне, прикрытом теней попоной, за стены града, сопровождая сына со спирой всадников и долго-долго глядел вслед удаляющимся воям, пока ночная мгла не поглотила их.

И снова, как обычно, пошел с Михаилом в поход умудренный в ратях, не единожды раненный, до глубины души преданный княжеской семье Антон Городня.

А в самой верхней башне терема на песчаной горшке мелькали зажженные светочи – маячили кому-то в ночи.

– С Богом, княже! – дотронувшись до десницы юноши, сказал Городня.

– С нами Матерь Божия и вси святии! – отвечивал княжич, крепко пожав руку боярина. – Далее едем молча до самого схода к воде! – велел он, повернувшись к воям.

Пятьдесят всадников с готовностью прижали щиты к конским гривам, а мечи к чреслам; слышалось лишь тихое позвякивание уздечек.

Луна, поднявшись высоко, удлинила тени в два раза против прежнего. Сквозь Перунов путь*** неярко светили игольчатые звезды. Конь Антона Городни шел обок с серым в яблоках Верным.

– Князь велел нам на двенадцатой**** верстве свернуть к Шексне. Тамо ждут нас четыре шнеки***** для лошадей и три ладии для воев. Под парусами пойдем до Ярославля, – вполголоса передавал Антону Городне распоряжение Глеба Васильковича Михаил.

– А ну, стой! Тпр-рр-у-у-у!!! – подле самого поворота к реке, когда уже кони раздували ноздри от близости воды, перед спирой княжича возникли десятка три вооруженных мечами и секирами человек.

Царица ночи вышла из-за облаков и осветила недобрые, заросшие щетиной лица со сверкающими белками глаз.

– Стоять! Сто-о-я-ять! Кому гужу!!! Хрен вас побрал! – вперед на дышащем яростью огромном иссиня-черном жеребце с лохматой гривой соломенного цвета выскочил богатырского телосложения всадник. Половину лица его скрывала тугая повязка. – Тебе гужу, молокосос! – обратился он к Михаилу.

* Харатия – кожа, пергамен, приготовленный для письма.

** Знамено – клеймо, печать.

*** Перунов путь – Млечный путь.

**** Двенадцатая – двенадцатая.

***** Шнеки – плоскодонное судно

Конь незнакомца, косил на княжича из-под упавшей на морду челки блестящим глазом, рыл землю передним копытом, весьма походя при этом на хозяина своего, злобным обличьем более напоминавшего какого-то зверя или страшного лешего из сказки мамушки Настасьи, чем человека, созданного по образу и подобию Божию.

Спира Михаила остановилась.

– Ты кто таков? – спросил одноглазого княжич.

– Я-то, шенок?! – обозлился тот и обратился к своей братве за поддержкой.

– Ха-ха-ха! – те дружно, почти по-лошадиному заржали, обнажая гнилые зубы или вовсе беззубые рты.

– Я-то? – повторил одноглазый и самодовольно ткнул себя кулаком в грудь. – Я-то – Федька Плесень! Чай, слыхивал!!! Разбойником мене называют...

Михаил слегка побледнел. Вестимо, слыхал он про беглого головника, коего разыскивали нарочно посланные князем Глебом в разные места Белозерья маленькие спiry воев. Но сколь же раз находили княжьих воев повешенными на сучьях дерев или просто с отрубленными головами, и всегда в таких случаях к одеждам воев приколот был кусок бересты, на котором безграмотно и коряво было выведено: «ПИСНЬ»... Федька продолжал:

– ...Бежал из Кубенского монастыря, куда отправлен князем /будь он проклят!/ за удаль молодецкую да гулянья с девками, а то паки за изб поджоги... Тако... от безделья. Ну, дрожись теперь? – приметив бледность Михаила, довольно прогрохотал разбойник. – А уж коли мене заплатят гривнами, златом али кунами – так хучь самово князя, али сына его, Михаилу, зарежу! Я его дюже ненавижу!

– Почто же ты его ненавидишь? – выступил вперед, загораживая собой княжича, Антон Городня.

– А... ненавижу... – тупо, совсем по-бычьей мотнул головой беглый. – Поелику плату добрую мене за него обещали! Мене да разбойничкам моим! А ты кто таков еси, яко должон я пред тобой ответ держать? – вскипел вдруг одноглазый. – И уж не вас ли нам сретить велено да пожарче? А-а?

Остальная братия, бряцая оружием, стала смыкать вокруг спiry кольцо.

Покуда боярин выяснял отношения с разбойником, княжич, напрягшись, призывал на помощь Божию Матерь, всех святых, Агнию: предстояла крепка сеча с разношерстной, но видимо дружной и дерзкой шайкой, ради денег готовой на все.

«Негоже мене, княжичу, пред воями моими малодушие выказывать! В рати сей командовать буду я и несть кто иной!» – Михаил решительно выдвинул Верного вперед, отстранив за плечо боярина Антона:

– Оставь, болярине Антоне! Я тот, кого вы ищите. Отат самый княжич Михаил! И я, княжич Михаил, объявляю тебе рать!

– Ну, коли так, – радостно загоготал Плесень: с этим-то глудырем он расправится в один миг, – Держись! Ишь ты! И врсноту княжич! А я корзна-то не разглядел! Ха-ха-ха! За мной, братва! – и высоко подняв тяжелую секиру, разбойник бросился на Михаила.

– Не в силе Бог, а в правде!!! – во всю мочь выкрикнул слова сродника своего князя Александра Михаил. И обнажил небольшой, но хорошо закаленный булатный меч.

– С нами крестная сила! – Антон Городня ринулся вперед, загораживая собой юношу.

Завязалась сеча. Федька Плесень рвался к княжичу, выпучивая глаза для устрашения противника, и всячески пытался зацепить его багром за кольчугу. Но перед ним постоянно вертелся плешивый расторопный боярин, готовый, казалось, животом своим пожертвовать ради мальчишки.

А спереди, сзади и сбоку ломались копыя, мечи, падали люди.

Неожиданно Михаил изловчился, и в тот миг, когда Антон Городня отвлек на себя внимание главаря наемников, поразил Федьку Плесень мечом под самое сердце. Заметался разбойник, ухватившись за вонзенную в грудь рукоять, и – рухнул на землю.

Оставшись без главаря, разбойники обратились в бегство. Княжьи вои преследовали их, пока не пал последний из них.

На утоптанном копытами поле остались раненые и утнутые разбойники да семь гридной князя.

Спуск к реке был усеян телами погибших, раненым в плечо оказался и Антон Городня.

– Захороним утнутых, возьмем с собой раненых – и в путь! – приказал Михаил.

Еще и солнце не встало на востоке, а княжеская дружина уже погрузилась на суда, ожидавшие их недалеко от места брани. Попутный ветер понес их по Шексне в Волгу... И вот уже вдалеке виднеются золоченые купола Ярославского Кремля и зубцы крепостных стен.

Встреченные судами-посланцами князя Феодора Ростиславича Ярославского, по прозвищу Черный, ладии и шнеки белозерцев препровождены были на место стоянки.

По широкой лестнице из палат навстречу гостям спускался сам князь в окружении воевод, супруги своей Марии – дочери ярославского князя Василия, внучки Всеволода Константиныча и дочери Олены, русоволосой, тонкой, подобной свече...

«Се она та самая дева, что видал я в Белозере, егда в первый раз возвращался от веси! И те же длинные золотистые ресницы! Она! Ее невозможно спугать с иной какой...», – думал Михаил, ступая по разостланным коврам.

Княжна при его приближении так же, как в первый раз, когда они случайно встретились, стыдливо опустила глаза.

Хозяева и гости остановились на площадке наружной лестницы терема.

– Узнаю Глеба Васильковича в сыне его! – хлопая юношу по плечу, радостно трубил мощным гласом очень красивый, черноволосый и синеглазый князь Феодор. – Моя супруга – Мария, дщерь Олена...

Девушка до самых корней волос залилась ярким румянцем.

«Она – любви моя! Будет супругой моей!», – не раздумывая решил Михаил.

Княжна была прекрасна – светлоглазая, с пшеничной косой до пояса; длинные золотистые, время от времени подрагивающие ресницы и дугообразные брови придавали ее лицу выражение совершеннейшего целомудрия и сердечной простоты. Боязливо подняла она на княжича прозрачные, подобно голубизне небес, очи, и у Михаила бешено заколотилось сердце. Во что бы то ни стало надо было добиться от

княжны ясного ответа: «да» или «нет». А для этого нужно было остаться с ней наедине. В сопровождении боярина Антона и четырех гридней прошел княжич за семьей хозяев в трапезную.

– Ну, гости дорогие, куда грядете и почто? – спрашивал их Феодор Ростиславич то время как дворецкий* разливал грожджевое** вино в братины и ендывы хозяев и гостей, а остальные слуги подавали брашна, в том числе цеж с сытою***.

– В Ростов, – как главный ответствовал Михаил, незаметно поглядывая на Олену, – к Великому князю Борису Васильковичу да к епископу Ростовскому Игнатию с вельми важным поручением.

– Ну, что же. Бог в помощь вам, сроднички**** дорогие! – благословил князь Феодор и, заметив взгляды, бросаемые Михаилом в сторону Олены, добавил: – А младые могут после ужина выйти осмотреть град и окрестности, дщерь моя, хоть и скромна зело, но отцу своему не откажет в услужении дабы гостя честнаго порадовать!

Князь ярославский давно мечтал породниться с Белозерским князем и решил, что наступил подходящий момент, дабы познакомить молодых.

Михаил и Олена еще раз обменялись краткими испуганно-выразительными взглядами, в которых смешивались и желание, и боязнь остаться наедине.

– Ну же, ну! – подбодрял князь Феодор юношу и девушку. – Отведаемте брашен – займитесь осмотром окрестностей. Зде у нас тихо. Татары не шалят. Олонесь***** были ханские баскаки*****. Зело много взяли. В сим году, видно хан повелел, были недавно, взяли, однако ж, в меру. До грядущего лета не придут более... Поко для отдыха всем, приехавшим с тобой, отведа, княже... И проводи четь по чести устрою. Провожатого дам. Гридни твои, Михаиле Глебович, столоваются в гриднице*****. Ну, а теперь за вас, гости дорогие, гости редкие! Наливай, дворецкий, да вели подвальным, дабы самое лутшее вино доставали...

Княжич Михаил пил зело мало, понимал, что действует хмельной напиток на молодую голову – тут и до греха недалеко, а ведь он должен четью Олену за себя взять. Никак не мог дожидаться он времени, когда к месту было бы встать из-за стола и попросить девушку пойти с ним куда-нибудь в цветницу*****, за стены града. Оба они – и княжич, и княжна – бросали друг на друга осторожные и вместе с тем любопытные взгляды.

– Дщерь моя, – обратился, наконец, к Олене князь Феодор, возьми с собой другиню твою, боярышню Марфу, и можете выйти из палат.

* Дворецкий – слуга, в обязанности которого входило разливать вино для стола.

** Грожджевое вино – виноградное вино.

*** Цеж с сытою – восточное блюдо – кисель с разведенным медом.

**** Сроднички – князь Феодор Ростиславич, прежде князь Можайский, Смоленский состоял в родстве с Белозерскими князьями по линии Владимира Мономаха.

***** Олонесь – в прошлом году.

***** Баскаки – сборщики дани.

***** Гридница – комната дружинников.

***** Цветница – луг.

Княжич и обрадовался, и огорчился. Обрадовался возможности исполнения заветного желания своего оказаться рядом с возлюбленной, огорчился – недоверию князя Феодора.

– Болярине Антоне, – склонился он к уху Городни. – Ты мене зде за отца – благослови с девою разговор о посаге* завести.

– Бог тебя благословит, сыне! – встал из-за стола боярин. Княжна снова вспыхнула ярким румянцем и велела позвать боярышню Марфу.

– Четью своею клянусь! – пылко воскликнул юноша. – Не нанесу я дщери твоей и тебе, княже Феодоре, обиды кровной! Отпусти нас вдвоем с княжной...

Гости за столом притихли: не приняты были такие вольности в кругу боярском.

Феодор Ростиславич внимательно посмотрел в большие глаза Михаила. «Отец, яко есть отец, Глеб Василькович, так же прям и честен...» – а вслух сказал: – С Богом!

Княжич Михаил шел позади, пропуская вперед княжну. Оба чувствовали себя настолько неловко и робко, что покуда проходили вдоль уставленного узорочьем** и яствами длинного дубового стола дважды, по очереди задевая, роняли на пол кубки с вином.

– На счастье! – каждый раз кричал радушный хозяин, широко улыбаясь и тем приводя юношу и девушку в еще большее смущение.

Вот наконец ступени, ведущие вниз... Но почто же им обоим – Михаилу и Олене – не унять дрожь? Они спускаются по лестнице, устланной коврами, не глядя друг на друга; сердца колотятся так, будто намереваются выскочить наружу. Юноше и девушке мнится, что идут они слишком медленно, что никогда не покажутся градские ворота с перекинутым через ров мостом...

Тук-тук-тук... – гулко отдается в груди.

Тук-тук-тук... – откликаются каблук сапог и выступок***, стуча по деревянному настилу одного из боковых концов**** града. Неть, сие никогда не кончится!

Горожане, попадающиеся навстречу раскрасневшейся от волнения княжне и незнакомцу в княжеском корзне, – по-видимому, приезжему князю – кланяются до земли и провожают их долгими, внимательными взглядами. Ну, вот, наконец, один из боковых костров. Стражник издалека заметил приближающуюся в ярко-голубом саяне***** девушку и юношу в алом корзне. По знаку княжны на засовы тяжелых, окованных железом врат налегли трое дюжих молодцов – и вот она, свобода!

Впереди, насколько может охватить взгляд, – широкая цветница, усеянная великим множеством полевых цветов, а внизу, за пестрым бугром – уходящая до края земли и теряющаяся в небесах дымчатая кромка леса. Дали такие, что дух захватывает! И нерешительность двоих, оставшихся наедине с простором и друг с другом!

Прошло некоторое время, прежде чем княжич осторожно, дабы не вспугнуть целомудренную красавицу свою, дотронулся до ее нежных

* Посаг – брак, свадьба.

** Узорочье – золотые сосуды, изделия, статуэтки.

*** Выступки – кожаные туфли без каблучков.

**** Конец – улица средневекового города.

***** Саян – сарафан на пуговицах донизу.

пальчиков и взял ее руку в свои длани. Она, словно пугливая лань, несмело подняла на него огромные, прозрачные глаза... Только на миг...

– Не бойся мене, краса-девице! – нетвердо залепетал княжич: язык не слушался его. – Я видел тебя прежде! Сии пушистые ресницы...

Княжна молчала.

Михаил понял, ежели он, юноша, тотчас не разговаривает девушку, то не видать ему ее более никогда.

– Не молчи, зорько моя ясная! Цветик мой алый! Умоляю! Хочешь, на колени встану пред тобою, любя моя!..

Девушка зарделась словно цвет маков.

– Не причину я тебе зла! Верь мене! Чувство мое к тебе шире круга небесного... Оно не имеет краев... – и он развел руками, подняв их над головой и опустив за спиной, прочертив так полный круг.

Девушка смущенно взглянула в его лицо, и глаза их снова встретились.

– Верить ли мене, краса-девице?

– Верю, княже, – впервые прошептала княжна. – А видал ты мя прежде, егда раненный в град Белозере возвращался...

– Киим же образом оказалась ты тамо? – продолжал юноша, воодушевленный ее тихим ответом.

– Погостевать приезжала с епископом ростовским Игнатием.

Теперь Михаил совершенно отчетливо вспомнил первую свою встречу с Агнией, возвращение в родной град и неподалеку от городницы девушку, кинувшую на него из-под длинных пушистых ресниц застенчивый взгляд...

– Тебе! Тебе! Все тебе! – Михаил бросился срывать растущие поблизости васильки, колокольчики, ромашки...

Огромный букет цветов девушка не в силах была удержать, даже прогнулась в поясе:

– Почто? Почто столько? Довольно?

Княжич остановился, перехватил у нее букет и, взяв за руку, повел дальше – в пахнувший медом и травами луг, так, что и стены града скрылись уже из виду за поросшим буйной растительностью бугром. Там усадил он ее на маленькую копенку сена посреди скошенного места на лугу и встал перед ней на колени:

– Сердце мое! Хочешь ли быть супругой моей единственной и любимой навек?

Княжна растерялась: разве спрашивали согласия девушек при сватовстве? Засылали сватов к родителям – и по рукам! Так было всегда и давным-давно и теперь.

– Согласна али нет? – не отступал княжич. – Мнение твое ведать хочу. – Он уткнул свою кудрявую голову ей в колени, чем привел возлюбленную в еще большее замешательство.

Девушка пыталась освободиться от него, встать, колтки* на ее кокошнике испуганно зазвенели, вторя настроению своей владелицы. Поняв ее боязнь, юноша поднял голову, и, устремив на нее взгляд, полный теплоты и нежности, взял ее длани в свои – крепкие, загорелые. Девушка молчала: она чувствовала себя попавшей в силос ланью. И в то же время сердце подсказывало ей: се он, твой суженый, ты должна стать супругой его, о нем мечтала ты бессонными ночами после первой мимолетной встречи в Белозере...

* Колтки – подвески к женскому головному убору.

А в Белозере меж тем события происходили необычайные и тревожные.

Завтра боярыня Васса, растрепанная, простоволосая, в ночной сорочке стояла на коленях пред супругом своим, боярином Онисимом, облаченным в боевые доспехи:

– Свет мой, Онисюшко! – умоляла она. – Не ходи супротив князя! Христом Богом прошу! Вспомни добро, сделанное тебе Глебом Васильковичем! Вспомни: ты роту* давал ему на служение верное. Ей-ей, что се за ирод совратил тебе на такой мятеж, соколе мой ясный? И чего тебе от князя не хватает: почета ли, денег ли, славы? – боярыня, задыхаясь от волнения, повалилась лицом в запыленные нечищенные сапоги мужа, пришедшего с последней ночной сходки, и принялась лобызать их. Слезы накатом перебивали дыхание боярыни, и ей все труднее было говорить что-либо внятное. Дрожь начала сотрясать ее красивые округлые плечи.

– Оставь се... супруго моя! Не твоего ума дело! Говорено тебе, что ежели не я, так иной охочий найдется! Так лутше уже я князя... того... Аще убедить удастся – може и доброй волей власть отдаст...

– Ишь ты, что удумал, злыдень! В князя метишь?! – взревела вдруг Васса пуще прежнего. От злости накупавшие слезы неожиданно иссякли: вспомнила она, что замуж не по любви вышла и сердце ее навечно отдано Глебу Васильковичу. Взревела так, что и богатырский дух супруга ее, выдавшего не одну сечу, смутился. – Князь у нас – е д и н ! И не бывать тебе на его месте! Иначе... Иначе... – Боярыня, словно защищая возлюбленного своего, подняла вверх руки, сжатые в кулаки, и слезы сильнее прежнего хлынули из ее глаз... – Ина...че, ина...че-е-е... – она продолжала угрожать законному супругу – я себя порешу...

Перед боярином Онисимом стояла уже не прежняя, покорная всегда мужниной воле Васса, а совсем незнаемая доселе бунтарка.

– Ведаю, ведаю, супруго моя любезная: любишь ты его. Достоинство мое оскорблено! – с горечью произнес боярин.

– Люблю! – с вызовом бросила Васса. – Что хошь со мной делай, любить не престану! Но тебе я не изменяла! Тебя люблю тоже! И злодеем стать не дам!

– Поднимись, супруго моя! – боярин попытался поставить женщину на ноги. – Верь, добра я хошу и тебе, и князю!

Васса отстранилась от него, гордая, не сломленная уговорами, величественная в своей правоте.

Последний козырь бросил в ход боярин:

– Уж не ты ли, свет мой женушко, иметь желаешь шелка заморские, мехов множество велие, зеркала вензианские, да чтоб не хуже, чем у княгини. И Наташе не мешало б нарядиться! – И Онисим высыпал к ногам ее жемчужные бусы, алатырь**, злато, серебро...

– Ах вот оно что! Так ты из-за... из-за... моего хотения на князя идеши? Да провались они – меха да зеркала заморские! – и боярыня, схватив круглое зеркальце в позолоченной рамке, с размаху запустила им в стену. Мелкие осколки

* Рота – клятва, присяга.

** Алатырь – янтарь.

разлетелись во все стороны, один из них оцарапал ланиту боярина.

– Поздно, женушко, поздно! – и Онисим, отерев тыльной стороной длани кровь со щеки, посадил обмякшую, зарезанную супругу на ложе и вышел из покоев.

Васса в изнеможении упала лицом в тугие бело-снежные подушки.

– Глянь-ка, глянь! – закричал один из босоногих мальчишек, спозаранку игравших в «брань с татарами» на узких улочках града с такими же сорванцами, как и он сам. Игры подобные запрещены были князем, и, ежели бы кто донес об увиденном, не поздоровилось бы игрокам и их родителям. – Глянь! Камо гридни-то едут? Чай, опять на охоту собираются?

– Не-а! – с видом знатока эхом откликнулся другой, большеголовый. – Не похоже! В доспехах-то?

И ребягня, разинув рты и позабыв об игре, вытирашила глазенки в сторону конных воев, направляющихся к княжьим палатам тремя небольшими, одна за другой, спирами. Копыта у коней обвязаны были тряпицами, так что цокот их о землю был слышен лишь на очень близком расстоянии.

Часть всадников быстро расположилась у основных выходов из покоев князя Глеба, другая растянулась цепью вдоль главной, обращенной к городу стены с длинной открытой площадкой в верхнем ярусе.

Сам Онисим с двумя доверенными Мстислава и тремя своими гриднями остановился напротив окон княжьей охотничьей палаты.

– Княже Глебе Василькович! Выдь к народу! – крикнул зычным голосом Онисим. – Говорить станем!

– Э-э-э! Несть! Мы тако не договаривались! – пытался остановить боярина один из доверенных Мстислава, восседавший на коне по правую руку от Скоробогатого, и тут же почувствовал, как острие копья Онисимова гридня ткнулось в его бок. То же самое почувствовали и девять других, верных Мстиславу людей, расставленных чуть впереди меж боярскими.

– Слушать мене! – гаркнул боярин так, дабы слышали все участники скова.

В разреженном утреннем воздухе любой звук был слышен очень далеко. То тут, то там проснувшиеся от криков горожане стали со стуком распакивать оконные ставни. Где-то за городницей проголосил встревоженный петух.

Князь Глеб в ночь сию словно предчувствуя недоброе, почти не спал, вернее, он на раздеваясь полудремал в одном из кресел охотничьей палаты... Услыша шум и крики, он поспешил выйти на опасань*.

Внизу, на торжище, перед палатами уже собирался заспанный люд, недоуменно переглядываясь, переговариваясь и позевывая.

Рассыпавшиеся цепью сковники загораживали копытами дорогу пытающимся протиснуться поближе к княжьим палатам любопытным горожанам.

– Чего угодно тебе, боярине Онисиме? – удивленно спросил сверху князь Глеб.

– Угодно, дабы власть ты свою княжью отдал по доброй воле...

– От тебя ли слышу подобные речи, слуг мой, клятву мене на верность давший?

– От мене, княже, от мене!

– И кому же должен я власть свою передать? – еще больше удивился князь.

На опасань выбежала, покрывая на ходу платком седые волосы, мамушка Настасья. Не понимая спросонок, в чем дело, она испуганно терла глаза, сиюсья разглядеть, кто внизу бунтует спозаранку.

А народу все прибывало: он стекался отовсюду – из узких городских концов и из близ расположенных торговых рядов, мясных, сапожных и других лавок, хозяева которых зачастую там и ночевали, дабы с утра не было надобности вставать рано да бегать на противоположный конец града – открывать место торговли.

– Покуда мене передашь, а уж тамо я сам разберусь, кому далее ее отдать!

И, словно в подтверждение сказанных слов, комонные угрожающе забряцали оружием.

Мамушка Настасья наконец поняла: происходит что-то ужасное – и в испуге стала жаться к Глебу Васильковичу.

– А ну, давай, спроси, брате Онисиме, хорошим, аще плохим князем я был? Сказывайте, люди! – обратился князь к народу. – Добро я вам делал али зло?

На некоторое время народ в нерешительности замер. Потом понял: князь ищет поддержки. И понеслось со всех сторон:

– Добро! Анбары свои отворял для всех в неурожайные лета...

– Никого без вины в темницу не садил!

– Э-э-э! Да что говорить! Отцом родным всем нам был! – обобщил мнения, широко разведя лопатообразными руками бородастый крупный кузнец Косма. Одними кулачищами мог бы измять он ворога не хуже, чем молотом в кузне свой металл.

– Ясное дело! – вразнойой подхватили другие.

– Э! – дернул Онисима за рукав все тот же щербатый соглядатай главного сковника. – Так можно долугзгать словами, что нас всех перебьют али узами попутают! Глянь, народу то сколь уже собралось!

– Молчать!!! – гаркнул Онисим. – Зде я командую, переигрываем все. Хошу, дабы без пролития крови обошлось, – ответил он ретивому стороннику Мстислава.

– ...ежели кликну я теперь Демьяна и кликнет он спиду свою? – крикнул с опасани Глеб Василькович, – а там и Малину, Лукьяна с Мстиславом Никитичем? – Последнее имя он выговорил с трудом.

– Демьян с супружницей спят и не проснутся дондеже действие сонного порошка не кончится. Гридни его и Лукьяна вкупе с самим Рыжебрадым* пьяны мертвецки: три дня до утра гуляли на посаге одного из малых Малины. Мстислав Никитич два дня назад у тебя же, княже, к южику** своему, в Рославль, отпросился. Почти всех воев своих с собою увел. Небезопасно, чай, на дорогах от разбойничков, – выехав из-за спины Онисима скороговоркой выпалил кто-то незнакомый князю, наряженный, однако, в одежды гридней Скоробогатого.

– Кто ты? – спросил его Глеб Василькович.

* Рыжебрадый – прозвище Малины.

** Южик – родственник.

Опасань – открытая площадка верхних ярусов в княжьих термах.

– Кое дело тебе до имени моего?! – грубо, с вызовом, ответил незнакомец. – Сдавай права!

– Сие что? – Мятеж?

– Мятеж! – нагло отозвался спрошенный.

– А ежели я не соглашусь по доброй воле власть уступить, данную мне от Бога, биться за нее стану, народ подыму... Что делать станете, мятежники?

– Ой, горе мое! – послышался в толпе голос боярыни Вассы. – Онисиме, опомнись! Да пустите же мене к князю! Пустите! – женщина пыталась протолкнуться сквозь толпу...

Кто-то запустил в нее едким словом:

– Женка Иуды проклятова...

У Вассы едва не остановилось сердце, но она рвалась вперед. Впрочем, далее цепи из восьми всадников, растянувшихся перед главной стеной палат пройти она не сумела; как только намеревалась, боярыня проскользнуть меж лошадьми – один из конных колот ее копьём. Кровь уже заливала исколотые плечи женщины, и тогда последним отчаянным криком попыталась она обратить на себя внимание супруга:

– Гляди, супруге мой, не оставишь затею свою – брошусь я немедля на копьё!

Трое женщин из толпы схватили Вассу за полы одежды, за руки – и потащили прочь. А она, растрепанная, вся в кровоподтеках и ссадинах, продолжала надрывно увещевать мужа своего, все еще надеясь, что уступит он, в конце концов, ее мольбам или угрозам.

А из толпы тем временем наблюдал за всем происходящим опирающийся на клюку сгорбленный седобородый старик в надвинутой на самые глаза шапке, в заношенном до дыр зипуне и... больших рукавицах, словно руки у него мерзли в теплую летнюю пору...

– Ну, так что же, княже, не отдашь власти? – жестко крикнул боярин Онисим и следом: – Христом Богом прошу! Ежели мене не уступишь – полки наемные недалече отсель стоят. Из бывших головников. Разбойничают нынче по большакам. Знатно платит им хозяин, вооружены ладно...

– Не должен я с тобой препираться, боярине! Аще не ведаешь ты, что власть моя от самого Бога, да через Рюрика, предка моего, дана мене и от Володимира Красна Солнышка – законная. Так нешто я тебе, супостату, аще иному кому уступлю ее? Коли нет полков моих – выходи: один на один биться будем!

Народ наконец, поняв в чем дело, начал вооружаться – камнями, кольями, комьями земли...

Почуяв неладное, заерзали в седлах сковники...

– Ну, коли тверд ты, княже, в слове твоём и в намерении и последнее сие твоё слово... – Онисим вдруг, не закончив мысли, взмахнул невесть откуда взявшимся алым флажком: – Повязать подмастерьев злодея!

Двенадцать отборных гридней бросились на десятерых, одетых в такие же, как у них, доспехи и мгновенно, почти без сопротивления посбивав с лошадей, повязали чужаков.

Толпа, не ожидавшая такого поворота событий, в едином порыве охнув, отпрянула назад.

А сгорбленный старик постарался натянуть шапку еще пониже на глаза и укрыться в народе.

– А теперь отдаю себя тебе на суд, княже! – Онисим спешился, встал на колени прямо посреди торжища, на том самом месте, где он только что воссе-

дал на коне со знаменем своей дружины. – Казни мя, яко правда твоя еси, и власть твоя законна! – и он положил шлем на землю и покорно опустил русую голову.

К ногам его бросилась вырвавшаяся из рук сдобольных горожанок в разодранном саяне, просто-волосая Васса и легла рядом с ним на землю, положив голову на его колени. Тяжелая богатырская рука ласково прикоснулась к волосам любимой, но не любящей супруги...

– На суд! На суд их всех! – заволновалась толпа.

Гридни Онисима по знаку его побросали копьё и мечи в одну кучу. Их и повязанных чужаков народ стал подталкивать к городской темнице.

Рослый Онисим обернулся через левое плечо в сторону князя и крикнул:

– Гридней моих, княже, пощади: они только приказ мой исполняли. Накажи, но оставь в живых, – и добавил совсем непонятное: – Они верны тебе. Помни, княже: у тебя есть враг, страшный враг!

Глеб Василькович, сойдя с крыльца, вскочил на подведенного к нему Завета и пустил его медленным шагом позади толпы, жаждущей справедливого суда над мятежниками.

В конце одной из узких улочек появились раскрасневшиеся и нетвердо держащиеся в седлах гридни Лукьяна. Потом появился и сам Рыжебрадый. Он испуганно тарачил глаза и поднимал брови, отчего лицо его принимало бессмысленное выражение. Появился Демьян. Все вместе подъехали они к Глебу Васильковичу, ничего не понимая, но рассудив по настроению народа, что произошло нечто из ряда вон выходящее, сразу выставили вперед пики, закрыв не нуждающегося теперь в защите от кого бы то ни было князя.

– Эй! – тихо окликнул старик в натянутой до самых глаз шапке худошавого мужичка в синей долгополой безрукавке, когда толпа, гудя как рой пчел, двинулась в сторону темницы. Тот, видимо, никак не ожидал подобного обращения к себе, особо со стороны какого-то неизвестного сгорбленного бродяги в залатанном зипуне. Тихий свист и легкий подзатыльник, отвешенный ему возникшим перед самым его носом стариком, мгновенно отрезвили его.

– Ты что? Али своих не узнаешь? – зашипел незнакомец, ухватив мужика за шиворот крепкою рукою со смарагдовым перстнем на среднем пальце.

– Виноват, господине, – опомнившись, залепетал худошавый.

«Старик» завел его за угол и вынул холщовый мешочек с позвякивающей в ней монетой. Притянув человека в безрукавке к себе за ухо, он зашептал:

– Отыщи средь стражи кто купится на злато. Да не жалея монеты. Весь мешок отдай! А сие – тебе за службу верную. – «Старик» сунул человеку кожаный кошель, где также позвякивали монеты. – Ты должен купить стража, дабы подсыпал он сие... – из-под полы зипуна появился крохотный стеклянный пузырек с белым порошком, – в брашна Онисима. Да не доживет брат боярин до утренней денницы! Не найдешь общника – смотри у мене! – и он угрожающе подставил под нос худошавого мощный кулак и тотчас спрятал его в рукавицу.

– Сыщу, господине, сыщу! – испуганно залепетал мужик, зная, что хозяин слово свое держит. – Когда подводил я тебя? – и растворился в толпе.

«Старик» брезгливо вытер о полу зипуна облобызанную худошавым руку.

И снова Глеб Василькович не ложился спать. Словно маятник мотался он от стены к стене в своей охотничьей палатке. Из головы не выходил поступок Онисима – одного из лучших, облаканных им князей. На предательство выходка сия никак не походила. Но что же произошло днесь* в Белозере – князь никак не мог взять в толк.

Бледно-лимонный месяц скрылся в зеленоватых тучах. Стало темнее.

«Должно быть теперь не менее двух часов ночи», – отметил про себя Глеб Василькович, проведя ладонью по усталым покрасневшим векам.

Он пригубил из братины немного терпкого, пахнувшего травами вина.

В дверь постучали.

– Кому понадобился я в столь неурочный час? – удивился князь. – Войдите!

На пороге появился усталый и запыленный Михаил.

– Сыне! – обрадовался отец. Вот с кем, и только с ним, может держать он совет. Несмотря на юный возраст, княжич отличался не только пылкостью, безрассудной воинской храбростью, но и умом, а порой даже спокойной рассудительностью и предвидением грядущих событий, словом, всем тем, чем и должен обладать государственный муж, от Бога призванный на служение вере и отечеству.

Отец и сын обнялись.

– Почто не спишься тебе, отче? – участливо спросил Михаил, смутно догадываясь о причинах бессонницы князя.

– Не до сна нынче, сыне! Занимай-ка столец! – Отец радостно засуетился вокруг Михаила. – Аще, може, с дороги дальней отдых тебе нужен?

– Не князем быть мене, отче, а красной девицей, ежели внимание обращать стану на раны свои али усталость наперед дел государственных.

Глеб Василькович остался доволен ответом: достойный наследник растет.

До третьих петухов просидели они, обсуждая происшедшее в Белозере в отсутствие Михаила. Грамоту от епископа Игнатия и письмо от дяди своего Великого князя Ростовского Бориса княжич передал отцу сразу. Поддержка Белозерскому князю была обещана: от епископа – молитвой, от Бориса Васильковича – мечами и всадниками.

– Пообещал владыка отомстить Василия и Романа от колдовства, насланного на них...

– Дай-то Бог! Дай-то Бог! – обрадовался князь.

С первыми лучами солнца, позолотившими нижний край небес, отец и сын вышли из палат: направились они в темницу, на опрос мятежников, и в первую очередь боярина Онисима. За ними приказано следовать было князю Демьяну и воеводам.

Полусонный страж, стоявший у двери в темничные переходы, вытянулся в струнку, прижав к боку копьё, едва завидев князя с сыновьями, Демьяном и Михаилом, и вызванными с самого утра к княжским палатам и теперь сопровождавшими их Антоном Гордней и Лукьяном Малиной.

Спускаясь в подземелье по тускло освещаемым светочами каменным ступеням, Михаил

невольно расширил глаза: был он здесь впервые и все боялся оступиться или наткнуться на что-либо. Но спуск продолжался недолго. Вот и ровная, хорошо утоптанная земля. Отсюда начинался узкий проход меж немногочисленными железными дверями с тяжелыми запорами.

– Идеже болярин? – спросил князь Глеб Василькович сопровождающего их главного темничьего.

– Почти в конце клет, един, – ответил тот.

– А остальные? Гридни?

– В соседней, общей.

– Вся дружина Онисима?

– Два десятка его воев, принимавших участие в мятеже, и десяток чужаков. Сих людей я прежде не видывал ни у нас, в Белозере, ни в ближайших окрестностях, – охотно пояснил изголодавшийся по словесному общению темничий.

– Разберемся, – ответил князь. – Наперед к Онисиму идем. С ним разговор иметь хочу.

Звякнул засов, со скрежетом отворилась дверь. Пришедшие остановились на пороге, зажмурились от света, бьющего в узкую прямоугольную щель расположенного под самым потолком окошка. А когда открыли глаза, то их взорам представилось неожиданное и потрясшее всех зрелище.

Богатырь Онисим лежал на земляном полу, раздетый во все стороны так, будто его, привязав за руки и за ноги, раскрутили на бешено вращающемся колесе, на котором он испустил дух. Тело уже успело остыть. Голова боярина ткнулась подбородком в грудь, открытые глаза смотрели, как и при жизни, без тени лукавства и злобы. На губах прорисовалась неровная полоска грязно-зеленого цвета; словно сквозь кожу в месте сем выступила соль с добавками неизвестного порошка.

Вошедшие онемели.

– Захария сюда! – крикнул наконец князь в сторону насмерть перепуганного темничьего и, обхватив голову руками, присел на корточки возле тела любимого боярина. Да! Несмотря на все непонятное, происшедшее вчера, Глеб Василькович продолжал любить богатыря Онисима, как товарищи своих детских забав и даже как соперника, влюбленного вместе с ним в одну и ту же девушку... Как давно сие было... А теперь вот остывшее тело боярина в рубахе, заткнутой широким поясом, лежит перед ним на охалке соломы, брошенной на земляной пол... И ничего уже боярину не нужно: ни хором, ни коня, ни красавицы жены...

Не заставивший себя долго ждать Захарий отвлек князя от тяжелых дум:

– Отравлен! – заявил он с порога клетки, едва взглянув на Онисима опытным глазом.

Князь, сыновья и бояре переглянулись.

– Позвать сюда стражника, что стоял ночью на карауле! – крикнул Глеб Василькович в полусвещенное чрево темничного прохода. Главный темничий затрепетал от страха: именно к нему обращался князь.

– Несть его, господине! – заикаясь, отвечал темничий. – Не сменял его утренний караульный... Так пост принял. Видать, тот убог...

Воцарилось всеобщее тяжелое молчание. Никто не решался прервать его первым, однако всем было ясно: раз боярина отравили – не угодил он, должно быть, кому-то деяниями своими. Кому же?

Днесь – сегодня.

Вопрос сей занимал умы всех присутствующих без исключения.

– Княже, княже, Государе! – донесся вдруг из соседней клетки сильный простуженный голос. – Выслушай мене. Желая о боярине Онисиме правду сказать! – и в окованную железом дверь изнутри застучали кулаками.

– Привести ко мне! – приказал князь.

Главный темничий, с трудом удерживая дрожь в подгибающихся коленях (наказание казалось ему неминуемым), бросился исполнять распоряжение Глеба Васильковича.

Спустя несколько минут в ноги князя повалился Анфимий – близкий друг и доверенное лицо Онисима Скоробогатого. С трудом можно было узнать в седом морщинистом старике вчерашнего бравого сорокалетнего гридня: душевные переживания за единую ночь изменили его внешность, и только голос остался прежним, коему простуда однако сообщила прерывистость и скрипучесть.

– Повели, Господине, оставить нас одних. Не должно пред чужим слухом тайну сию обнаруживать.

По знаку Глеба Васильковича все вышли.

– Сказывай! – приказал князь, кивнув на один из стульев, внесенных по его указке.

Присел Анфимий боязливо: чай, неровня ему князь-то. Рассказ свой начал сбивчато, торопливо, часто спотыкаясь на словах самых простых, что говорило о немалом волнении его, но в конце концов видя готовность князя выслушать обо всем до конца, гридень успокоился, речь его выровнялась, и теперь лишь время от времени вскрикивал он, описывая моменты больше будоражившие собственное его воображение.

– Верь мене, княже, – горячо убеждал Глеба Васильковича Анфимий. – Не виновен Онисим! Тебя спасти он хотел. Иной враг в государстве твоём хочет погибели твоей. Нарочно пошел боярин на мятеж, дабы головник истинный не привел во град наймитов своих беспощадных! Много их у него, верь!

Глеб Василькович, сидя напротив гридня, слушал его не перебивая. Кто же есть сей подлый враг?

– ...У тебя же во граде не столь много воев осталось. Осилили б они тебя, Глебе Васильковиче! – скупые мужские слезы блеснули в глазах гридня. – Верь, отче родной, княже... Не виновен Онисим – на ся удар принял! – и стоявший в ратях лицом к лицу со смертью, бывалый вой разрыдался, как дитя.

Глеб Василькович встал и сделал шаг навстречу совсем по-детски съжившемуся на стуле гридню и обнял его.

– Посмотри на мя! В очи взгляни! Я верю тебе! – ласково произнес князь.

Дружинник поднял на него покрасневшие, со вздвигшимися прожилками глаза.

– Верю тебе! – обхватив его за плечи, повторял князь. – Токмо скажи ты мене, Анфимие, ведали гридни об истинной цели мятежа?

– Свои – да! Все! Мы роту тебе данную на верность не нарушили. А Онисима слушали, яко отца родного. И, ежели б чужаки кинулись на тебя и на град полезли – мы тут же повернули бы мечи на них. Яко один все полегли бы, и пройти врагу во град не дали бы! А Малину Лукьяна да гридней его тот же злодей, яко Демьяну-князю с супружницей сонного снадобья подсыпал на посаге, нарочно затеянном, до полусмерти напоил...

– Да кто же злодей тот? – гневно сверкнул очами Глеб Василькович.

– Сие неведомо мне, осподине! Хотел было боярин наш шепнуть мене по пути в темницу имя его злодейское да не успел: толпа нас развела. А теперь вишь вот сам... – кивнул Анфимий на тело товарища своего, распростертое на земляном полу. – Несть более воеводы нашего, – и снова скорбно согнулась спина дружинника.

В миг один пронеслись перед мысленным взором Глеба Васильковича детские и юношеские годы, проведенные купно с ровесником его, Онисимом – самым близким после брата Бориса товарищем и участником игр...

«Видно, путь у нас у всех – путь страдания, терпения и гибели, яко у сынов Владимира Святого – Бориса и Глеба. Не зазря нас такими именами нарекли...», – подумал князь.

– Эх, Онисиме, Онисиме, – друже мой, прости, что из-за мене ты на смерть лютую пошел, на обещание имени твоего святого... – Глеб Василькович опустился на колени и припал губами к ледяному челу своего бывшего соперника в любви. – Клянусь: имя твое честное восстановлю! Все до последнего мальчишки ведать будут, что ради меня сложил ты свою буйну голову... «Блажен, кто положит душу за други своя...»

– Княже, прости! Тамо супруга Онисима боярыня Васса рвет власы на себе и кричит! – вбежал в темничную клеть страж.

– Впустите. И всех зовите!

Через несколько минут в клеть вошли сыновья князя и бояре, вслед за ними привели еще более растрепанную, зарванную, оборванную Вассу, словно за ночь, прошедшую со вчерашнего ужасного события, она никому не оказалась нужной, никто не обогрел, не утешил и не умыл ее... Едва ли кто-нибудь смог бы сейчас узнать ее, встретив на городской улице. Наверняка ее приняли бы за сумасшедшую и стали бросаться от нее враспынную. Не узнали ее и Демьян с Михаилом: за день один и ночь превратилась молодая, розовощекая боярыня в убитую горем старуху! Седые волосы ключьями торчали во все стороны, потухший взгляд не выражал ничего осмысленного. Лишь на мгновение, когда увидела князя, к ней, как показалось присутствующим, вернулась память... Но лишь показалось...

– Васса! – вопль отчаяния вырвался из груди Глеба Васильковича. Он сделал шаг ей навстречу. Демьян, Михаил и бояре расступились по стенам, освободив им место в центре клетки.

– К... к... т-т-тооо... с... сие? – растягивая слова, громко, так, что все слышали, как стучали ее зубы, спросила, встав на колени перед распростертым на полу супругом боярыня.

Присутствующие переглянулись меж собой.

Не узнав супруга своего, стала боярыня ощупывать мертвое тело похудевшими, негнушимися пальцами, цепляясь за складки одежды Онисима.

– Васса! Васса!! – все попытки князя обратить на себя внимание женщины были тщетны. Сердце ее так и не откликнулось на зов любимого. Она лишь продолжала ощупывать пол, солону, собственные волосы, руки, ноги...

Окружающие цепенели от ужаса. Никто не знал, что делать дальше, пока из-за спин собравшихся не выступил Захарий:

– Вас-са! – тихо, но выразительно назвал он боярыню по имени.

И она, неожиданно для всех, подняла голову и, прислушавшись к звуку его голоса, посмотрела на него.

– Все добре, госпоже! – гораздо уверенней продолжал Захарий.

Боярыня встала на ноги, ссутулилась, став при этом похожей на крючок, и замерла на месте без движения. Захарий протянул к ней руку, взял за похолодевшие персты, потянул к себе и обнял, прижав к груди. И она притихла, казалось, даже заснула.

– Дайте плат потеплее. Важно согреть ее...

Главный темничий, позвякав замками сундука в сторожевой клетке, вскоре принес оттуда теплое шерстяное покрывало. Захарий обернул им дрожащую от потрясения, замерзшую, измученную женщину и повел ее к выходу. Остальные медленно двинулись за ними.

Михаил и Демьян шли рядом с отцом.

– Ты, Михайле, займешься погребением Скоробогатого. Честь по чести! Пусть отслужат литию* по рабу Божию Онисиму, яко по погибшему на поле брани вою...

Глаза Михаила удивленно округлились.

– ...После литургии прямо на ступенях храма перед всем народом восстановлю я честное имя

* Лития – панихида по усопшим, служится во время божественной литургии.

болярина. Пусть ларник немедля напишет указ о помиловании грядней Онисима, кроме тех десяти чужаков. Последже вели выпустить из темницы безвинных...

Анфимий, в суете событий забытый даже темничьим и стражником в конце прохода, вдруг вырвался вперед, догнал Глеба Васильковича и в порыве благодарности припал губами к краю княжеского корзна...

– Ну-ну! – по-отечески потрепал его князь по спине. – Истина должна побеждать! Ты свободен, Анфимие! Вернуть ему одежду и оружие!

Анфимий, ошарашенный свершившейся справедливостью, отступил к стене, пропуская выходящих из темницы князей и бояр.

– Ты же, Демьяне, займешься устройством Вассы...

– Ее бы в монастырь надобно, на исцеление, – подсказал Захарий. – Тамо мнихи* помолются за душу невинную, бесом в полон (Спаси, Господи!) взятую! Исцелится голубушка! Вот увидите!

– Слышишь, Демьяне! Займись ею. С тебя спрощу. Определи ее в монастырь Живоначальной Троицы!

– Да, отче!

На городском торжище князя и сопровождавших встречала толпа народа.

* Мнихи – монахи.



НЕУВЯДАЕМЫЙ СОНЕТ

Многообразна тематика сонета: от Вселенной до земных недр, равно как и взгляд на него как на форму – ТВЕРДУЮ форму. Многие, пишущие сонеты, да и теоретики стихосложения тоже, задумывались: а что же **ОН** такое?

Многокрасочность взглядов на сонет составители попытались очертить предлагаемой подборкой, составленной из произведений малоизвестных поэтов XX века.

А.И. АГАТОВ

* * *

Спросили вы: «Как пишутся сонеты?»
Их цельный ритм в фантазии храня,
Беру две рифмы, два цветных огня
И замыкаю первые куплеты.

И в них иду. И окружив меня,
Волнением души моей согреты,
Текут слова, гармонией одеты,
Таинственно волнуясь и звеня.

Так девять-десять рифм уже звучит,
О струнности природы говорит,
Иль обо мне, одетом их покровом,

И если золотит их темы свет,
То в остальном стихе с последним словом
Как раз и получается сонет.

<1908>

Михаил ГАЛЬПЕРИН

ШАЛОСТЬ

Звенит в ушах причудливый сонет,
Но чую я, что ныне не владею
Аккордом легких струн, что темы нет как нет,
Что вряд ли выполню я смелую затею...

Но уж строфой прорвавшейся согрет,
Второй строфы моей две строчки я имею,
Глядь: рвется пара строк, другая к ним в ответ,
Бумаги оживив пустынную аллею...

Текут, как ручейки, звенящих два трехстишья,
И сладко нежит слух их благодатный звон,
И песня полилась средь чуткого затишья,

И взор мой ласкою Эраты изумлен...
Взмахнув жезлом своим, рой легкокрылых слов –
Богиня созвала, – и вот сонет готов...

<1912>

Андрей ЛИВЕН

* * *

Венчанный царь стиха – изысканный сонет,
Насыщенный нектар поэзии священной,
Из глубины веков, сквозь завязь темных лет,
Несут тебя певцы, как кубок многоценный...

В Италии Петрарка, огненный поэт,
Тобою наполнял фиал свой многопенный,
Ронсар, тобой плененный,
с пеньем вывел в свет
Тебя на перекрестки творчества вселенной...

Закованный в броню четырнадцати строк,
Послушно я пишу божественный урок,
Под властью терцин, в плену четверостиший.

Вдали меня манят безбрежные поля,
Лазури небосвод, закаты янтаря...
И я вожу смычком задумчивей и тише...

1945

Георгий СУВОРОВ

* * *

Хотя теперь сонеты и не в моде,
Узки, тесны, простора мысли нет,
Сентиментальны по своей природе,
В четырнадцати строчках сжат поэт.

Пусть будет так. Пусть небывлицы бродят.
На старый кедр пролей ты новый свет,
Поэт, скажи сонетом о походе,
И по-иному заблестит сонет.

В четырнадцать чеканных светлых строк
Вложи времен живую эпопею...
И что ни слово, ни строка – рывок.

Сонет – снаряд смертельный по врагу,
Петля врагу кровавому на шею,
Кровь, пламенеющая на снегу.

<1972>

Николай АСТАХОВ**СОНЕТ О СОНЕТАХ**

Прекрасна строгость мудрая сонета,
Где мыслям не дозволен вольный крен,
Где образы сурово взяты в плен,
И ритм диктует сдержанность поэту.

Пускай, крикливой модою презрен,
Стих не сверкнет легко гасимым светом,
Но в нем не поколеблены заветы
Случайностями модных перемен.

И рифмой опоясанный катрен –
Как бы созвучье скрипки и кларнета,
Ритмичная гармония терцета –
Четверостишью плавному взамен.
И завершение мастерства – рефрен:
Прекрасна строгость мудрая сонета!

<1974

Константин ГЕРАСИМОВ

* * *

Строга огранка – ярче слов сиянье,
Темнее умолчаний глубина...
Но тайная сонета суть – она
Не только диалектика слиянья.

Добытия бездонной немоты
С носящимся над ней Творенья духом:
Божественный глагол коснется слуха,
Или поверишь алгеброю ты

Гармонию, узнай, в подобье точном
Четырнадцать выверенных строк –
Моли о благодати день и ночь, но
От цели будешь ты еще далек.

Кто верует – блажен. Но вера – это
Еще не все. Есть МАГИЯ сонета.

(Не опубликован)

Леонид МИСЮК

* * *

Четырнадцать по счету ровных строк,
Искусно заплетенных меж собою,
Таят и откровенье, и урок,
Они подобны тихому прибору.

В своем узоре, словно кружева,
Легки они, подобны взлету птицы...
Они текут, как милого слова,
Когда он о любви проговорится.

В любом сонете для себя найдем
В час нужный и совет, и указанье,
И, книгу открывая, вдаль идем –
К Шекспиру на счастливое свиданье.

Сонет читаем тихо, не спеша:
Ведь бьется в нем открытая душа.

<1989>

Ирина ШАБАНОВА

* * *

Кто остановит шествие сонета?
Не по душе мне сталь его клинка:
Беспомощная пленница строка
Трепещет рифм – безумного обета.

Коварный ямб уходит от ответа –
И ноша пятистопная легка:
До точки не хватает... пустяка –
Вполне благонадежного секстета.

Единожды не преступив закон,
Я втискиваю мысль свою в канон –
Не худшее ли это преступление?

Зачем опять в безжалостный костер
Четырнадцать безропотных сестер
На жертвенник бросаю в исступленье?

1990

Иван АКСЕНОВ**СОNET О СОNETE**

В давно минувшие суровые года
Сложился дивный лад высокого сонета.
В нем – ласка милых рук
и злая сталь стилета,
Любовь, и боль разлук, и светлая мечта.
Раздумчивый итог нелегкого труда,
Сердечной маеты и мастерства поэта,
Влечет людей сонет

своим волшебным светом,
Как Вифлеемская далекая звезда.

Когда тоска томит, сомнение гложет душу
И жизнь на голову одни невзгоды рушит,
Когда от жгучих слез туманятся глаза

И от надежд былых остались лишь осколки,
Я том Камюэнса беру с заветной полки –
И льется в сердце мне целительный бальзам.

2003, 2006

Николай Сергеевич СУРАТОВ (род. 1933 г.) – художник и мозаичист, живет в Бокситогорске (Ленинградская обл.). Он автор нескольких книг сонетов, которые были оформлены им же.

Он многолетний поклонник строгих поэтических форм – сонета, венка сонетов, что видно из предлагаемого читателям «Венка сонетов о сонете».

Николай СУРАТОВ**ВЕНOK СОNETОВ О ВЕНКЕ СОNETОВ**

*«Венок певец твой новый льет для света:
Пятнадцать в нем сонетов сплетено,
И магистрал, последнее звено,
Связует рифмы каждого сонета»*

Ф.Е. Корш. СОNETНЫЙ ВЕНOK.

1.

Вернулись в вортемя* зима, весна и лето,
И осень золото на кон времен бросает;
Все в этом мире, вспыхнув, угасает,
И все же жизнь поэтами воспета.
Забыв о Вечности, ждем от ума конкрета,
Он же устои мира сотрясает,
Лишь вера в Высшее от гибели спасает
Не соблюдающих ни меры, ни запрета.
Вот, птицы – что им нужно, то и знают,
Мы ж переполнены ненужной информацией,
Компьютер столько б уместить не смог.
Вот в этом и трагедия земная,
Что мудрость чувств сменила нумерация,
И грусть осенняя – ушедших дней итог.

2.

И грусть осенняя – ушедших дней итог,
Все ж проходяща, морозящий дождик,
А радость жизни, как пивные дрожжи,
Бурлит и движет чувствами притом.
Она, как в батарейке постоянный ток;
Почаще заряжай (тут не придумать проще)
Где? – и в полях, и в белоствольной роще,
И глядя на любимый завиток.
Чем жив и благороден человек?
Любовью и трудом, пусть не всегда успехи
И радость творчества – лишь воздуха глоток.
Увы, нам отведенный свыше век,
Не только праздники, события и потехи,
А повседневных мелких дней поток.

3.

А повседневных, мелких дней поток,
Вступи в него простак –
собьет с ног и закружит
В своих водоворотах. Кто тут сдюжит?)
И понесет по жизни, как листок.

Житейский нрав, признаться, ох жесток,
Но кто с поэзией все ж постоянно дружит,
Тот переступит эту страсть, как лужу.
Ведь Муза в трудностях берет за локоток.
А много ль нужно путнику в пути?
Порой сказать себе: довольно странствий!
После прочтенья древнего сонета
Бывает, главное, – себя в себе найти,
Войти в преображенное пространство,
В прозрень, в два катрена, два терцета.

4.

В прозрень, в два катрена, в два терцета,
Сойдясь, преобразясь, незримые лучи
Предстали мыслью-чувством; горячи,
Живительны слова влюбленного поэта.
Порою кажется, в них не найти ответа..
Что в сочетаньях звуков можно получить,
Когда ложь-призрак в зримое одета?
Да, этот мир донельзя виртуален,
Не есть традиция в истории искусств,
Она давно живет в венке сонетов.
А этот строг, как танец ритуальный:
Движень образ, преображень чувств..
Пятнадцать размыслений – круг поэта.

5.

Пятнадцать размыслений – круг поэта,
Вошел в него – назад возврата нет...
По руслу размышлявший сотни лет
Струишься ты, свернешь – впадаешь в Лету.
Поэт всегда влюблен (и часто без ответа)
В Лауру, в жизнь, в неизъяснимый свет...
Любить и верить! – вот творцов завет,
Залогом правды стало действие это.
Струение событий, дальние дороги,
Венок сонетов (заданная вязь)
Возводят чувства выше на виток.

Когда пройдешь коварных рифм пороги,
Заметишь, к магистралу доберясь,
Сошлись в четырнадцатом устье и исток.

6.

Сошлись в четырнадцатом устье и исток,
Чтобы в пятнадцатом сонете обновленье
Пришло прозреньем, так же поколенья
Во внуках могут подвести итог.
Всему ли? – вспомним, ход времен жесток;
Когда берут за цель не рост, а ускоренье,
Свеченья истины лишается горенье.
Об этом спорят Запад и Восток.
"Венок" лишь кажется – плод праздного ума,
Однако, это спор, подобный «было-будет»,
Но размышленья лишь сегодня впрок.
Не всем дается время понимать
Как цепь возвратов, тем магистрал не чудо,
А повторение последних-первых строк.

7.

А повторение последних-первых строк –
Рефрен или эхо в обнаженных скалах;
Нашла ль душа моя, чего искала,
Трезв ли мой ум, переступив порог?
Трезвление его, ведь это не порок,
Повтор – лишь проявление накала,
И не мое ль усердие снискало
Возможность выполнить очередной урок?
Так каждый день, поутру пробудясь,
Я продолжаю дел вчерашних вереницу,
Ищу в них смысл, не находя ответа.
Не то поэзия – ведь за свой стол садясь,
Я вижу как из слов возникшая зарница
В венок смыкает череду сонетов.

8.

В «Венок» смыкает череду сонетов
Мелодия души, что для других беззвучна,
Ее же выразишь, как ритмику, научно
Лишь языком стиха – презрением поэта.
Поэзия, творя, не создает дискретов,
Ей среди них невыразимо скучно,
Она, где все в единстве, но не кучно,
Где не смешались языки планеты.
Во всеединство можно погружаться,
Как в небо ястребу, кружить и возвращаться
В земной свой дом, преданием хранимый.
Незнанью главного
лишь можно поражаться:
Весь мир в душе;
чтоб глубже с ним общаться,
В саду камней пятнадцатый незримый.

9.

В саду камней пятнадцатый незримый
Другими скрыт, конечно, неспроста,
Вот так же белизна начатого листа
Неявленным томит неумолимо.
Что в риске для любителей экстрима?
Та ж неизвестность. Если б тень Креста
Коснулась каждого, чтоб измениться, стать
Бессмертным – мы ж земные пилигримы.
Всемирный магистрал –
большой любви Завет,
Открыт для всех, кому на свете скверно,
Когда Земля от горя изнывает.
Так было, будет еще много лет;

Вот человек идет пятнадцатый... сто первый...
Тот, что всегда закрыт другим бывает...

10.

Тот, что всегда закрыт другим бывает.
Не тот ли камень? – нужен ли тут довод?
Мысль неотвязная, как надоевший овод,
Все больше ширится, растет, не убывает!
«Далекому быть близким, нужен повод...»
Но тут сомнение, как будто кит, всплывает:
«Не по себе ли чувство изнывает?»
.....

Венок сонетов все же обобщенье,
Срез яшмы вдоль, а можно бы иначе...
Какая разная единая Природа!
Постиг я не умом, а больше ощущеньем,
Что человек царем Земли назначен,
И магистрал из царственного рода.

11.

И магистрал из царственного рода,
Как сам венок сонетов – муз избранник;
Что может быть прекрасней, многогранней,
Чем мудрость поэтического свода?
В его глубинах ценная порода,
Сокрытая от низменных созданий,
И, все же, он – изгнанник, вечный странник,
Но гордость каждого великого народа.
Он, царственный, и не в чести у черни,
Которой бы свергать и враждовать,
А он, как вешние цветы, ранимый.

Рожденные толпой, тенями мглы вечерней,
Мнят, будто могут благо аж давать,
Они, все ж будучи величиною мнимой.

12.

Они, все ж будучи величиною мнимой –
Пятнадцатый сонет,
построчный, магистральный,
И камень с многозначностью астральной –
Проявлены словесной пантомимой.
Но явленное ими пролетает мимо,
Как луч через пустей ларец хрустальный,
Как мотылек, во мгле неуловимый.
О! возвышающая, царственная кода!
Ты в валуне, в незаменном слове,
Но как и где тебя мой дух уловит?
Наверно, в вере моего народа...
А будни наши, те, что убивают,
Волнуют тем, что главное скрывают.

13.

Волнуют тем, что главное скрывают
За суетою дня новинки и события,
Как хорошо по их теченью плыть и,
И ощущать – все так же проплывают!
Однако ж мудрые в покое пребывают,
А в недалеких все ж как много прыти!
Не соглашаясь с новью, не могу забыть я
Любимых стариков (теперь их забывают).
Размер сонета, ритм недавних предков,
В себя ведущий, словно по ступеням,
Забыв «кайфующей» толпе в угоду.
Коловорот времен – и вот уже нередко
Звучит «Венок», как хоровое пенье,
Как бой курантов на исходе года.

14.

Как бой курантов на исходе года,
Событья пробуждают страхи и надежды,
А неизвестное к нам в будничной одежде
На цыпочках идет, оно уже у входа.
Жила традиция (и это ведь не мода)
Сдвигать бокалы, становясь между
Былым и будущим,
а магистрал, как прежде,
В конце "Венка", точнее, в точке схода.
Пятнадцатый сонет замкнул собою ряд
Раздумий светских, все ж он из деревни,
Из гимна возвращенья урожая, света.
Бросая в молодую поросль взгляд,
Увидим, жив еще размер тот древний,
Вернулись в вортемя зима, весна и лето.

МАГИСТРАЛ

Вернулись в вортемя зима, весна и лето,
И грусть осенняя – ушедших дней итог,
А повседневных, мелких дней поток
В прозренье, в два катрена, два терцета.
Пятнадцать размышлений – круг поэта;
Слились в четырнадцатом устье и исток,
А повторение последних-первых строк
В венюк смыкает череду сонетов.
В саду камней пятнадцатый, незримый,
Тот, что всегда закрыт другим бывает,
И магистрал – из царственного рода.
Все ж, будучи величиною мнимой,
Волнуют тем, что главное скрывают,
Как бой курантов на исходе года.

* «Вортемя» – древнеславянская ипостась нашего слова «время», отражавшая своей основой то же представление о круговороте, о возвращении к началу, которое было в первобытном архаическом сознании. Это понимание времени характерно и для восточных культур. Это обстоятельство дало автору основание сопоставить культуры Запада и Востока в своем континуальном аспекте, заключенном в самой форме «венка».



О «ЗВЁЗДАХ»

Павел КРУСАНОВ

ГЕОРГИЙ ОРДАНОВСКИЙ: история черного цвета

Это место до сих пор называют «чебуречной на Майорова». Проспект давно вновь переписан в Вознесенский, а чебуречная, презрев непостоянство времени и топоники, осталась там, в восьмидесятых, – на Майорова. Здесь делали лучшие чебуреки в городе – тридцать шесть копеек порция на вытянутой металлической тарелке, сложенная внахлест из четырех небольших, только извлеченных из кипящего масла, сочащихся острым бараньим бульоном и хрустящих отслаивающимися корочками азиатских пирожков, столь пришедшихся по вкусу местной публике, что в меню их даже объявили чебуреками «по-ленинградски», – они и теперь здесь, пожалуй, самые лучшие. При том что природных умельцев пряной восточной кухни в сравнении с былыми временами заметно прибавило. Но не о корме речь. Речь о человеке, перед которым я виноват.

Открылось это заведение году, примерно, в семьдесят пятом и было по меркам той поры довольно чистым и ухоженным – без процарапанных автографов на столах, скабранных пиктограмм в сортире, пятнистых скатертей и извергнувших на фаянсовые бока горчицу горчицниц. На первом этаже располагался бар (теперь его нет) с вечным, мерцающим цветомузыкой полумраком, с вертящейся на упругих басах «Баккарой» или какой-нибудь другой диско-попсушкой, с упакованными в голубую джинсу деловыми «мажорами», девицами с нарисованными лицами (зарифмовано случайно) и работающими за стойкой посменно барменами – блондином Сашей и демоническим брюнетом Жорой (так повелось, что дьявола, как правило, наделяют внешностью ликана – лица кавказской национальности). Здесь кипела жизнь поверхностная, показная – сплошь демонстрация амбиций, юношеские самоутверждения и игры с распределением

половых ролей. Люди установившиеся шли на второй этаж. Там, собственно, и располагалась чебуречная.

Компания наша, просвистывая поначалу деньги, сэкономленные на школьных завтраках, а потом и случайные заработки, сживала на Майорова не то чтобы часто, но регулярно, а после того как барабанщик Михей завел здесь с официанткой Ритой затяжной роман с прощаниями и встречами, драками и страстными замирениями (пусть у нее и не прощупать талии, но кто ж любезнее подаст на стол дымящиеся ароматные чанахи, водку или на худой конец портвейн «Кавказ»?), мы стали навещать сюда еще регулярнее. Тут мы, семнадцатидевятнадцатилетние (года, что ли, с семьдесят восьмого по восьмидесятый), с потаенным трепетом и любовались Ордановским. Не думаю, что он бывал здесь ежедневно – какое там! – но алгоритмы его и наших посещений этого славного местечка странным образом совпадали. Кто такой Жора Ордановский (явный избыток Жор как для заведения, так и для текста) в те времена в Питере знал каждый продвинутый юнец – он и впрямь был самым ярким пятном на подпольной русской рок-сцене. Именно так – самым ярким, несмотря на очевидное, пусть и вполне искреннее, простодушие того, что он на этой сцене делал. Судите сами:

Придорожный лопух
Из семьи лопухов
Жил беспечно в пыли,
Был упрям и здоров.

По соседству в саду
Хризантема цвела.
Там своей красотой
Упивалась она.

И хватило ума,
Впрочем, ум ни при чем, –
Увидав как-то раз,
Он влюбился в нее.

В безответной любви
Заболел головой:
Был лопух для нее
Просто сорной травой.

У любимой его
На глазах пелена.
Лопухова любовь
Ей совсем не нужна.

Красота хризантем
Есть доходный товар,
И однажды ее
Увезли на базар.

Нам морали читать –
Не водилось греха.
Хризантему не жаль,
Просто жаль лопуха.

Вот так. Никакой искусственности. Священное косноязычие, чистое вещество басни, какой она (басня) могла явиться и явилась человеку, никогда не переступавшему порог лито какого-нибудь убежденного сединами и перхотью мастера версификации. Михалков и Лафонтен отдыхают. Не прощу снисхождения, однако поверьте: на сцене в Жоринском исполнении под скрежет немилосердного фуза это выглядело бесподобно.

Как позже выяснилось из опыта личного общения и посторонних свидетельств, Ордановский был простодушен и в жизни, однако бесхитростьность его имела столь непорочную природу, что становилась уже сродни благородству. Но это сейчас нам некогда пленяться, это сейчас мы преисполнены пассаизма, поскольку опыт не позволяет нам считать достаточной опорой настоящее и питать иллюзии в отношении будущего, это сейчас мы способны принять из нового лишь то, что поражает нас безупречностью с первого предьявления, а тогда у нас была вечность для того, чтобы влюбляться и остывать, прельщаться и разочаровываться.

Жора (не демонический бармен, о том забыли) имел чувство стиля и строго, но без усилий, придерживался раз выбранного образа. Не узнать его было невозможно, как нельзя было не узнать городского сумасшедшего по кличке Жених, ходившего в те годы по Невскому с неизменной гвоздикой в петлице ношеного-переношеного черного пиджака и в черных же по-клоунски коротких «дудочках». Ордановский тоже любил черное – это был его сценический цвет (впрочем, порой с черной рубашкой или футболкой Жора позволял себе белые брюки), который он с подмостков перетаскил в повседневность. Собственно, тактов интуитивно познаваемый закон – так и следует делать звезде, а в те годы он был именно звездой, настоящей, просиявшей без помощи жуликоватого пиара, исключительно в силу дара всякий раз без обмана умирать и воскресать на глазах секущей любую фальшь публики. Кроме того, черный цвет отличал подходил его высокой, складной, худощавой фигуре.

Открытый, с цыганским взлеском взгляд, большой рот, густые брови, резкие носогубные складки, крупный прямой нос – именно в такой по-

следовательности вспоминается его далеко не типичное лицо, исполненное му

жественной красоты и вызывающее в памяти мерцающее слово «порода». Ну и, конечно, волосы. Роскошные темные волосы до плеч – с легкой волной и матовым восковым блеском. Других таких в городе, густо наперченном волосатыми «системными», не было. Почему? Не знаю – просто не было. Именно таким я впервые увидел Ордановского в 1976 году на сэйшене в каком-то заводском ДК (под грохот самопальных колонок, возбужденных путанными электрическими цепями самопайных усилителей, он черной молнией, как горьковский буреветник, иступленно, но при этом естественно и артистично метался по сцене, чем произвел на меня, пятнадцатилетнего, до того вживе видевшего лишь комсомольский задор каких-нибудь «Голубых гитар» или «Добрых молодцев», неизгладимое впечатление) и могу поклясться, что за последующие восемь лет внешне он ничуть не изменился. Я помню зал этого ДК, пахнувший влажной половой тряпкой, с плохо зашторенными окнами (уличный свет поначалу отвлекал от сцены), помню орущую прихиппованную толпу, скачущих на креслах демонстративно раскованных барышень, то и дело «заводящийся» микрофон и фонащие датчики гитары, и я помню свои ощущения. Они были сильные. Трудно передать тот восторг, который охватывает жадную до впечатлений натуру, еще не слишком осведомленную о лукавых превращениях мира, когда ее внезапно погружают в не признающую грани первичную магму бытия, в обжигающую неведомую свободу, где небывшее становится бывшим, а твоя личная вселенная, увлеченная горячей взрывной силой, стремительно увеличивается в размерах. Как минимум вдвое. Этот восторг, как первый наркотический опыт, превосходит любые описания.

Да, этот парень из коммуналки на Литейном был не первым, кто сыграл нам рок-н-ролл, и не он первым запел его по-русски, но именно он дал старшему поколению рокеров – от Шевчука и Кинчева до «Телевизора» и «Пикника» – представление о том, что такое настоящий концерт, и как нужно этот концерт играть. И дело вовсе не ограничивается тем обстоятельством, что к концу семидесятых у «Россиян» появился лучший в городе аппарат и приличная светотехника, дело совсем, совсем в другом. Довольно приличный аппарат был и у «Зеркала», а уж какой он был у «Апреля»... И что? Вот именно – суета духа, заученные позы и тщеславие, тщеславие... Просто Ордановский нес в себе какое-то жесткое внутреннее излучение, какой-то потаенный магнетический заряд, подобно высококачественному тексту, завораживающему тебя помимо сюжета, которого вполне может не быть, и, казалось бы, помимо смысла самих слов, рассыпанных как бы случайно, – завораживающему каким-то непредусмотренным логикой межстрочным свечением, адресованным именно тебе и напавал поражающим тебя в самый гипоталамус. Увы, не умею сказать об этом иначе. В среде питерских рокеров той поры подобный заряд несли в себе многие – Корзинин, Ильченко, Рекшан, – но они несли его подспудно, как тайну, вряд ли известную им самим, – это была латентная форма болезни, особого заразного безумия, навыки предьявления которого Ордановский первым столь блестяще продемонстрировал. Вот – он предьявлял именно органику, а не ее имитацию.

Рок-н-роллом Жора увлекся еще в школе: понятное дело – только в юности человек способен впитать дух и счастливо упиваться им, пусть даже в одиночку, безрассудно воплощая его в собственной судьбе; в более зрелые годы мы принимаем лишь форму и, как и положено неопитам, начинаем ползать по контуру, обмеряя внешние параметры мироздания новообретенной линейкой. С возрастом закрываются, что ли, какие-то дверцы, и мир с его стремлением захватить человека в свой бешеный круговорот остается снаружи – остается и, отсеченный, превращается в зрелище. При закрытых дверцах, наблюдая мирскую бурю в щелочку (некоторые делают из этой щелочки театральную ложу), можно стать ценителем каких-то его завихрений, но нельзя самому стать порывом, движением – нельзя стать той самой причиной, благодаря которой эти завихрения вихряются.

Разумеется, все началось с «The Beatles», любовь к которым со временем в Ордановском так и не померкла, поскольку в интервью самиздатскому журналу «Рокси» (1982 год), столь поразившему рок-дилетанта Александра Житинского непривычной серьезностью, именно «The Beatles» Жора назвал своим любимым коллективным композитором, и это несмотря на то, что «новая волна» катила тогда на гребне иную моду – «Clash», «Police», Элвис Костелло – и признание в пристрастии к ливерпульской четверке, если оно исходило не от маниакального Коли Васина, выглядело на этом фоне едва ли не дурным тоном. Что ж, честность самоотчета – отнюдь не дурное качество.

В тринадцать лет Жора поступил в музыкальную школу для взрослых, куда по возрасту его никак не должны были принять и тем не менее приняли. Впрочем, довольно скоро увлечение гитарой скверно сказалось на его дневнике, так что классный руководитель посещать музыкальную школу ему запретил. Гаммы и нотные тетради закончились – дальше инструмент учил Ордановского сам, как вода сама учит нас плавать.

Потом было безымянное трио, лабающее на школьных вечерах и танцплощадках англоязычные хиты, а осенью 1971 года (Жоре восемнадцать) он благодаря рекомендации одной знакомой девицы – «чувак классно Цеппелин орет» – вошел в состав «Россиян». Он принес им свои песни и, быстро заняв в группе лидирующее положение, в конце концов, стал лицом «Россиян», их звенящим вступительным аккордом (каждый концерт Ордановский начинал с режущего удара по струнам), их вводящим в дрожь голосом, их гордым и дерзким духом.

Вот реплика Андрея Бурлаки – пожалуй, самого осведомленного, непредвзятого и почти не вводящего читателя в заблуждение летописца русского рока:

«...В то невероятное время «Россияне» были для нас не просто одной из лучших групп города, выступления которой гарантированно становились событиями, вызывая оживленные пересуды за чашкой кофе в известном кафе и ожесточенные споры их сторонников и противников, но и – в определенном смысле – духовным ориентиром. Жизненная философия «Россиян», выраженная в эмоциональных и мелодически свежих песнях их неизменного лидера Георгия Ордановского, порой чуть наивных, но, безусловно, искренних, опиралась на рожденную романтикой шестидесятых веру в то, что искусство (и рок-н-ролл в том числе) способно изменить мир к лучшему. «Да поможет нам рок», – пели «Россияне», и

вслед за ними мы отчаянно верили, что он действительно поможет нам выстоять в жизненных бурях».

Впрочем, в 1971 году нам было лет по десять, а «Россиянам» до их триумфа еще предстояло пройти путь длиной лет в пять-шесть, изнурительный путь, состоящий из череды успехов и поражений, вынужденного чёса на пригородных танцполах, поисков неповторимого звучания и оптимального состава, – тогда я еще не был виноват перед Жорой, Атаев еще не отснял для «Рокси» несколько кагушек пленки с Ордановским (потом благополучно редактором «Рокси» потерянных), а Панкер еще не начистил морду на пляже в Репино приятелю россияновского клавишника Алика Азарова. Все это было для нас впереди, в далеком чаемом завтра.

Когда «Россияне» добились, наконец, заслуженного признания в неформальной, но до ревности требовательной среде музыкального подполья, мы только начинали репетировать в школьном актовом зале хиты «Steedance» и «Slade». Ордановский уже вводил один за другим в репертуар собственные номера – «Придорожный лопух», «О, какой день», «Автобус», «Бегство в детство», «Кто не с нами, тот против нас», «Последний трамвай», «О мерзости», «Да поможет нам рок», – а мы только разучивали аккорды «Who'll Stop The Rain», «Look At Lest Nite» и какого-нибудь «Капитана» из безнадежной «Машины времени», откуда недавно сделал ноги Ильченко. Лишь к 1977-му мы поняли, что занимаемся херней, а «Россиян» в то время уже поджидал фурор в Новом Петергофе.

Я был на том петергофском сэйшене – кажется, это происходило весной или ранней осенью 1978-го. К тому времени мы уже стали завсегдаями подпольных концертов, устраиваемых воротилами теневого менеджмента Байдаком, Ивановой и иже с ними, вход на которые открывался лишь счастливым (заплатившим от полутора рублей до трешки) обладателям кусочка цветной бумаги, отмеченного оттиском печати с таинственной символикой. Печать, как правило, вырезалась бритвой из школьного ластика. В заговорщицкой атмосфере тех сэйшенов определенно витали какие-то масонские флюиды.

«Россияне» играли втроем: Ордановский, недавно пришедший в группу консерваторец Юра Мержевский, а вот кто был за барабанами – не помню, с ударниками в «Россиянах» была вечная чехарда. Впрочем, слабых барабанщиков там никогда не держали, этот тоже стучал отменно. «По улице шла мерзость – и не видна в толпе», – зловецким речитативом сообщал Жора, приподнимая в неосуществленном шаге ногу и какое-то время оставляя ее на весу (отведи он ногу чуть в сторону – точь-в-точь доberman у забора). Мержевский время от времени решительным движением забрасывал бас-гитару за спину, брал скрипку и, волнообразно выгибая тело, весь устремленный в невидимую точку на четырехколесном грифе, будто в неумолимо засасывающую воронку, распарывал воздух пронзительными пассажами. А Жора уже пел:

А утром как будто мир наш светлей.
Давайте мы будем жить веселей!
Все наши печали – просто пустяк:
Жизнь – радость, жизнь – праздник.
О, если бы так...

И дрожь пронзительного откровения пробегала по залу. Зрители цепенели, пораженные фатальной безысходностью своего земного присутствия, напо-

вал убитые открывшейся им страшной тайной мироздания. Но это длилось недолго. «Эй, кто с нами? Кто из вас? А кто не с нами, тот против нас!» – выводя в унисон голосу фузовый гитарный рифф, пел Ордановский, и его до поры сдерживаемая энергия выплескивалась в пространство, рассыпаясь вокруг явственно видимыми искрами. Наступал миг иллюзорного, но сладостно томящего единения: те, кто был на сцене, и те, кто находились в зале, становились единым телом, единым аморфным существом, творящим собственную жизнь вопреки обрыдлым правилам наружного мира. Безбрежная радость распирала грудь и рвалась из глоток. Зал ревел. Зал неистовствовал. Зал не помнил себя. Весь фимиами зрительских восторгов достался «Россиянам», и они купались в нем, как олимпийцы в дымах алтарей. «Фрам» и «Две радуги», игравшие с «Россиянами» в том же концерте, урвали от этого фимиама жалкие крохи.

Как, скажите, нам было не любоваться Ордановским в чебуречной на Майорова, в дружеской компании вкушающим под золотисто-коричневый портвейн бастурму с острым томатным соусом и тонко посеченным фиолетовым луком? Нет, это было невозможно. Теперь, конечно, время позволило многим из нас убедиться, что слава и признание действительно всего лишь дым, морок, дающий только иллюзию причащения тайнам бытия. Иллюзию и ничего более. Но тогда для нас, осознавших неодолимое желание ступить на звездную дорожку рок-н-ролла и уже сделавших по ней первые шаги (мы уже писали собственные песни, несколько раз выступали на танцах в школах и каких-то ПТУ и, как водится, ловили из зала вождедеющие девичьи взгляды), Ордановский предстал безоговорочным кумиром. Пусть сами мы не были склонны к свинцовому року, а, скорее, к панку и «новой волне», все равно он был для нас фигурой, сопоставимой – прости, Господи – с каким-нибудь нижним ангельским чином. Вот только раздолбайка Рита обслуживала его стол безо всякого почтения (не раз голодный Жора съедал, отщипывая по кусочку, весь лаваш, прежде чем дожидался человеческой пищи) – длинные волосы в ее системе ценностей явно не отнесли к числу мужских добродетелей.

Наша первая встреча на равных (так нам хотелось думать, что на равных) случилась лишь в восьмидесятом, на небывалом до тех пор подпольном «тройнике» в клубе завода «Лентрублин» – сэйшене, где за день были отыграны три концерта: утренник в девять, полдник в двенадцать и третий, соответственно, в три (знаток нумерологии, возможно, что-то бы отсюда вывел). Выступали «Россияне», «Зеркало» и мы, никому не ведомая поросль, честолюбивые юнцы, мнящие себя идеалом современника, взошедшего на верхнюю ступень посвящения в таинства прекрасного. Заблуждение, свойственное юности вообще, а потому прощительное. Как дебютанты мы были «на разогреве», вторыми играли «Россияне», а право завершать программу выторговали себе хозяева аппарата – «Зеркало».

Для тех, кто не знает: три концерта в день – много. Особенно, если выкладываться по полной – иначе приличные рокеры и не работают, – спускать положенные семь потов, а после отжимать в гримерке мокрую насквозь рубашку. Пусть это не сольники, а сборные концерты (в отличие от квартирников, практически все «электрические» сэйше-

ны в ту пору были сборными), три в день – все равно много.

Утренник мы отыграли бодро, с лихвой восполняя бойким задором отсутствие навыков сценического движения и общих знаний законов этой деревянной, некрашеной, какой-то серой и пыльной на вид сцены. Правда, мы изрядно лажали в голосовых раскладках – подзвучку «Зеркало» ставило под себя, и если звук в зале вытягивал оператор на пульте, то на подмостках друг друга мы почти не слышали, – однако имиджу разбитной панк-группы подобная вокальная небрежность пошла лишь на пользу. Вот образчик наших опытов (в их литературной составляющей) тех былинных лет:

У деда комиссара возьму я китель старый,
Возьму я китель старый, простреленный в боях,
В пожарах бывавший и порохом пропахший,
Немало повидавший в далеких тех краях.

У папы инженера возьму я галстук серый,
Такой же галстук серый, как тысячи других,
На заседаниях важных, в баталиях бумажных
В глаза глядевший страшных начальников своих.

У брата пацифиста возьму я старый «Wrangler»,
Залатанный, зашитый и в пятнах от вина,
На сэйшенах бывавший, канабисом пропахший,
Немало повидавший в былые времена.

И выйду я на Невский, и люди удивятся,
Скажу я: «Люди, чудо! Смотрите на меня!
Не зря вы воевали, бумаги составляли,
Канабис потребляли – вы все моя родня!»

Зал заводского дома культуры, набитый под завязку пестрой деклассированной толпой, свистел и орал, как по той поре свистел и орал лишь 13 сектор стадиона имени Ленина, юный псих по кличке Панк Московский брызгал направо и налево фиолетовыми чернилами из водяного пистолета, Ордановский за кулисами улыбался, Мержевецкий показывал оттопыренный большой палец. Потом играли «Россияне», и уже мы с тихим ликованием, окрыленные собственным успехом, смотрели на них из-за кулис. Как всегда они были великолепны. Каким путем им всякий раз удавалось избежать артистического притворства, от которого не страхует ни профессионализм, ни способность себя подчас без самооправданий осуждать? Бог весть.

Отработав программу, Ордановский, Мержевецкий, клавишник Азаров и тогдашний барабанщик «Россиян» Игорь Голубев, рокер первого призыва, уже с заметной сединой в волосах, пригласили нас в свою гримерку – слушать анемичное «Зеркало» ни им, ни нам было не в охоту. Как водится, народу в комнатку набилось битком, в воздухе – гам и табачный дым, кругом позвякивали бутылки и стаканы. С нами тоже была группа поддержки, хвостом юркнувшая в россияновскую гримерную, – Гена Атаев, увлекшийся на тот момент блок-флейтой и фотоаппаратом, вечно хихикающий и что-то проповедующий Дима Мельников и... Мог ли я подумать в то время, что когда-нибудь забуду имена приятелей, с которыми тогда был повязан зыбкими узами веселых хмельных бдений? А вот – забыл. Впрочем, фамилия третьего, кажется, была Попов.

Ордановский бросил на спинку стула мокрую черную рубашку и натянул на плечи другую – бе-

люю (подчас в приватной обстановке он, похоже, позволял себе невинную измену раз выбранному цвету). Потом мы с «Россиянами» обосновались в уголке, на время отделившись от свиты их друзей и почитателей, и Мержевский пальнул в потолок пробкой шампанского, довольно в тех обстоятельствах диковатого. Жора оказался начисто лишен чувства собственной важности (не в пример нашему приятелю Мельникову, воображавшему себя идеологом поколения), он был приветлив и прост, шутил легко, а не колко, говорил нам лестные вещи, и мы млели от несказанного счастья. Что может быть отраднее признания твоих заслуг собратьями по цеху? И не просто собратьями, а самыми из них лучшими, самими... Словом, тут все ясно. Чем мы могли на это ответить? Только портвейном, припасенным в наших сумках. Атаев едва успевал щелкать затвором фотоаппарата.

Второй концерт мы отыграли с веселым хмельным вдохновением, удивив стоявших за кулисами «Россиян» тем, что не повторили ни одного номера, – у нас была готова программа на полноценный сольник, и на этом сборном «тройнике» мы решили выдать ее по частям. Пока мы зайчиками скакали по дощатым подмосткам, распевая про то, как «розовый слон бежит по джунглям», а после про то, как «на лугу, расправив спинки в золотом пушке, ярко-розовые свинки тянутся к реке», Мельников и Попов бились в очереди ближайшего гастронома за новую сумку портвейна. Потом на сцене блистал Ордановский, низким, с яркими модуляциями голосом призывая наэлектризованный и уже готовый к истерике зал: «Окна открой,пусти небо. Дверь отвори, стучит утро!» На нем опять была его черная рубашка, кое-как просохшая за пару часов, и он был неотразим. Вновь оказавшись в гримерке «Россиян», мы пили сначала их портвейн, а после того, как Мержевский назвал нас «новыми «Битлз», которых все так ждали», и посулил нам великое будущее, откупорили свой.

Я далек от мысли, что лестные отзывы мэтров имели целью вынудить нас хорошенько проставиться, просто у людей был хороший, очень хороший, да что там – безупречный вкус, и своими искренними речами они его наглядно демонстрировали. Именно так. И, пожалуйста, никаких фантазий на эту трепетную тему.

В гримерке царила оживленная суматоха, туда-сюда по комнате бродили знакомые и полужаные подвыпившие субъекты, и в этой толчее куда-то запропастилась черная концертная рубашка Ордановского. Жора озабоченно заглядывал под гитарные чехлы, шарил на заваленном вещами подоконнике, рылся в висящем на вешалке тряпье и на глазах мрачнел. Мы то и дело отвлекали его от поисков, поднося граненый стакан с сияющим портвейном (тогда надежный граненый стакан еще не вытеснили пластиковые одноразовки, тогда в руке еще ощущалась вещь, которую в случае нужды можно было даже передать по наследству). Он улыбался, выпивал и снова отправлялся на поиски. Постепенно событие перерастало в неуправляемую пьянку.

В какой-то момент наш тогдашний гитарист Сергей Данилов (экс-«Мифы»), взглянув на полные стаканы, задумчиво изрек: «Если мы сейчас это выпьем, мы согрешим против искусства». И впрямь, нам вот-вот предстояло третий раз выйти на сцену. Некоторое время мы колебались. Однако – что поделать – согрешили.

Результат вышел несколько неожиданным. В песне «Черви» кода была такая: все инструменты должны были разом замолчать после шести тактов жесткого басового риффа. Такой финальный резкий блям-м-м. Песня эта была новая, еще не отрепетированная до полного автоматизма и не записанная навечно в матрицу мышечной памяти. Тем не менее после шестого такта все действительно замолчали. Все, кроме меня и барабанщика. То ли мы просчитались, то ли увлеклись, то ли разучились считать вовсе – теперь точно не скажешь. Осознав свою оплошность, мы принялись спасать ситуацию и голой ритм-секцией выдали такую неожиданную импровизацию, что впоследствии по результатам опроса музыкантов и зрителей я был признан лучшим бас-гитаристом сезона. Кроме того, непосредственно после концерта к нам подошел гороподобный Панкер, он же Монозуб (зуб у него был не один, просто на месте левого верхнего резца зияла дыра), и предложил турне по Прибалтике – «Икарус» уже зафрахтован. Тогда мы еще не знали, что возможность организации подобного турне существовала только в его голове, от природы склонной к невинным фантазиям. Забыл, как назывался тот волшебный напиток в наших сумках, а то бы непременно порекомендовал его спецам по дрессировке телепузиков из какой-нибудь фабрики корифеев.

А Жора так и не нашел свою рубашку. Думаю, финал этого «тройника» был единственным исключением в его концертной практике, когда он вышел на сцену без черного «верха» – на нем была та самая белая сменная рубаха, которую он надевал в гримерке. Что это значило? Для Ордановского чрезвычайно много – без черного цвета, как и без его роскошной гривы, представить Жору было просто невозможно, без них он словно бы развоплощался, переставал быть собой, терял всю свою победительность. Он становился все равно что голым, и что всего хуже – именно таким себя чувствовал. Вероятно, зал тоже чувствовал его наготу. Не мог не чувствовать...

Развязки я не видел – у нас еще оставался портвейн, и, окрыленные удачей, свободные, как Пятачок, до следующей пятницы, мы устремились в собственную грим-уборную. Говорили потом, что последний концерт «Россияне» отыграли вяло, без вдохновения, что удержать зал им удалось лишь благодаря сценическому опыту и магии своего имени... Не знаю, так ли все выглядело на самом деле – нас там уже не было.

Может показаться, что, говоря об Ордановском, я говорю о чем-то другом, паразитарно примазываю к его имени какие-то несущественные личные впечатления и мотивы, но как иначе? Только оттолкнувшись от личных впечатлений, тактильного ощущения тепла, податливости кожи, терпкого вкуса вина или помады во рту, фантомных запахов, которые, тем не менее, способны вполне реально кружить голову, у нас и получается что-то понастоящему вспомнить. Вспомнить и вновь пережить то пережить.

Неделю спустя мы, как обычно без всякого повода, а единственно из желания «проводить вечность», отправились в чебуречную на Майорова. В тот раз к нам прибился Попов. Внизу, в мерцающем огнями зеве бара, гремели «Вопну М»; бармен Саша смешивал коктейль «Олимп» нервному «мажору» Виталику. На лестнице, ведущей на второй этаж, переминалась небольшая очередь, однако нам дер-

жала столик Рита, и мы, направившись к гардеробной стойке, послали в зал Попова, чтобы Рита не встретила и тем сняла возможный во всякой очереди нервный ропот.

Когда Попов вернулся, на губах его играла скверная улыбка.

– Я с вами не пойду, – сказал он.

– Что так? – удивился я.

– Там Жора, – сказал Попов и распахнул куртку.

Сначала я не понял, но через мгновение до меня дошло: на нем была черная рубашка Ордановского.

Совестно признаться, однако тогда у гардеробной стойки я просто попрощался с Поповым и как ни в чем не бывало отправился пить под хазани портвейн «Кавказ». Мне, кажется, даже было немного весело. И только несколько минут спустя в зале чебуречной, когда я пожимал руку Ордановскому, мне стало стыдно. Ужасно стыдно. Так стыдно, что я зажмурился. Вечер был испорчен – чебуреки и ароматные хазани предстояло есть без всякого аппетита.

Сказать по чести, в куче воспоминаний, пылящихся в моей памяти, подобного стыда отыщется немного. Я был виноват перед Жорой не потому, что привел на тот «трюйник» Попова, а потому, что у гардероба той же рукой, которой брал номерок и которой сейчас жал ладонь Ордановского, не засветил Попову в ухо. Теперь было поздно и поздно навсегда – когда мысль опережает действие, действие становится неестественным, а стало быть, лишним. Всё – я не прошел испытание, фарш невозможно повернуть назад. Окончательно невыносимой эту ситуацию делала моя твердая уверенность в том, что, поменяйся мы с простосердечным Жорой местами, на костяшках его руки были бы ссадины.

В тот день я испытал всю глубину стыда и приговорил себя к высшей мере раскаяния. И вот результат – мне уже не вспомнить его, Попова, имя...

Потом мы еще несколько раз играли на сэйках с «Россиянами», Атаев извел на Ордановского не одну катушку волшебной черно-белой пленки, а Панкер в Репино сломал нос приятелю Алика Азарова. Потом было много всякого... Когда из «Россиян» ушел Мержевский, Жора пригласил на бас меня – мне было чрезвычайно лестно, однако тогда я как раз увлекся акустикой и от приглашения отказался. Допускаю, что дело было даже не в увлечении акустикой, а в режущем чувстве вины, которое с годами выцвело, но полностью так и не стерлось до сих пор.

Летом 1983 года, отыграв на фестивале в Выборге, «Россияне» замолчали. Они готовили бомбу – совершенно новую программу: Жора написал уйму песен, надо было их аранжировать и отрепетировать, чем на своей базовой площадке «Россияне» в тихую и занимались. На февраль 1984-го был запланирован концерт, где Ордановский обещал представить свежий репертуар... Однако мастеру земных и прочих дел угодно было, чтобы эта премьера не состоялась.

12 января 1984-го у Жоры случилась последняя фотосессия. Фотограф Наташа Васильева встретила его в гостях у, как она выразилась, «небезызвестного в определенных кругах Леши С.», которому один студент накануне подарил привезенную из Средней Азии змею. Эту змею – впоследствии выяснилось, что это была гюрза – посадили Ордановскому на шею, и Наташа снимала Жору, пока змея позвала по его голове и лицу. Выглядело это очень странно, и

сам Жора был странный. Вот как вспоминает тот день Наташа:

«Фотографировать его – удовольствие, выражение его лица меняется от шутовского оскала до утонченной одухотворенности с мгновенной легкостью, причем, ни тени фальши или притворства нет ни в том, ни в другом.

Однако в этот вечер он был явно сам не свой. Во-первых, трезв и трезв по-настоящему, то есть уже несколько дней подряд. Во-вторых, видно было, что его что-то мучает, что-то не дает ему быть спокойным или веселым. До такой степени не дает, что он даже пытался высказать это. Очень сумбурно, неумело, а главное, искренне, что произвело безусловно тягостное впечатление на присутствующих гостей – они-то пришли развлекаться, а не решать мировые проблемы... В общем, даже этим людям, которые сами многим кажутся чокнутыми, Ордановский показался в этот вечер сумасшедшим».

13 января на старый Новый год Жора приехал на дачу к приятелю в поселок Семрино, что неподалеку от Вырицы. В разгар веселья он вышел из дома на улицу, бросив оставшимся: «Кто хочет, тот догонит». С тех пор больше его никто не видел.

Поначалу ходили слухи, будто он кому-то звонил, будто его кто-то где-то встречал, узнав со спины, будто Ордановский угодил в милицию, где его обрили «под ноль» и дали пятнадцать суток, так что теперь он не показывается на людях, ожидая, когда отрастет его бесподобная шевелюра. Потом были версии с монастырем (припомнили, что в последнее время он не курил и не пил), с отъездом в Америку или в Псковскую область к одной знакомой... Потом появилась история с похищением инопланетянами (по этому случаю тоже что-то припомнили, более того, истинность этой версии засвидетельствовал Рулев из «Патриархальной выставки», имевший с пребывающим в созвездии Весов Жорой контакт через медиума Виолетту). Словом, несмотря на возникающие тут и там разговоры об убийстве (панками – за длинные волосы, гопниками – за благородство помыслов и души), в то, что Жоры больше нет, никто не хотел верить – ко всему тело его так и не было найдено.

В 2000 году, когда уже отошли в прошлое мемориальные, посвященные памяти Ордановского концерты, у кого-то возникла идея фильма об истории «Россиян» и целый ряд сопутствующих этой идее проектов (реставрация на цифровой аппаратуре записей, издание текстов и т. д.). Для реализации этих планов потребовалось обеспечить соблюдение определенных формальностей, в частности необходима была юридическая ясность относительно Жоринского присутствия в пыльном мире реальности: он есть или его нет? Двусмысленность в подобных вещах, как и в операциях с недвижимостью, не допускается. Подготовив необходимые бумаги, адвокат матери Ордановского по всей форме обратился в суд. В результате, спустя семнадцать с лишним лет после исчезновения лидера «Россиян», 10 мая 2001 года Федеральный суд Красносельского района Санкт-Петербурга вынес решение о признании Георгия Владимировича Ордановского умершим. Не знаю, был ли снят тот фильм, якобы из-за которого была затеяна вся эта юридическая возня, но, оказывается, можно и так убить человека...

У него нет ни могилы, ни кенотафа – пустого захоронения, какие греки сооружали своим героям, если тела их остались на чужбине, – увы, родным,

друзьям и бывлым почитателям приносить цветы некуда. Есть рок-фестиваль «Окна открой», которому Ордановский, будучи об этом не осведомлен, дал имя, и это, пожалуй, все, что в мире вещей и явлений осталось от Жоры, помимо фотографий и непрочной материи воспоминаний. То же и в божественной области созвучий – «Россияне» были концертной группой, кроме пары случайных «грязных» записей из зала, их музыка до нынешних времен не дошла.

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем –
Пройти, чтоб не оставить следа,

Пройти, чтоб не оставить тени...

Конечно, это не об Ордановском, и все же... И все же несколько о нем. Он светился, а сияющее тело не отбрасывает тени, оно отбрасывает свет.

Как бы там ни было, Ордановский ушел красиво – молодым, на взлете. Так же красиво, не пережив свой звездный час, не похоронив его в собственном прошлом, как лелеемый укор блеклому настоящему, из жителей этого некрополя ушли еще разве что Цой, Кондратьев и Курехин – ушли напрямик по лунной дорожке, постеленной им милосердным ангелом. Покоя тебе, Жора, если ты мертв, мужества – если жив.

ДЕТЕКТИВ, ФАНТАСТИКА

Григорий АРТИУХОВ

БРОНЗОВОЕ СЛОВО

*Зима как будто извинялась,
Что на помине не легка,
И осень, уж издавека,
Над робостью ее смеялась...*

Маркьян ВЛАСЮК

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1. ЛИТЕРНЫЙ № 141Т

Но и зима, как известно, проходит. По Санкт-Петербургу, позванивая ручьями, словно цыганка своим монисто, разгуливая весна. В южной окраине города между железнодорожными станциями «Фарфоровский пост» и «Навалочная» на четвертом пути стоял товарный состав №141Т. Через трое суток предполагалось его прибытие в прославленный морской город Мурманск. Конец апреля – время обострения авитаминоза. Его беспощадность в немалой степени предопределяла наличие в составе вагонов с фруктами, овощами и другими витаминодержащими, необходимость в которых у северян резко возрастала за период полярной ночи. К примеру, в холодильной камере № 2 находились рыбные консервы из Прибалтики и две бочки отменного голландского рыбьего жира для карапузов Кандалакши и Печенги. Вы спросите «Зачем же в Тулу с самоваром?» Так не мы же с вами формируем поезд... В край дивных небесных сияний собрались вагоны основного кругляка, две платформы с ходовыми винтами для рыболовецких судов, промтовары и многое другое. Практически все готово, можно было бы и трогаться. Бо, бо, бу, бу – урчат дизеля тепловоза. А горожане спят: сопит Невский район, дружно похрапывает Купчино. Дрыхнут все! На дворе ночь и снег вперемешку с дождем. Бррр...

Но что это? Возле хвоста поезда образовалась непонятная суета. Бряк!.. – лягнула стрелка. Ах, какая жалость, что голова прожектора упала на грудь столба! Теперь он, сгорбившись, светит лишь себе под ноги, из-за чего трудно разобраться в происходящем. Люди, лошади... И что они там затевают? Зачем-то с третьего пути

прикатили и прицепили четырехосного «алтайца», более известного в народе под названием «пульман». Убежали... Кони да кобылки, перебирая ногами, шуршат мокрой щеченкой, но стоят молча. Хм, еще один вагон прицепили!.. И еще!.. Раскрыли двери, полезли внутрь. А народу-то!.. Откуда столько и взялось? Отметим: народишко странноватый, разномерный. И лошади туда?.. Ну, знаете!.. И все. И тихо. Не иначе, киношники собираются в край фьордов и сопков на съемки ремейка о Чапаеве. Хотя, возможно, это цыгане... Странно, очень странно. От головы до хвоста товарного пробежала дрожь. Никак поехали? Что ж, тащи, дружище тепловоз, свой выводок к Северу, самое время...

Выехав из Питера в 00 часов 20 минут субботы, в 23-45 того же дня литерный стоял под разгрузкой в Беломорске, оставляя городу сорок тонн свинины из Буэнос-Айреса и судовой винт для ремонта сейнера «Умба». А в полусонном Петербурге к этому часу свирепым весенним ветром только начинало раздувать страшный скандал! Впрочем, в последних вагонах состава также было спокойно, но об этом чуть позднее. Срочно! Срочно в град Петров!..

Глава 2. ПРЕТЕНЗИИ ЯПОНСКОГО ПИСЬМОНОСЦА

Все началось с того, что гостивший в Северной Пальмире японский почталыон по имени Хабомаи Куна

шир, вернувшись с обзорной экскурсии и отужинав в ресторане Гранд отеля «Европа», вздумал предьяв-

лять претензии представителю тур-агенства принимающей стороны. Он заявил:

– Я подосориваю, сто меня обманули, да. Это не Сатана-Петебурга! Я тут ситвертый раз я тут. Я привык с окна видима музея Русский и памятник Пускин. А Пускин нету. На Сенатовской пlossядь Садник Медный нету. Достаневский тоза иссез. Эта бесабрасий. Барклай де Толя? Кутусов де Миса, а?

Менеджер Гранд отеля, отвечающий за свежесть подаваемых постояльцам «культурных» блюд, Герман Евгеньевич Щелкунчиков, холеный, румяный улыбочивый колобок, выскользнул из шикарного итальянского кресла-качалки и вместе с японцем подкатился к окну. Через пару секунд его роток еще продолжал улыбаться, а вот глазки уже нет. Взяв господина почтальона под локоток, он, не потеряв лирического настроения уходящего дня, вместе с японцем скатился в холл, потом они «оседлали» служебную «вольво» и «ускакали» на Сенатскую. Вот оттуда-то господин Щелкунчиков и обеспокоил самого культурного в городе чиновника, поиграв пухленьким пальчиком на клавишах мобильника. Разговор получился дерганым и коротким: было решено обсудить нюансы по возвращении Германа Евгеньевича в офис. Извинившись перед гостем и поинтересовавшись здоровьем его мамы, Щелкунчиков приказал водителю вернуть их в «Европу» и по дороге убедил письмоносца в том, что за окном автомобиля – Санкт-Петербург, и что досадное недоразумение с бронзовым императором скоро прояснится. Господин Хабомай кивнул и... кивнул еще раз.

В понедельник на это событие откликнулись уже и бдительные утренние газеты, опубликовав список загадочным образом исчезнувших образчиков архитектуры малых, средних и прочих бронзовых форм. И началось!..

Бульварная пресса – как же без нее в городе семи бульваров, не считая торговые ряды под названием «Французский бульвар» на бульваре Новаторов, почитавшая, что столь любопытное и на редкость масштабное событие нельзя обойти вниманием, решила не пожалеть места на страницах своих изданий. Да тут-то вдруг и выяснилось, что главный орган сотрудников «желтушек» давно атрофирован – одолеть такую тему «гепатитным» не под силу!.. Два дня они тужились в кабинетах, носились по коридорам, извозив друг дружку «голубыми» сопельками и «розовыми» слюнками. Наконец успокоились и вернулись к любимому делу – надуванию «уток», которым не страшен птичий грипп, и облизыванию резиновых кукол с огромными сиськами. А на что еще способны эти «евнухи от журналистики», в усердии своем сладоостранно обсасывающие шариковые паркеры силиконовыми губками бездарности?..

Читатель, дружище любезный, прости меня в очередной раз. Сам знаю, да и «на вид» мне ставили неоднократно, что, увлекаясь излишне, нередко отклоняюсь от главной темы повествования. Исправляюсь, мой дорогой, исправляюсь немедленно и предлагаю твоему вниманию отрывок из «Ведомостей». В нем, помимо собственно редакционных догадок, предположений и скоропалительных, на мой взгляд, оценок, приводится подробный список пропавшего городского имущества.

Справедливости ради отмечу, что первой по этому поводу пробила тревогу газета «Жизнь на

ощупь», издаваемая петербургским отделением Всероссийского общества слепых. Но их список оказался неполным. Итак, отрывок из «Ведомостей»:

«...Просто невозможно поверить в это, дорогие соотечественники, земляки. Осиротели мы с вами многократно. Теперь у власти нет ни малейших сомнений в том, что в городе орудует организация, наглость которой беспредельна. Пропали не только два памятника основателю города – с Сенатской площади и от Михайловского замка, пропало и наше «Все», причем в двух экземплярах – с площади Искусств и с улицы Пушкинской. Исчез венценосец с Исаакиевской площади, в неизвестном направлении отбыл и владеец «комода с бегемотом» от Мраморного дворца. Петербургская богема пребывает в состоянии наиглубочайшей подавленности в связи с исчезновением памятников: Гоголю, Некрасову, Достоевскому, Шевченко... Опустила скамья на Лермонтовском проспекте!.. А кому, позвольте спросить, теперь нужна, ставшая бесхозной, мебель с Пионерской площади? Исчезли и мелкие вещи. Неизвестно местонахождение скульптурной композиции «Женщина и мальчик» из Музея городской скульптуры. (Ничего себе, мелочь! Это же Валечка Вахрушева-Грибоедова, гражданская жена Александра Сергеевича и их сынишка, отрок Сергей Александрович. – *Прим. автора.*) Несомненно, придет время, и мы взыщем с варваров за городского с Малой Конюшенной, за М. И. Глинку, Кутузова, Барклая де Толли, Круженштерна, В. В. Маяковского и за гранитную голову поэта, что стояла в скверике на пересечении улиц Некрасова и Надеждинской. (Многие горожане после исчезновения бронзового Поэта из наземного вестибюля станции метро «Маяковская» до сих пор недоумевают: куда теперь девать фантики, пустые сигаретные пачки и жвачку? Раньше было так «удобно» – сунул мусор в щель между стеной и фигурой «горлопана-главаря» и шагай себе дальше. Ну, удобно же!.. – *Прим. автора.*) Не уйдут от возмездия укравшие скульптурную группу с площади Победы и три известнейшие всему миру статуи с Аничкова моста. Ответят, за все ответят поднявшие руку на слугу Отечества нашего графа Ивана Антоновича Каподистрию и на памятник Саше Кондратьеву. За каждый килограмм российской бронзы отчитаются алчные и бездушные вандалы...»

Далее приводился перечень: людей столько-то, лошадей, ружей, сабель и прочего имущества столько-то. Итого: общий вес похищенных бронзовых изделий равен пятидесяти тоннам и тремстамдвадцатидвум килограммам. Вот такой получился «Чапаевский ремейк». Такие вот цыгане!..

Небезызвестный литературный критик Иосиф Кириллович Прыщ потирал руки.

Алевтина Сергеевна Кружанская возмечтала немедленно посадить губернатора... в спецкресло и сделать ему «такую, блин, пластическую операцию!..» Вишнев утренних газет не читал, но происшедшим был ошарашен настолько, что вечером в понедельник в докучаевской кухне языком ворочал с трудом и вообще в речи был чрезвычайно невнятен. Да и Юрий красноречием не блистал.

– Похоже, маски сброшены, – выдохнул Сергей.

– Господи, на тебя токмо и уповаю, образумь несчастных, – вознес мольбу Юриваныч, глядя на церковь за окном. Но кого он при этом имел в виду, сказать было невозможно.

Вот и прозвучали миноры петербургского ритура-
неля, причем – конкретно и достаточно фортиссимо.
А что же наши «цыгане», как там у них жизнь проте-
кает?..

Глава 3. ОШИБКА БРОНЗАЧЕЙ

На обустройство в новой ситуации у беглецов
ушло около часа: в темноте долго суетились, уступая
друг другу места; роняли вещи, искали, находили,
путали. При этом образы возникали презабавные.
Пока Крузенштерн, чиркая спичкой, пытался зажечь
свечу, можно было увидеть: Николая I с Некрасов-
ской книжкой в руках; Петра Сенатского без сабель-
ки, зато в пенсне Грибоедова; мелькал Некрасов с
венком императора на голове и с крузенштерновским
кортиком на шее. Наконец, свеча загорелась, за ней
другая, по вагону пронесся смехок...

Из ящиков, деревянных чурбаков и металличе-
ских бочек соорудили мебель. Расселись. Заговари-
ли... Николай Алексеевич пристроился около не-
большого окошка, расположенного под самым по-
толком. Оно стало его наблюдательным пунктом. Два
последних вагона крыши не имели, поскольку явля-
лись полувагонами, выпускаемыми Крюковским ва-
гоностроительным заводом. Зато, учитывая, что в
них ехали заядлые курильщики, это было даже хо-
рошо. Между прочим, данная модель в 1958 году на
Всемирной выставке в городе Брюсселе была удо-
стоена золотой медали! В таких вот легендарных ва-
гонах и находились государевы кони и три лошадки с
Аничкова моста вместе с укротителями. Сия троица
незаконнорожденных сыновей графа Воробцова из
деревни Мурино вызвалась присматривать за живот-
ными, сказав: «Ничо-о, полтора года лет при скотине
состоим, справимся». Матвей и Лука Машкины при-
глядывали за романовскими, Иоанн не сводил глаз со
своих. Были у братьев и помощники – мужики со
Средней Рогатки, то бишь с площади Победы. Здесь
необходимо упомянуть, что четвертому мужику с
Аничкова моста – тому, что стоит ближе к Дворцу
творчества юных – было отказано в поездке. Егор
Бревнов из деревни Лаврики, укротитель строптиво-
го, просил сердечно: «Коня возьмите на выгул, а я,
так уж и быть, останусь. Пригодится лошадка-то».
Ан нет. Отказано ему было вежливо и категорично:
«У коника твоего, Егорушка, на яйцах портретически
лик Наполеона Бонапарта изображен, так что на по-
нимание политического момента с твоей стороны
рассчитываем зело. Не бывать боле хранцузнику сему
в Москве. Не взыщи, брат. Все претензии к Петру
Карловичу. Эко выдумал!.. Вот тебе, любезный, руб-
лик. Ступай, выпей анисовой, согрейся». Лермонтов
отказ сей самолично и сформулировал. Строгий
получился кастинг.

Отмечу наиважнейший момент – бронзачи были
убеждены, что едут в Москву!.. Собственно, детали
этого мероприятия они и обсуждали при свечах.
Вспомнили Пушкина-Баха, не принимавшего участия
в походе на престольную по причине признанной
уважительной. Если в адрес Александра Сергеевича
Дыдыкинского с Мойки, 12 (тоже отсутствовавшего)
попеняли – мол, «калитку деревянную, что на воро-
тах, мог бы и с петель своротить» – то Царскосель-
ский Пушкин-Бах за свой поступок удостоен был по-
хвалы необычайной. Столь трогательное отношение
Поэта к потомкам, заблудившимся в густом, ядови-
том тумане последних преобразований, явно заты-

нувшихся по причине bestолковости чиновников,
многих заставило прослезиться. Александр Серге-
евич знал, как его ждут, и обещал быть непременно.
Но, со слов курьерши Гали, побоялся даже шевель-
нуться, дабы не разбудить пристроившегося у него
на коленях бомжа, заваленного грязным, вонючим
тряпьем, которое навряд ли могло согреть неприка-
янного и его изодранную вдрызг душу...

Но сколько можно обсуждать детали? На дворе
начало пятого и скоро с левой стороны по ходу поез-
да, по их мнению, должно было порозоветь. Многие
спали. В середине вагона за импровизированным
ломберным столиком, поигрывая в картишки, сиде-
ли, знающие в этом толк: Достоевский, Кутузов,
Петр Растрелли и Маяковский. Часовой Некрасов ку-
нял у окошка. В это время поезд застучал особенно
громко: он въезжал на мост, оставляя позади город
Волхов.

– А скажи-ка, друг Никола, – тихонько обратился
к Некрасову Федор Михайлович, только что объя-
вивший крестовый марьяж, – где мы сей момент на-
ходимся?

– Волхов проезжаем, – буркнул проснувшийся
часовой.

– Чудненько, мой милый... Волхов, значит, Мост,
– весело пропел Достоевский, забирая хорошую
взятку и имея в виду название железнодорожной
станции, что сразу за городом Чудово.

– Ну, конечно, он самый – Волхов... мост, – позе-
вывая, произнес друг Никола.

– Отменно! Мсту передем и рассвет, – бодро из-
рек оставшийся без козырей Петр.

И действительно, примерно через час в щелях де-
ревянной обшивки и в окнах вагона затрепетала лег-
кая мажентовая ткань рассвета. Только заколыхалась
она не с левой стороны, а с правой!..

– Прошу внимания, господа, – подчеркнуто спо-
койно произнес Михаил Илларионович, заметивший
несуразицу. – Сколь помню, восходы случаются на
востоке. Николай Алексеич, дружэ вы наш, какие
картины в окошко видны вам?

– О! Дивные, дивные виды, Михал Илларионыч! –
произнес Поэт и осторожно, чтобы не наступить на
спящих, перешел к окну на противоположной сторо-
не. – Прелестные утренние картины матушки Руси.
Переезжаем мы сейчас, други мои, через реку под
названием Паша...

– И что она, хороша? – поинтересовался генерал-
фельдмаршал.

– О-о-о!.. Хороша-а, – выдохнул Николай Алек-
сеевич.

– Позвольте, позвольте. Что вы мне арапа заправ-
ляете?.. А Мстинский мост... разве проехали? – уди-
вился Федор Михайлович и развел руки так, что от-
крыл козырей.

– А ничего похожего и не было, – сухо ответил
караульный и уперся растерянным взглядом в кар-
тежников. Возникла пауза...

– А ну, карту на стол! – скомандовал Кутузов, и
Маяковский с Достоевским карты кинули. – Да не
эти. Карту местности!

Их величество поразмышляли секунду и вытащи-
ли из левого рукава карту Ленинградской области,
следом за которой на пол спланировал король бу-
бей...

– Пе-етр Алексеевич... – укоризненно выдохнула
проснувшаяся гранитная голова трибуна. Но игрокам
было уже наплевать на такие мелочи. Ими овладело

беспокойство, связанное с правильностью избранного пути следования.

– Тэ-экс, – Кутузов, изображая пальцами ножки циркуля, крутил-вертел рукою и, наконец, уткнувшись мизинцем в юго-восточное побережье Ладоги, произнес: – Господа, так мы же не в ту сторону едем!.. Вот она, Паша...

Бронзовые головы двинулись к кутузовскому мизинцу одновременно, и над Лодейно-польским районом словно ударили в колокола!..

– Мат-терь Божья! – воскликнул Федор Михайлович, обреченно опускаясь на ящик с остатками толевых гвоздей.

Так вместо Москвы они и оказались к концу дня в Беломорске!..

Глава 4. В ТУПИКЕ

Кемская волость была залеплена тяжелым весенним снегом, окончательное таяние которого планировалось метеослужбой на первую декаду мая. Ночь была, так сказать, в разгаре. Отменный ветродуй теребил края жестяной кровли пакгауза, куда шустрые автокары свозили тушки аргентинского мяса. Огромный кран готовился к исполнению команды «Вира помалу!», чтобы снять с платформы литерного один из судовых винтов. В переднем торце пульмана через отодвинутую доску за происходящим наблюдали две пары зорких бронзовых глаз...

– Да-а-а, – восхитился автор «Камаринской», указав в сторону мясного склада, – как у них все быстро: туда-сюда, туда-сюда. Ловкачи! А, Никола, согласен? – Автор «Носа» носом шмыгал и утвердительно кивал головой. Он не мог оторвать взор от гака и тросов, обхвативших винт. Крановщик прозвонил, главный стропаль поднял руку, что означало «вира», то есть поднимай! Троса подтянулись, человек, не опуская руку, крикнул: «Ну, давай, ...ля!», и винт медленно поплыл вверх.

– О, шо творят! Настропалились, стропали-то. Молодцы, сукины дети, – похвалил рабочих Гоголь.

Не спали этой ночью Грибоедов, пост которого находился у двери пульмана, и Саша Лиговский. Он находился на связи с пассажирами второго вагона. Все они составляли собой дежурный квартал, старшим вахтенным являлся Глинка. Круглосуточное дежурство было предложено Кутузовым с первой ночи, Крузенштерн его поддержал.

Забавный эпизод произошел под Петрозаводском. Расшалившийся было отрок Грибоедов назвал Ивана Федоровича Крейзиштерном! Адмирал не обиделся на шалопая, попенял чуток, и все, но от мамаши сорванцу шлепок достался звонкий. Этим инцидент был исчерпан. Да, собственно, и упоминать не стоило – пустяк.

Вдруг с улицы послышались голоса. Грибоедов тут же просвистел музыкальный фрагмент из «Шербургских зонтиков», Пушкин дал сигнал в соседний вагон и поставил доску на место. Так же поступил и Николай Васильевич. Глинка подошел к Грибоедову, и они вместе прикинули к двери...

– Ты смешной, Федя, – слышалось с улицы. – Откудова мне знать? В документах указано: последние вагоны – с бронзовыми изделиями. И приписано – для Москвы!

– Но по Москве-реке сейнеры не ходят, да, Сеня?

– Я теперь ни черта не понимаю. Давай глядеть. – Сеня долбанул монтировкой по щеколде, и они ото-

двинули визгливую дверь. Фонарь вспыхнул ярче, обходчики-комплектовщики шагнули внутрь...

Луч «летучей мыши» порхнул под потолок и, обливав стены, опустился на пол. На глаза рабочим попалась бочка с хороводом ящиков вокруг и разлегшейся на ней бубновой дамой. В свете фонаря взорам железнодорожников стали являться странные рельефы. Угадывая по очертаниям лежащего на полу товара людей, Федор вздрогнул, как если бы вдруг оказался в прозекторской. Лики статуй были искажены лучом света, но и среди тех, кого испуганные мужики разглядывали с особым тщанием, знакомых им лиц не оказалось. Вдруг Семен дернул товарища за рукав:

– Кажись, Кутузов!..

– Вроде, похож. А этот, что слева, все-таки Пушкин, – тоже шепотом сказал Федя. – С Лениным сходствов маловато... Поглянь, у Кутуза бумаженция какая-то, – он аккуратно вытянул из руки фельдмаршала листок с печатью.

– А ну-ка... – Семен сунул бумагу под нос «мыши» и прочел. – Так и есть – в Москве статуи ждут. Видать, в Питере профукали. – Федор тоже прочитал сопроводительную и «вернул» ее Кутузову. – Будем оттапливать. Затолкал их в тупик, а после добавим к двести четвертому «Ю», и пусть катют в столицу. Избавиться от их надо по-тихому. Дуй к Потыкину, пушай сюда со своими оглоедями чешет. Упрямся и вытолкал. Это ж надо – скока бронзы!..

– А последние вагоны будем глядеть? – поинтересовался Федор.

– Ну, быдто нет...

Дверь лязгнула, щелкнула задвижка, и мужики отправились в хвост состава. Походили там, повздыхали, ругаясь матерно... Поначалу Александр Лиговский со своего поста доложил, что Федор умчался за потыкинцами, потом Николай Васильевич со своего докладывал, как их «оттапливают» и перегоняют на место отстоя. И вот Гоголь произнес:

– Поздравляю, мы в тупике, и времени для раздумий у нас – вагон!.. Может, это – печурку соорудим, а?

Идея понравилась, и они принялись снаряжать экспедицию на дровяной промысел.

Благо куча с билием хлама и тарной доски, облепленной рыбной чешуей, оказалась рядом.

Вскоре были оборудованы дровяники и «буржуйки» в виде бочек с проделанными в них отверстиями для поддува. Ополченцы проковыряли их штыками, Крузенштерн пробил кортиком. Что бочка против адмиральского клинка! Большинство дров оказались сырыми, пропахнувшими рыбой, потому разведение огня было отложено на вечер.

Ветренный, ясный солнечный день отскверками луж, мокрого снега и рельсов пронизал вагоны насквозь. Он мог запомниться Матвеем Машкину на всю оставшуюся жизнь. Еще бы – едва не стал графом!.. После полудня, когда на станции наступило тихое обеденное время, он постучал в вагон к соседям, забыв выплюнуть папиросу. Открывший дверь Романов в одежде римского полковника от Растрелли, увидев пыхтящего дымком укротителя, втащил его внутрь и обратился к нему дрожа всем телом:

– Мат...ве...юш...ка, что это?..

– Так ить... папироса, Петр Ляксеич. «Биламор»... – ответил недоуменно укротитель.

– Оставь...затянуться, друг!..

– Натe...Вам, – оторвав слюнявый кончик, Матвей подал «римлянину» бычок.

– О-о-о!.. – выдохнул император, сделал жадную затяжку, после которой курить было уже и нечего, – Хорошо-о! Ты, Матвей, раздобудь таких папиросов поболее. Жалую тебе Кузьмолотово с Капитоловым. В графья пойдешь!..

– Ой не-е, не нать, – скривил лицо друг. – Суета да хлопоты одне. А табачку мигом исделаю. У ополченцев их много – у тех, что с пулеметом...

– Дурак!.. С отказом не горячись, – вспыхнул реформатор. – У памятников графам штаны имеются. Нешто не конфузно нагишом-то на ветру?

– Да привычные мы, Петр Ляксеич. Ничо-о!

– Ну, давай, давай, милый – одна нога здесь, другая – сам знаешь, – государь потрепал укротителя за плечо, и несостоявшийся граф тут же сверкнул подым задом уходя в ополчение за папиросами...

Глава 5. СПЕЦСЛУЖБЫ. ДЖИДЖИГА ЯБЕЛО АБАЯ. ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

А что же Петербург – чудо руколепное? Да по большому счету и ничего. Его реакция на происшедшее напоминала мышечные сокращения коня, пытающегося согнать надоедливую муху. Впрочем, количество граждан, поведением своим достаточно ярко проявивших сомнамбуллическую предрасположенность, несколько возросло. Но, главным образом, они проходили по «конкретному» ведомству, и оно, надо признать, в рамках проводимой операции «Перехват» сумело-таки блеснуть мастерством.

Той же субботой, двадцать третьего ноль четвертого, в двадцать три ноль четыре на телеграфе Главпочтамта сотрудники одного из спецотделов засекли и взяли под контроль прохождение любопытной информации. Она выглядела так:

Телеграмма.

«МОСКВА зпт Лубянская площадь зпт Феликсу тчк

Примите срочные меры задержанию ОПГ (организованной петербургской группировки) зпт целью своей имеющей попытку установления прямого контакта руководством страны проникновением Кремль тчк Банда многочисленна зпт мобильна зпт имеет лошадей зпт хорошо вооружена тчк

Ромашки спрятались тчк тчк тчк

Феликс» тчк

Группа аналитиков из ГУВД по Петербургу и области, усиленная посредством подключения к ней эфэсбэшных вундеркиндов из Москвы, взялась за работу. И как только подполковник Сидоров затеял поведать белому листу часть своих умозаключений, майор Вальков, дежуривший на Главпочтамте, озадачил всех еще одним, перехваченным теперь уже из Москвы текстом:

Телеграмма.

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ зпт Шпалерная улица зпт Феликсу тчк

Дружище зпт нахожусь отставке тчк Спасибо мышам зпт помят зпт сообщение твое доставили тчк Сделаю все зпт что моих силах тчк Яша зпт сукин кот зпт опять бегах зпт от-

давать долги отказывается тчк Встретишь зпт прими меры тчк

Поникли лютики тчк тчк тчк

Феликс» тчк

Больше операция «Перехват» ничем не порадовала. Включились дополнительные ресурсы – операция «Вулкан». И что вы думаете? Она так же оказалась результативной! Ведь умеют, когда захотят. Орлы!..

Под платформой станции «Навалочная» бдительный патруль обнаружил пьяного молодого человека африканского происхождения – едва не травмировали его сапогами в темноте. Рука иноземца сжимала – какая удача! – крупную бронзовую подкову!..

Через полчаса африканец был внесен в вытрезвитель, в компьютер были внесены параметры лошадиной обуви, и перед ним же была поставлена задача – идентифицировать объект. Аппарат поднапрягся и... аналитики оторопели! Оказалось, подкова является собственностью императорского коня с Сенатской площади. Еще точнее, она принадлежала его левой задней ноге. Вдобавок, этот лошадиный «пуант» проходил по одному уголовному делу в качестве орудия, коим были нанесены повреждения попке «Феррари», принадлежавшей вице-губернатору Северной Пальмиры! Перезагрузки компьютера, перепроверки давали один и тот же результат. Подполковник Сидоров – да, уже подполковник – задумался. Посчитав, что и в майорах ему жилось недурно, он изрек:

– Все, ребята. Отдыхать! Утро вечера мудренее.

И он поступил правильно. Надо отметить, что улыбчивый и легко мыслящий – не легкомысленный – Виктор Тихонович, умел поиграть не только рельефами бицепсов-трицепсов, но и в извилинах его мозга пыли не наблюдалось, и принятие оригинальных, эффективных решений ему давалось именно с утра...

На следующий день в 14.00 эlegantный, темносиний нижегородец по прозвищу «Соболь» въехал на территорию Медицинской академии им. И.И. Мечникова и остановился у павильона № 32. Два «гвоздя» в неброских костюмах цвета мокрого асфальта спокойно вышли из машины и с достоинством и гордостью за контору, в которой служат, направились к двери ФакИнУча (так выражались студенты-озорники) – Факультета иностранных учащихся. Ни дать, ни взять – «Модерн Токинг» прибыл на гастроли. А между тем это были обыкновенные ребята из ОКОПа – Отдела культурного обслуживания подозреваемых. Вот что значит школа, выучка! Своим визитом они обеспокоили деканат совсем чуточку. Через пятнадцать минут ни одна собака не смогла бы взять след «представителя семейства кунных» на территории медицинского заповедника. Автобус катил к Литейному, и в салоне его находился улыбчивый гражданин Эфиопии, будущий нейрохирург провинции Годжам, студент четверокурсник по имени Джиджиги Ябело Абая. Тот самый, всего четыре часа назад отпущенный из вытрезвителя.

Не являясь потомком сколь-нибудь знаменитого рода восточной Африки, он, тем не менее, затруднений материального характера не испытывал и приятелям легко давал в долг. Умница Ябело подрабатывал уроками русского языка в многодетной семье одного осетина. Этот россиянин служил на Сытном рынке грузчиком в овощных рядах. Словом, с деньгами у Джиджиги все было в ажуре, а вот с алиби на вечер пятницы двадцать второго апреля еще следова-

ло разобраться. За тем и везли Абаю в «приказную избу».

Оказавшись в кабинете Сидорова, белоглазая надежда эфиопских обладателей проломленных черепов держал себя раскрепощенно. Он признал, что накануне действительно перебрал. Так и повод великий – стотридцатипятая годовщина со дня рождения вождя мировой революции! С другой стороны – у задолжавшего ему сокурсника Витюши Сорокопуда из Украинны наличности не оказалось, а расплатиться он возжелал немедля. И расплатился – горилкой! Вторая рюмка для Абаи оказалась лишней...

Допрос Джиджиги был недолог. Эфиоп ничего не скрывал, не юлил. Он вспомнил, что видел каких-то всадников. Подкова!?. Да, он пытался открыть ею бутылку пива, но как эта штукавина оказалась в его руках, сказать не может. «Что ж, – думал Сидоров, – может и не врет. В конце концов, характеристика на него хорошая. А в истории с «Феррари» навряд ли такой хляк мог нанести столь сильный удар по багажнику. Разве что сама лошадь». (Эфиоп и вправду был настолько худ, что сумеречная встреча с ним на Волковском мосту №1 около мемориального кладбища была способна спровоцировать в мозгу горожанина черт знает какие ассоциации.) К такому выводу пришли и аналитики, однако, на всякий случай, чуток поприжали Джиджигу вопросом: «А не слишком ли много нейрохирургов в Эфиопском нагорье?..» Вот у нас в Сибири, говорили они, их явно не хватает. Поэтому, если он не вспомнит, где провел ночь с 14 на 15 февраля сего года, то придется ему прервать учебный процесс или озаботить племя необходимостью собрать несколько тысяч долларов для уплаты штрафа. Джиджига... Ябело... Абая не испугался. Он перешел в контратаку, заявив о своем твердом намерении по окончании Медицинской академии перебраться на ПМЖ в Кампидий.

– Ах, во-от мы как! – вскинулся энергичный делегат с Лубянки капитан Капедрин и напомнил Ябеле, что это будет зависеть от результатов расследования. – Иначе свою Африку рискуешь более не увидеть ни-ког-да! – заключил он.

А Джиджига возьми да и напомни ему, что живут кампидийцы на правом берегу реки Наманы – одного из притоков Вилюя. И от Кампидия до Якутска не более двух часов лету на геликоптере...

Странность выбора постоянного места жительства объяснилась просто. Авдотья Порошина, студентка ПТУ №138, уроженка живописного правобережья сибирской реки, являлась... гражданской женой Абаи! И если через семь месяцев у них родится мальчик, то его назовут Вовой, а если девочка, то Джиджига назовет ее Таной. Это озеро такое в Африке – очень красивое! А ну, кто против дружбы народов?..

«А-а, – махнул рукой Виктор Тихонович, – черт с ним. Не так и много кампидийцев на Руси». С эфиопа взяли подписку о невыезде до окончания следственных действий и отпустили на лекцию «О причинах нарушения мозгового кровообращения». Все равно ничего не поделаешь. Алиби Джиджиги на ночь Святого Валентина находилось во чреве Авдотьи, и ему шел всего третий месяц от зачатия. Через семь месяцев такое алиби станет просто железным... метисом. Береги его Господь!

Да и не так плохо дела – хвост из клубочка торчит. Потянув за него, выяснили, что той ночью через «Сортировку» ушли три состава: на Мурманск, Архангельск и на Тамбов. Памятуют о содержании пере-

писки Феликса с Феликсом, за «южанина» и ухватились, оставив северное направление к изучению во вторую очередь. И тут один молоденький старлей из московской группы поддержки острой бритвой смелости суждений так полоснул по стройной системе поиска, что лучше бы он во время приема пищи этого не делал. Логика питерских старших коллег была опрокинута и лежала на спине, дрыгая конечностями словно капризница не получившая десерт. Старший лейтенант заявил: «Затей я такую авантюру с цветным металлом, не стал бы тратить драгоценное время, а с помощью специнструмента распилил бы статуи прямо в вагонах. Покатался бы по Руси с недельку, кроша «болгаркой» всех в мелкие кусочки. Так что, пока мы тут гадаем, рассуждал он, Шевченко обезручен, Романовы обезножены, Пушкины обезглавлены, а кони обескопчены». – Он предложил зону поиска расширить немедленно, подключив к нему курсантов высших, средних и начальных школ милиции. А то среда на исходе, эфиоп на свободе, а конца не видать...

«Ох уж эта молодежь! – подумал генерал Мунтяну, поглаживая брюшко, – откуда только силы берут смотреть кино по ночам?» И вдруг в его приемной тренькнул колокольчик. К электрическому боталу* подходило великое множество ниточек. И в этот миг натянулась та, другой конец которой находился в прокуренном, с истертыми обоями кабинете начальника транспортной милиции Беломорска майора Дурова. Секретарь начальника ГУВД мадам Евстифеева выслушала беломорца и перевела разговор в кабинет шефа. Заработала, заработала система!.. Да и не ржавела никогда. Обходчики-комплектовщики Семен с Федором – сержанту, тот – лейтенанту, лейтенант – звезде с двумя просветами, та – звезде генеральской и так далее... до майора Валькова:

– Ну, теперь-то мы вмиг вычислим субчиков, – сказал он, потирая руки. – Зная номера вагонов, вмиг определим их местонахождение!..

Глава 6. ВОЛОГОДСКИЙ «ЗАЯЦ»

...Такие дела, Иван Федорович. Похоже, конец приходит сказочке. Жалко – не хочется с вами расставаться... А чем это вы заняты?.. Ах, Сережке Грибоедову курс арифметики читаете!.. Ну да что же время-то терять, действительно. А почему вы для исчисления площади грот-бом-брамселя используете наружную часть пульмана? Простите за навязчивость, почему не заниматься этим внутри вагонов? А, Иван Федорович?.. Да что вы говорите?! Во-от оно как!.. Святое дело!.. Коне-ечно, пусть Тарас Григорьевич продолжает, пусть учит отрока грамматике – свято-ое дело! Мог бы и папа, конечно... (Э-эх! Нам бы таких педагогов, понимаешь!..)

«Другие» расчеты показывали, что литературный № 204ю к вечеру четверга будет в Малой Вишере – он же мчится в Москву... А перепроверить?.. Да можно, конечно, но тогда в каком чулане запереть его величество авось!? Про то, что первые семь вагонов предназначены для Вологды им, милиционерам, не сказали. Ну, а Вологда – это во-она... дальше сами знаете. Так что Тихвин и Бабаево уже остались позади, скоро Череповец, а там и перестроение состава. И потом, расчеты расчетами, но достаточно одного набега андеграундной саранчи с аэрозольными баллончиками и не только математические упреждения, но и нумерация вагонов исчезает под живописными «шедеврами» современных дикарей.

Не все было гладко в жизни путешественников. Произошел у них случай неординарный, повлекший за собой проведение расследования, в результате которого один из бронзовых нелегалов оказался привязанным к стволу старого клена под Ярославлем. В сапоге политического авантюриста была оставлена записка: «Предаем властям. Неисправим». И подпись «Уполномоченный в проведении следственных мероприятий генерал-фельдмаршал князь Барклай де Толли». А случилось вот что...

Состав подъезжал к Вологде вечером, после почти одновременного захода солнца и луны, около 21.00. Глинка заканчивал урок сольфеджио. Валечка с сынишкой, покормив Галю, отправились спать, Кондратьев готовился к ночному дежурству. Этот квартет и составлял музыкальный класс «Консерватории на колесах». У Михаила Ивановича каждая стекляшка и железка не просто так – нота! Во время прогулок, пиная ножками различные предметы, собирал он звонкого хлама на две октавы и был доволен этим весьма. Наступившей ночью капельмейстер вместе с Каподистрией и Достоевским дежурили в своем вагоне, комсомолец был командирован в помощь пассажирам третьего полувагона, где был занят на верхней вахте. Через два с половиной часа после новолуния, перед самым отходом переформированного состава, возле последнего вагона раздался пистолетный выстрел, похожий на чих курсистки. Потом послышалась непродолжительная возня, сопровождаемая «сверхнормативной» лексикой, грохнул кондратьевский «маузер», и вновь наступила тишина...

– Веду-ут... – произнес Федор Михайлович со своего поста.

В дверь пульмана постучали «два длинных и три коротких». Паролем этой ночи являлась цифра семь из азбуки Морзе. Михаил Иванович одернул пиджачок, поправил воротник рубашки и ногой отодвинул тяжеленную дверь. Разбуженная шумом, луна из-за тяжелой портьеры скрывавших ее облаков вполглаза следила за происходящим. Ей бы папироску в зубы – сошла бы за Файну Георгиевну Раневскую в роли тапера из фильма «Александр Пархоменко».

– Саша, бога ради, уберите эту дрянь! – приказал Глинка студенту-консерваторцу, неосторожно направившему на него ствол пистолета.

– Ой, извиняйте... Вот, задержали. Попытался влезть в наш вагон, представляете? Сопротивля-ялся. Шинелка у его суконная, а сам бро-онзовый. Сдаю вам. И оружие, вот! – Санька подал Глинке изыщный «браунинг».

Композитор принял американского красавца, как дохлого мыша, двумя пальчиками. Здоровенные ополченцы штыками помогли задержанному забраться в вагон и захлопнули дверь...

Незнакомец повел глазами по сторонам. Темно. Отблески спрятанного в бочке огня хороводили на потолке.

– Желаете согреться, пожалуйста, – предложил «гостю» Петр Сенатский. – Что-то не спится мне сегодня, Михал Иванович. Тревожно как-то. Давление в атмосфере меняется, что ли?.. А ты кто таков, из каких происходишь? – Петр обратился к «суконному», но тот словно воды в рот набрал. – Изволь, голубчик, отвечать государю. Из пистоля по человеку палить смел, а ответ держать – нем?..

– Может, и вправду глухой.

– Не-ет, садется мне, это не Иван Сусанин. Ладно, пусть поспит, утром разберемся. О! Поехали... – поезд, действительно, тронулся. – Около Грибоедова

место есть, пусть ляжет. Да и караул можно снять: на ходу не сбежит.

Скрипнула дверь. В открывшемся проеме при лунном свете загорелся кондратьевский вихор, запрыгала, ударяясь о его колено, кобура пистолета...

– Вот и я!.. – улыбнулся юноша. – Скоро Ярославль. А там Мытищи и...Москва! Да-а, много в этом звуков!.. – стрельнув у государя папироску, Санька перекурил и улегся спать.

До Ярославля и первых рассветных лучей оставалось менее часа. Луна находилась в Тельце, Петр Алексеевич в дреме. Услышав шорох, он насторожился – ему показалось, Грибоедов ворочался во сне. Император почувствовал, как поезд сбавил ход, поехал мягче. В темноте Петр не без труда распознал поднышева с пола задержанного. Тот подкрался к выходу и пытался открыть дверь, но кто-то кинулся на незнакомца и повалил его. Завязалась борьба. Петр поднялся, стали просыпаться и другие. Зажгли свечу. На полу около бочки Кондратьев душил «суконного».

– Оставь его, Санька. Куды он теперя... – произнес Селиван.

Александр отпустил незнакомца, и тот остался лежать, тяжело дыша. Маяковский поднес свечу к его лицу...

– Ба-а, Яков Михалыч!?! – воскликнул изумившийся поэт. Владимиру Владимировичу хотелось сказать: «Братцы, прошу любить и жаловать, перед вами...» и так далее, но он быстро оценил нелепость фразы и скомкался – «Пусть само как-нибудь» – подумал он и сказал:

– Это Свердлов... Яков Михайлович. Деятель... государственный. Исследователь енисейского правобережья и приобских краев Томской губернии.

– Вставай, что ли, ученый, – произнес раздраженно, еще не остывший от борьбы Санька.

– Не тыкай мне, щенок! Я член ЦК РСДРП! – огрызнулся нарымский беглец.

– О, как!.. – вспыхнул комсомолец и ловко, на манер горячего черкеса, вспорхнул с колен на ноги. – А какого черта вы, член, стреляли в комиссара Ревельского полка, а?

– Тихо, тихо, тихо... Успокойтесь! – начал было Барклай де Толли, и петухи едва уgomонились, как за их спинами послышался странный голос Грибоедова:

– Да как же это?.. – Александр Сергеевич вид имел совершенно потерянный. Он стоял, засунув правую руку в карман брюк, и смотрел на торчавший из дыры палец.

– Что за беда, Александр Сергеевич, голубчик? – спросил Барклай, обернувшись.

– Думал, Сережка вырастет, отправлю его в Сорбонну. Денег от продажи хватило бы с лихвой...

– Да что случилось-то, милостивый государь? – повторил вопрос князь.

– Перстень... Я стеснялся носить его при вас и держал в кармане. – Грибоедов пошевелил пальцем. – Пропал перстень!

– Ну, во-от... – принялся укорять растеряху Барклай. – Мы с Илларионычем наград не снимаем!.. Что ж так, Вазир вы наш стеснительный Мухтар? Ну, будет, будет... Не переживайте, поможем вашему горю. У меня цапек хватает, так что не оставим огольца без образования. И хрен ли нам Сорбонна? В МГУ его, к Ломоносову! Да, Валенька?.. – светлейший подошел к Грибоедову и, взбадривая, потрепал горемыку за плечо. Потом он из любопытства наклонился к прорехе и неожиданно попросил огня... – А дыра-то у

вас, милейший, скороспелка, чем-то остреньким проделана!..

Не поворачивая головы, Петр Сенатский перевел взгляд на задержанного. Он заметил, как тот дернулся и, произнеся «Натоплено у вас, однако», шевельнул плечами, позволяя шинелке медленно соскользнуть на пол.

– Похоже, моей вины здесь немало, – сказал их величество. – Это ж я предложил ночью члену... ДК... БВД... прилечь рядом с Александром Сергеевичем. – Петр тяжело вздохнул: – Эх, знали бы вы, как я не люблю такие дела-а...

– А по сему, – поймал его мысль де Толли, – простите, что перебиваю, возьму на себя момент сей гнусный. – Он подошел к стене и снял с гвоздя, торчавшего посередине фразы «Мама мыла раму», повешенный туда Глинкой трофейный «браунинг». Затем сказал Свердлову: – Извольте, сударь, из карманов все на стол!.. Николай Алексеич, – князь обратился к Некрасову, – сделайте одолжение, дружище, карты и домино уберите... Вот так. Благодарю Вас...

– Ха, ха, ха, ха... – протяжно расхохотался партийный деятель. Сняв очки, он подышал на стекла, исподлобья шваркая глазами по сторонам, надел вновь. – Заигрались вы тут, чушки медные, возомнили. А не пожалееете?..

– Не хамите, – спокойно осадил его Барклай и кивнул комиссару.

Кондратьев приступил к досмотру. Через минуту после прохлопывания туловища члена ЦК на столе оказалась хиленькая бумажечка с печатью, на которой было напечатано следующее:

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О владении ценными бумагами, находящимися на хранении в депозитарии.

ИНКОМ БАНК.

Владелец: Свердлов Яков Михайлович.

АКЦИИ: обыкновенные ОАО «Станкостроительное Объединение им. Свердлова».

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ: 500 рублей.

КОЛИЧЕСТВО: 30 000 штук.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: Копаткин С.Д. 07.11.2003 г.

ДОКУМЕНТ: Паспорт XIV АК 501480

АДРЕС: ЕКАТЕРИНБУРГ. Площадь СВЕРДЛОВА.

– Прошу прощения, Барклай Детоллиевич, – заговорила голова Маяковского, заметив, что князь закончил чтение документа, – а вот, к примеру, шинелка...суконная.

– Верно! – поддержал голову Николай Первый, – досмотреть безотлагательно!

– Ка-ар-ррр! – поддержала государя ответственный секретарь, отложив работу с корреспонденцией.

Кондратьев поднял шинель, а Селиван приткнул подозреваемого к стене, заметив его волнение. Тот хорошо смотрелся рядом с написанной мелом по слогам фразой, которую вывел Грибоедовский отпрыск, «Справедливость – мое ремесло».

– Между прочим, друзья, – Барклай потряс свидетельством, передавая его Петру Растрелли, – нескучная бумажка. Оч-чень даже! Ты, Сашок, продолжай досмотр...

Кондратьев продолжил. Как не продолжить, когда минуту назад из социал-демократических штанов

комитетчика он уже выудил жменю золотых сережек, обручальные кольца и редкой красоты серебряный нательный крестик. Сидевшая в проеме окна курьерша, увидев столько красивых штучек, громко вздохнула и вывалилась наружу. Впрочем, уже через минуту она вернулась и стала степенно вышагивать поперек вагона. Комиссар, погружая руку в карманы солдатской шинели, поглядывал на представителей дворянского сословия, спокойно взиравших на его улов. Особых эмоций на их лицах он не отмечал. Барклай поднялся от стола и жестом попросил Гоголя подменить его, сказав:

– Что-то у меня в глазах рябит. Не откажи, составь опись изъятого, будь ласков, о шинелях тебе как-то сподручнее. А я перекурю чуток. Селиван, возьми, братец. Заряжен!.. – он передал городовому пистолет. – Петр Алексеевич, Романовы, курнем?

– Давно пора, – согласились императоры, и они отошли к двери, за которой начинал брезжить рассвет.

– Яросла-авль! – вымолвило рукотворное чудо Фальконе с головой Колло, разминая беломорину.

– Да-а, красиво, – откликнулся князь, прикуривая от головешки.

– Не забудьте отметить в своем протоколе, что шинель мне не принадлежит. Я подобрал ее на вокзале, – занервничал революционер, когда комсомолец закончил выкладывать перед Гоголем отнюдь не махорку из карманов солдатского пальтеца. Кондратьев собрался вернуть шинель отрекшемуся от нее владельцу, встряхнул малость, и тут из нее что-то вывалилось и покатилося. Сашка быстро наклонился и ловко поймал предмет. Поймав, сморщился и принялся облизывать палец. Им оказался рубль с олимпийскими кольцами, заточенный, как бритва.

– А вот и орудие преступления! Или преступлений, – воскликнул Гоголь. – Не желаешь полюбопытствовать, князь? Подозреваю, сим инструментом были вспороты и грибоедовские штанишки. – Он щелкнул пальцем, подкидывая монету, но, вспомнив, что она заточена слишком уж остро, ловить ее принялся как-то коряво. Рублишко из рук писателя шмыгнуло между досок в полу и... потерял статус транзитного пассажира.

– Васи-ильич, – досадливо покачивая головой и вздыхая, произнес Селиван, – нешто можно так легкомысленно с вещдоками?

– Простите... – сконфузился Гоголь. – Виноват я, Селиванушка, виноват...

Вдруг Санька, подававший шинель Свердлову, сосредоточенно нахмурил брови. Его пальцы забегали по воротнику, середина которого была почему-то прихвачена тонкой проволокой к спинке, образуя таким образом небольшой «чулок».

– Князь, – обратился он к Барклаю, – тут что-то есть!..

Курильщики побросали окурки в бочку и подошли к столу. Крузенштерн, заметив смятение Александра, подал ему кортик. Комиссар положил шинелку на стол, вспорол шов и аккуратно отогнул воротник...

– Он!.. Он!! – вскрикнул Грибоедов, оставаясь при этом на месте и лишь резко выбросив перед собой руку. – Мой перстень!

Хочется отметить, замечательный был перстенок, когда Барклай крутил его в своих руках, от восторга языком чмокали не только разночинцы!..

– Это провокация, – выдохнул государственный *щипач**. – Я смотрю, вы мастера не только стишки

пописывать. – Он резко дернулся, и пистолет в руке городского выстрелил.

Проковыряв дыру в стене, пуля выскочила наружу, но насладиться свободой не успела, тут же угодив под колесо вагона... «Писатель»* обмяк, Селиван разжал руки, и Яков Михайлович съехал на пол.

– Bravo, bravo!.. – захолопал в ладоши Достоевский. – Будь я рефери, не стал бы размениваться на желтые карточки – сразу показал бы вам красную, – сказал он Свердлову. Федору Михайловичу нравилось смотреть футбольные матчи по огромному телевизору, который стоял в витрине соседнего магазина радиоаппаратуры. – Будь внимателен, Селиван, беснок симулирует.

Пауза длилась недолго. Молчание прервал «больной человек Европы*»:

– А повесить негодяя, и весь сказ!..

– Виноват, ваше величество, но поступить так мы никак не можем. Сделаем по-другому: я сейчас заканчиваю с протоколом, Валентина Анатольевна... – Барклай отвлекся на проявляющего любопытство отрока Грибоедова, – Сереженька, не балуйся, эти деньги не для игры... Ах, тебе для арифметики... Ну, только не потеряй. О чем я? Ах да! Так вот – Валечка снимет копию с документа и с описи изъятого имущества, мы положим бумаги ему в сапог и оставим члена... ФК...

– ...БВГД – подсказал Лермонтов.

– ... Да. И оставим его где-нибудь на станции. Пусть власти разбираются. Так будет правильнее и по закону, – поставил точку в своих рассуждениях князь.

– Да, по закону! – повторил Николай I, поправляя усищи. – Хотя я бы его повесил.

Так обер-плут оказался привязанным проволокой к старому клену возле будки обходчика на станции «Ярославль-товарная»...

Глава 7. КРЫЛОВ ПРОСИТ НЕ НЕРВНИЧАТЬ

Вишнев с Докучаевым, преодолев первое волнение, натолкали в полиэтиленовый пакет овощей, фруктов, котлет, мясных костей и отправились в Летний сад. Слушать Ивана Андреевича не перебивая им было непросто. Все же они пообещали, что вмешиваться не станут, наберутся терпения и будут ждать. По завершении аудиенции, друзья передали Крылову лакомства для зверюшек и разошлись по домам...

Глава 8. КОЛЬЦО СЖИМАЕТСЯ

– Что? – переспросил телефонную трубку генерал-майор Мунтяну. – Но у нас в городе нет памятника Якову Свердлову... Конечно, если у ярославских коллег возникнут проблемы, подключимся обязательно... Да-а... Не-ет, я думаю, батальона будет вполне достаточно. Даже многовато. Пошлите роту ОМОНа – в самый раз, за глаза и за уши... Да, я тоже таких грабителей встречаю впервые – красть бронзу, а золото и бриллианты сдавать в Центробанк!.. Да. И я не понимаю, – кричал он Москве, – как этот пакет с драгоценностями и акциями оказался между рамами окна на третьем этаже... Да уж их охрану-то я знаю... Я тоже так полагаю... Да, скоро выясним... Всего доброго, товарищ генерал-лейтенант... Спокойной ночи, Карим Абдуллович... – Мунтяну пове

сил трубку и, надув щеки, громко выдохнул. – Черт те что! Акимовцы на гастролях, понимаешь...

Глава 9. ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ. НАЧАЛО ОСАДЫ

Всех, приехавших последней апрельской ночью в Загорск, дивный русский город встречал долгожданным для этих мест дождем. Нам не известно, было ли дождливо этой ночью в немецком «Загорске», а правильнее сказать – на горе Броккен, но в том, что там было беспокойно, можно не сомневаться. Ночь-то не обыкновенная – Вальпургиева!

Говорят, к этому времени туда со всех концов света слетается нечистая сила, чтобы покурлесить. Любопытно, как то у нас обойдется? Пока вроде бы тихо.

А вот и Мытищи... Это, если можно так выразиться, северо-восточное преддверие столицы. Похоже, дождь ушел отсюда совсем недавно – крыша вокзала и платформа мокрые. Проехав станцию, состав задержался и вскоре совсем остановился. Старший караула Кутузов осмотрел – сколько это позволяла сделать темень – пространство с правой по ходу поезда стороны, потом с левой и спросил дневально-го графа Каподистрию :

– Не кажется ли вам, Иван Антоныч, что в этот раз мы как-то странно остановились, будто в мешок въехали?

– Ммм, да нет, – ответил граф, исполнявший функции фельдгегера – копия петиции с претензиями к петербургским властям находилась в потайном карманчике его жилетки.

Дневальные доложили со своих постов о полном спокойствии на обозреваемых ими участках. Генерал-фельдмаршал слегка отодвинул ногой дверь и, просунув голову наружу, произнес:

– А дышится-то как легко, господа! Пришел майорник... Просто прелесть, до чего хорошо!.. А что там наши соседи, Михал Юрич?

– Докладывают, все нормально.

– Ну, и хорошо. Ну, и слава Богу, – сказал Кутузов, но закрыть дверь уже не успел...

Свет от стоявшего неподалеку одинокого вагона ударил ему по глазам с такой силой, что он отпрянул внутрь, как если бы получил неожиданный тычок кулаком в лицо!.. С противоположной стороны вагона произошло то же самое. С минуту было тихо, только свет. Много света!.. И вдруг сверху, словно глас небесный, раздались:

– Эй, вандалы, бизнесмены долбаные! К вам обращается майор Груша. Сейчас вы оставите оружие и инструменты в вагонах, а сами будете выходить и строиться в шеренгу. При соблюдении наших требований мы гарантируем вам жизнь и хорошее обслуживание. В противном случае, применим силу. Пять минут вам на подготовку...

.....
– Господа, вы что-нибудь поняли? – растерянно спросил дневальный князь.

– Я понял все, – спокойно откликнулся Вазир Мухтар, – но думаю, к нам это не относится. Бизнесом мы не промышляем, а драгоценности через Галину вернули в банк. Я ей доверяю. Это похоже на местные, как сейчас говорят, разборки.

– Я тоже Галке верю, как себе, Михал Илларионыч. И тоже сильно сомневаюсь в том, что за три старые бочки, испорченные штыком и кортиком, и

сжигание в них вонючих дров нас можно обвинить в вандализме, – довершил грибоедовские размышления Лермонтов.

– А вы? – спросил светлейший сиятельного.

Иван Антонович лишь выкатил глаза, скривил рот и пожал плечами, выразив такой мимикой крайнее удивление происходящему.

– Ясно, – сказал Кутузов. – Тогда не будем себя демаскировать. В переплет попасть всегда успеем.

– Ну, что, Барклай, время вышло. Молчишь? – раздалось из громкоговорителя. – Может, все-таки лучше решить по-доброму?..

Разбуженный де Толли поднялся с пола и подошел к вахтенным:

– Илларионич, разреши... – сказал Михаил Богданович. – Я думаю, это не страшнее перехода по льду через Северный Кваркен.

– Не-ет, Барклаюшка, начальник караула – я, мне и принимать решение. Эх, хе, хе...

Значит, вандалы – это все-таки мы... Разберемся. – Сказал князь и кивком головы приказал проснувшемуся Кондратьеву открывать дверь. – Только не слишком широко, сынок... – Дверь скрипнула, и генерал-фельдмаршал спустился на мокрую землю. Охваченный светом прожекторов, он медленно зашагал к вагону...

– Стой, Барклай! Оставь свое мачете на рельсах, – гаркнуло радио.

– Я не Барклай. Я Кутузов. Оружия своего никогда не сдавал, и эфеса моей шпаги касались руки только моих друзей. Если майор Груша не трус, пусть выходит. И, пожалуйста, канделябры свои пригасите малость – глазам больно.

Наступила тишина. Освещение, и вправду, поубавилось. Сомнений не было, противная сторона в бинокль разглядывала князя и тех, кто остался любопытствовать в дверном проеме пульмана. Довольно долго разглядывала... Михаил Илларионович – умница – решил воспользоваться затянувшимся молчанием для перехвата инициативы:

– Не гоже, господа, заставлять пожилого человека ждать. Извольте действовать, – произнес он и увидел, как с левой стороны, поднявшись с земли, по направлению к нему двинулся человек. Шел медленно, целясь в князя из своего оружия. Он даже пытался что-то сказать, но получалось это плохенько, и, вероятно, по той причине, что надетая на голову тряпка с дырой для глаз была ему не по размеру. Она мешала бойцу шевелить губами, отчего речь его была какая-то гнусавая.

– Не пойму я вас, любезный. Сняли бы портяночку с головы – что за маскарад?

– Мочи, дед! Ухи вверх! То такой? – спросило глазастое чудо.

– Что мочить? Видит Бог, не понимаю. И как это можно уши держать вверх? Да хоть бы и вниз, не понимаю. Ты уж извиняй меня, Груша. Прости старика.

– Я не Руша, – сказал человек, у щеки которого торчал сучок с набухшей почкой. «Зачем?» – подумал князь, а человек кивнул кому-то, сказал «Есть!», отступил назад и осторожно снял с головы «дырявый чулок». Веточку с почкой он снова нацепил на голову и вернулся на место. «Мальчишка...» – подумал Кутузов. – Ты, дед, тоже давай колготки с головы стягивай, и побыстрее.

– Не сердись, сынок... Я не могу это сделать. Не ношу я этих... Памятник я бронзовый. Не веришь? Потрогай, убедись, – отпарировал Кутузов. Оmono-

вещь опять закивал головой, сказал «Есть!» и, осторожно подойдя к «вандалу», прикоснулся к его руке и эполету...

– Не врет... – сказал он кому-то, закатил глаза и медленно повалился на рельсы. Кутузов подхватил теряющего сознание бойца и громко закричал:

– Доктора сюда, слышите! Фельдшера скорей!..

Со стороны вагона, на котором стоял прожектор, к нему вместо лекаря прилетела пуля, просвистев над головой. Затем из мегафона раздалось: «...твою мать! Без приказа не стре...».

Похоже, у снайпера сдали нервы, а у командира палец прилип к кнопке «матюгальника». Но ситуация тут же исправилась – в рупор было сказано: «Доктор сейчас будет». Это успокоило князя. В тот же миг с правой стороны к нему кинулись четверо пятнистых солдатиков. Дрожащими руками они приняли товарища и пошли к вагону, оглядываясь чаще, чем смотрели себе под ноги. Им было страшновато, наверное. «Русский солдат боится русского генерала – это плохо», – подумал Михаил Илларионович. Однако громкоговоритель не позволил разгуляться кутузовским философическим упражнениям. Он проорал:

– Где твои сообщники, Барклай?..

– Таковых никогда не имел, рядовой Тыква, – позволил себе дерзнуть Кутузов.

– Наглец! С тобой говорит майор Груша!..

– Позволю себе напомнить майору, что я уже называл свое имя.

– Хорошо – Кутузов. Так ты что, один работаешь?

– Не работал ни-ког-да. Служил! И служу... Отечеству!.. Будет ли и мне позволено задать один вопрос?

– Здесь вопросы задаю я! – пояснил динамик, но тут же проявил истинное добросердечие, сказав: – Валай, упрямец, задавай...

– Не найдется ли в вашей дружине «фрукта» покрепче, посмелее? А то как-то неловко кричать на все Мытищи – люди спят, – дерзнул светлейший еще разок.

– Ну, ты, Барк... Куту... Щас я к тебе приду. Приготовься, – осерчало радио.

«Русский майор хамит русскому генерал-фельдмаршалу – это оч-чень плохо», – подумал князь и заметил, как от вагона к нему направился человек в таком же, как у других, камуфляже. Подошел близко. Уставился. Взгляд его был суров, но глуп – просил помощи. Михаил Илларионович понял это сразу.

– Желаете прострелить мне ладонь... – то ли спросил, то ли предложил князь, – для вашего успокоения. А то могу познакомить с друзьями, если не боитесь. Это могло бы оказаться полезным делу.

Майор сощурился, подумал и, подняв руку, произнес:

– Не стрелять!

– Упаси Господи! Мы и не собирались...

– А я и не вам говорю, – проскрипел, словно тормовная букса, майор. На что Кутузов лишь склонил голову набок, ухмыльнулся снисходительно-иронично и жестом пригласил Грушу погостить в «ставке». – Предупреждаю, без фокусов! – майор показал князю гранату.

Взглянув на лимонку, Кутузов подумал: «Это что же из себя представляет елочка, когда на ней висят такие шишкарки? Не иначе, оберег носит».

– Какие фокусы? Куда нам? Прошу, – сказал укротитель Бонапарта, и они зашагали к пульману. По-

дойдя к вагону, князь распорядился, чтобы открыли дверь пошире:

– Сан Саныч, сынок, там лестницы или трапика какого для гостя не отыщется?

– Откуда? У нас адмиралы из вагона прыгают, что козлики... Чурбан пойдет?

– Ну, чурбан так чурбан, давай, – Кутузов скосил взгляд на Грушу, который широко раскрыл рот, наблюдая за действиями вихрастого парня с огромной пистолетной кобурой. Если бы майор мог мыслить в этот момент здраво или мыслить вообще, понял бы, что ему совсем почему-то не страшно. Любопытно – да. Страшно – нет. А это важный момент, нюанс, так сказать. Отсутствие страха у договаривающихся сторон – залог успеха в переговорном процессе. Рука за поручень, нога на металлическую корягу, рывок, и Груша в вагоне. Чурбанчиком он так и не воспользовался. А Кутузов воспользовался...

– Доброе утро, господа! – из черной глубины вагона пробасил Александр III, только что покинувший царское ложе. Не заметив появления Груши, он подошел к двери, сделал «потягушеньки», переходя с пятки на носки, и спрятал в папаше сла-адкий утренний зевок... Прометив майора, император, не почувствовав общей обеспокоенности, спросил Каподистрию, – Новенький? Интересная у него пижама... Ты, голубчик, – обращаясь к Груше, сказал царь, – раздобыл бы мне такую же...

– Это представитель мытищинского воинства, их благородие майор Груша, – встав на цыпочки, дабы дотянуться до императорова уха, мармеладным голосом пояснил граф. – Господин прибыли для переговоров между нами и... – Иван Антонович сделал движение рукой, словно он дирижер и начинает Симфонию №5 «Пастораль» Бетховена.

– Ага!.. Понимаю, понимаю, – прогремел владелец «комода с бегемотом», пытаюсь повторить движение руки, сделанное Иваном Антоновичем. – Ну, не стану мешать. Пойду, прогуляюсь перед рассветом, разомнусь, – сказал и выпрыгнул из пультмана, уходя ногами в щебенку чуть не по колени.

– Ваше величество, Сан Саныч, – поспешил предупредить его Барклай, – сделайте одолжение, далеко не заходите – беспокойно здесь.

– Ла-адно. Поприседаю немного, подышу и назад, – согласился государь, вытягивая ноги из щепня.

– Не стрелять! – успел выкрикнуть Груша, едва не переломив пополам «веточку с почкой». – Отбой! Следить за порядком. Проекторы отключить, у меня фонарик с собой. Иванаускас, Федоряну, Василидзе, ко мне! Без оружия! – Распорядившись, он обратился к Кутузову, – Извините, Михаил... Галлактионович, я покомандую.

– Илларионович! – поправил Грушу Кондратьев и постучал пальцем по кобуре.

– Виноват, – майор склонил голову перед Кутузовым.

– Командуйте, командуйте... своими, – бесстрастно ответил князь.

– А имеется ли у вас список похищен... – майор осекся, – личного состава?

– Имеется расписание дежурства, а в чем, собственно, дело? – хмуря брови, поинтересовался еще один проснувшийся хозяин Всея Руси.

– Все в порядке, Николай Палыч. Доброе утро!.. Не волнуйтесь. Сан Саныч вот, так уже на променаде, – успокоил Грибоедов.

Неряшливо собрав поклоны окружающих, *большой человек Европы* сиганул в предрассветную мы-

тищинскую тишину, едва не придавив собою трех русских богатырей-лейтенантов, вызванных майором.

– Но, но, полегче! – огрызнулся успевший отпрянуть Федоряну и первым ловко вскарабкался в вагон, где только и задумался над происшедшим.

– А вот я сейчас уши-то тебе и надеру, хулиган, – потряс дланью Николай, поправил мундир и зашагал в сторону Москвы. Потом обернулся и, показав кулачище Иванаускасу, произнес грозно, – У-ух!..

В небе угадывалась безоблачность. До рассвета оставалось не более пяти минут и ни у кого не возникло сомнений в том, что сегодня они станут его очевидцами. Правда, бронзовых пассажиров насторожило одно обстоятельство – тепловоз увел своих чумазых «гусят» на первопрестольную, оставив их в Мытищах. Однако постфактум никто слез лить не стал.

Лейтенантики, прошедшие в училищах блестящую школу озорства, быстро освоились среди бронзового генералитета. Не одерни их Лермонтов, они еще долго «прикальвались» бы. В правом ухе Груши периодически что-то пощелкивало, отчего он даже менялся в лице, делая записи в блокноте. Иногда он произносил: «Да», «Есть», «Никак нет» и прочее. Наконец, его обращения к своему собственному Я, располагавшемуся, скорее всего, где-то на Лубянке, прекратились и он начал отдавать приказания:

– Василидзе, беги к УАЗу и лети на базу. Получишь «Кэнон» и приступай к тренировкам, чтобы завтра сделать тут несколько фотографий. Исполняй! – Василидзе выпорхнул из пультмана как щегол из клетки.

– Иванаускас, заступишь на сутки старшим караула. Отбери пятнадцать человек, остальных отправить в Москву на обеспечение демонстрации трудящихся. Исполнять!.. Ты еще здесь?.. – Иванаускас и вправду потоптался две секунды, вспоминая, очевидно, как челы через леток покидают улей – вспомнил и тут же улетел.

Груша присел на чурбачок и тут только заметил лейтенанта Федоряну, стоявшего по стойке «смирно» с полунаклоном в его сторону. Голова лейтенантика на тонкой шее была повернута ухом к майору.

– А ты что здесь? – спросил майор.

Федоряну выпрямился, округлил глаза и, втянув голову в плечи, произнес:

– Не понял...

– ...чем старик старуху донял? Тебя кто звал?.. Свободен!..

Федоряну совершил поворот «кругом» не меньше, чем на пятьсот сорок градусов, и сгинул, оставив после себя легкий запах горелой резины...

– Ну вот, теперь я, как бы, ваш, друзья, – обратился к окружающим майор, – Так что же привело вас в наши, как бы, края?

– А-а-а... так вы не местные, – сказала голова Маяковского, оказавшаяся у майора за спиной.

– Это почему же? Ме-е-естные, – пояснил Груша, не поднимаясь, но повернувшись к вопрошавшей лицом.

– Но вы только что сами сказали «как бы» в наши края...

– Я?.. Сказал, ну и что?.. Кстати, а вы кто?

Голова Маяковского закатила глаза в потолок, громко вздохнула и отвернулась...

– Зря вот вы обиделись. Я в Питере был всего раз пару лет назад, на юбилее города. С экскурсией. Так и то всю эту экскурсию в Антропшино просидели в

резерве. Из присутствующих, как бы, одного Тараса Григорьевича и узнаю, потому что родом я с Ивано-Франковска, – сказал омовец, улыбнувшись при этом почему-то Грибоедову. – Мне от вас неудобств никаких нет. Ведете себя культурно. Но у меня приказ – вагоны задержать и повернуть назад. Мы думали, в них грабители. Думали, вы на кусочки распилены. Нынче цветной металл в цене. А вы, как бы, в целости и сохранности – это же хорошо!.. У вас валокординчика не найдется?.. Понимаете, у меня инструкции. Между прочим, велено особое внимание обратить, – Груша раскрыл блокнот, и стоявший за его спиной Пушкин-Лиговский невольно окунул в него свой взор, – на господ: Грибоедова, Кондратьева и Чернышевского. Вот так!

Когда майор произнес фамилию Николая Гавриловича, все встрепенулись, рты пораскрывали, чтобы сказать, что его нет с ними, что у Чернышевского в связи с весной участились приступы сердечной астмы. Но тут, невидимый майору, Александр Лиговский замахаля руками, скривил лицо и прижал указательный палец к губам! Затем он задал майору смелый вопрос:

– Простите, не могли бы вы нам пояснить, чем провинились трое наших товарищей?

Кстати, познакомьтесь: Грибоедов, – он указал на Некрасова, подмигивая ему, – Кондратьев, – Пушкин указал на Шевченко, – ну, а Чернышевский – это я.

Сознательная путаница с именами, затеянная Александром, всем показалась странной. Не верилось им, что это баловство. Здесь была какая-то загадка, чувствовался умысел со значением...

– Очень приятно... Очень приятно, – кивал головой майор. – Не знаю, чем провинились. Велено сделать групповое фото без вас, а троицу снять отдельно. Так что готовьтесь.

«Что ж, пофотокоемся, раз требуется, дело привычное, – думали они. – Но неужели визит в стольный град откладывается?» Возникла неплановая коллизия. Им казалось, Пушкин пронюхал нечто важное для всех. Понимали они и то, что ответы на свои вопросы смогут получить лишь после ухода Груши. Что касается Александра Сергеевича, то он, будучи погруженным в разгадывание внезапно обозначившейся тайны, был немногословным с товарищами и невероятно болтлив с омовцем до самого его ухода. Несомненно, он пытался притупить его бдительность. Но для чего? Что-то он там увидел в бумаге майора?..

И еще об одном. Конечно, через плечо тайком подглядывать в чужие бумаги – нехорошо. А поставьте себя на его место – он случайно замечает на листе фамилии товарищей. И что же ему – стыдливо отводить глаза в сторону? А случись с ними потом беда, локти кусать? «Была возможность помочь, а я упустил ее. Ай, яй, яй, какой я нехороший друг». Не следует забывать, что, живя среди людей, они, кто в большей, кто в меньшей степени, были в курсе основных событий текущей жизни. И зачастую домыслить возможные варианты развития той или иной ситуации для них не составляло большого труда. Вот, как ты думаешь, дорогой читатель – если ты еще здесь – что могла означать увиденная Пушкиным на листе Груши запись: Кондратьев – 1,1 га; Чернышевский – 1,8 га; Грибоедов – 1,9 га? А время-то шло...

Глава 10. ДОГАДКА ПУШКИНА

Мытищинские трубачи пофукивали в мундштуки, деятели профессиональных союзов покрикивали в рупоры, детишки забавлялись трещалками-пищалками, женщины пели «Жил парнишка кудрявый, лет семнадцать ему...», мужики опустошали содержимое буфетов на колесах. Скоро должно было начаться шествие неутомимых борцов за права трудящихся. Пусть некоторые из неутомимых уже спали в молодой, не шибко еще разросшейся траве, но остальные были начеку. Красным было все: флаги, женские туфельки и лица демонстрантов. 1 Мая!.. Ур-ра!..

Возле депо было много тише. Традиционный утренний променад заканчивался: бронзовые лошадки и человечки возвращались в вагоны, с которых ленивыми весенними дождями и не вошедшим еще в полную силу солнцем не была смыта роспись современных неандертальцев. Саша Лиговский запрыгивать в пульман не спешил – заложив руки за спину, он прохаживался по шпалам, бубня под нос «Гуси, гуси, га-га-га»... О Кутузове хочется сказать особенно. Он был «неожиданно резок» в разговоре с майором, настаивая на том, чтобы у дверей вагонов не было никакой охраны:

– А мне, голубчик, безразлично! Это вам не 1918 год, чтобы государей и их подданных на мушке держать. Охраняйте как хотите, а только нервы людям мотать нечего! Вот так, мил человек... Вы поняли меня?

Груша пошкрябал пальцами голову, говорившую о том, что постригавший майора цирюльник является большим поклонником большого тенниса, и согласился держать дистанцию. Расчувствовавшись, майор даже подарил генерал-фельдмаршалу фонарик. Светлейший принял его с благодарностью...

Утреннее солнце добавляло лиризма птичьему гомону и беспокойства бронзовому сердцу юноши, стоявшему в дверном проеме пульмана на часах – он следил за обстановкой снаружи. Внутри вагона Пушкин-Лиговский говорил товарищам об угрозе, нависшей над ними:

– Поймите меня правильно, господа, друзья, я не призываю отступить от идеи, лежащей в основе нашей акции. Нам не сладко, а гипсовым товарищам кратно хуже. Пионеры-герои, жизни свои отдавшие за свободу Отечества, забыты, разбиты, потеряны и мохом заросли. Мы обязательно отыщем способ доставки письма в Кремль. Однако сегодня, как я думаю, ситуация усложняется стремительно, прогибаясь под воздействием новых факторов. Думаю, пришло время активного им противостояния с нашей стороны. Скажите, не возникло ли у вас свежих ассоциаций в отношении таинственного «га» и чисел, стоящих напротив фамилий наших товарищей в этой чертовой бумаге майора? Ведь мог же я ошибиться в предположениях...

– По правде сказать, у меня... этих... не возникло, – крикнул со своего поста пыхтевший папирисой Кондратьев.

– Как жаль, что вам, комиссар, в учебе усидчивости недостает, – поставил педагогический диагноз Тарас Григорьевич.

– А что если это означает «Гильотина», сокращенно? Ва – Виселица, Рл – Расстрел, Са – Ссылка... – предположил Николай, отчего левый глаз Грибоедова устремился в потолок, а правый в пол. Ужас,

как выглядел Александр Сергеевич. Слава Богу, продолжалось это недолго.

– Вы знаете, сколько думаю над этим, а ни-че-го, кроме как «гектар», на ум нейдет, – признался мореплаватель и член-учредитель Русского географического общества. – Утопите меня, нич-его, кроме...

«И я так думаю», «А что же еще?» – слышалось отовсюду. – «Только вот с какой стороны его к этому присобачить?»

– Я рад. Я бесконечно рад, безумно, – живо откликнулся Александр Лиговский, – сие предположение разумно... Пardon!.. – извинился он, словно с подножки трамвая, соскакивая с ямбической стопы на «брусчатку прозы». – А знаете, я думаю, Николай Палыч «гильотиной» невероятно точно обрисовал перспективы не только Вазира нашего дорогого и Саньки с Чернышевским, но и наши тоже. Предлагаю порассуждать на примере комиссара Кондратьева. Вы не станете возражать, ваше комсомольское величество?

– Валя-яйте...

– Благодарю... Так вот. Садик, заметьте, без скамеек, чтобы не привыкли отдыхать в нем, на краю которого вдали от глаз установлен памятник нашему курилке, и вправду соответствует своей площадью одному гектару. Ну, там, копейка туда, копейка сюда. Место и-зу-ми-тель-но-е!.. Набережная Невы! Что от него пользы городу? Простите, я хотел сказать, чиновнику. Пустяк. Мало кто забредет сюда отдохнуть, выпить пива...

– ...и пописать, – добавил комиссар.

– А хоть бы и так, если приспичит, – защитил горожанина Пушкин. – Все одно туалета рядом нет... А если на этом месте построить бизнес-центр или Гранд-Отелище воздвигнуть?! Вот почему Саньку не желают фотографировать вместе со всеми. Его готовят похитить и...спрятать где-нибудь. Говоря простым языком, его исчезновение на руку не только муниципалам, но и оригиналам. Э... Тьфу ты, дявол...регионалам! – поправился Александр Сергеевич.

– Ну, до чего ж нехстати эта канитель, – раздосадованно изрек Владимир Владимирович, папираса которого летала из одного угла рта в другой, словно гвоздем приколотенная к языку. – Удочки надо смазывать отсюда, а то опоздаем спасти Гаврилыча. Если только его уже не украли и не спрятали...

– Во-о-от!! – воскликнул Саша Лиговский и, хлопнув себя по ляжкам, сделал сальто-мортале назад. – Восход в 5.47, долгота дня 15.20!.. Валечка, к 2100 приготовьте, пожалуйста, зеркальце! Я свое в Павловске на дискотэке раскокал...

– Ой, Сашенька? – забеспокоилась Вахрушева-Грибоедова. – Что вы намерены предпринять?

– Действовать! – сказал Александр и, достав из кармана пакет с неизвестным содержимым, ловко перебросил его «смотрителю сквера» с площади Искусств. – Саня, разложи по тысяче, чтобы не перемешивались. В 21.07 они мне понадобятся. – Вытащив из ящика замызганные куртку обходчика и картуз, Малэнький оделся, подмигнул Кондратьеву и выскользнул из вагона.

Сняв с пакета резинку и развернув прошлогодний номер «Советского спорта», «смотритель» вскинул брови и тут же услышал за спиной восторженное восклицание Достоевского: «Если все купюры сотенные, то здесь тысяч десять. Может, чуть меньше...». Доллары решительно требовали уважения к себе...

Обходя звенящие алюминиевыми ложками омовские кордоны, Пушкин пробирался к паровозному депо. Убедившись, что, несмотря на праздник, оно работает, он улыбнулся, удовлетворенный открытием, и еще раз потрепал задний карман брюк, проверяя наличие в нем одному ему известного содержимого.

– Что ж, потерпим до сумерек. Не долго осталось, – сказал он самому себе, поднялся из-за пригорка и отправился восвояси...

Глава 11. ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА. ПОДГОТОВКА К ОТЪЕЗДУ

Вернувшись из разведки, Пушкин попросил Кутузова организовать сбор с участием представителей соседних вагонов. Явились Лука Машкин и Борис Семенов, рабочий-путиловец со Средней Рогатки.

– Согласуем наши действия, – сказал разведчик. – Мне скоро уходить на дело, но пока я там валандаюсь, вы здесь все приготовьте. Что я имею в виду, – Александр Сергеевич вдруг состроил смешную физиономию капризника. – Фу ты, ну ты, лапти гнуты. Петр Алексеевич, Борис Николаевич, что вы курите? Ужас какой!.. Дымите куда-нибудь в сторону... Значит так – на правой передней рессоре нашего вагона рабочими оставлен шмат солидола. Смажьте колесики пульмановских дверей с левой стороны. Правые не нужно, пусть скрипят. Щеколды тоже смазать и установить так, чтобы их можно было открыть изнутри. Пока все понятно?

– Да, пока понятно... Пока все... Сделаем, – говорили члены штаба, однако Семенов спросил: – а на хрена?

– На хрена? – переспросил Пушкин. – Хороший вопрос, своевременный.

– Вот именно, – поддержали путиловца Петр Сенатский и Лермонтов.

– Слушайте сюда. Надеюсь, у меня не сорвется, а значит, в определенное время слева от нас остановится тепловоз. Встанет, что называется, дверь в дверь!

– Ноздря в ноздю! – не удержался Лука. – Понятно...

– Ну да, – Пушкин сощурил левый глаз. – Мы осторожно... открываем двери...

– ...левого борта... – аккуратно вставил Крузенштерн.

– ...и переходим из наших вагонов в те, что будут поданы, – закончил фразу Александр. – Наша задача не просто вернуться в Петербург, а не потерять при этом тех, над кем уже завис Дамоклов меч коммерциализации жизненного пространства. Воспользуемся заячьей техникой бега – набросаем петель на Великолукском либо на Пестовском направлении!.. – Они подискутировали еще немного, и тут Александр Сергеевич, разложив по карманам деньги, громко сказал: – Валенька, зеркальце!..

Когда он произнес эти слова, все повернулись в его сторону. Валентина подала зеркальце. Пушкин уселся у стола, достал из заднего кармана брюк небольшой пакетик и развернул его. В нем находился медицинский пластырь из итальянского города Милана от Сеттимо Миланезе с улицы Вольга, 23. Поглядывая в зеркальце, Лиговский стал кусочки пластыря телесного цвета один за другим накладывать на лицо и при этом мурлыкать алябевского «Соловья». Подергав носом, щеками и убрав остаток пластыря в карман, он повернулся к товарищам...

– Ма-а-а-ма... – вскрикнула Вахрушева-Грибоедова, падая в руки их светлости Барклая, что и заставило того закрыть рот. Остальные сделать это еще не успели...

– Саша, – выдохнул «печальник русского народа», – а деньги откуда?..

– Вот тебе раз!.. Второй год уже, как я занимаюсь частным извозом по ночам. «Нива» моя в Лиговском переулке стоит. П 1799 АС. На днях автобус приобрел – «Волжанин». Большой трехосный. По осени кэ-э-э умчимся в Чудово уток стрелять. – Объяснился Александр и пустил по рукам водительское удостоверение. Когда оно вместе с фонариком дошло до Кондратьева, тот осел на пол со словами:

– Мама дорогая! Вот это я понимаю!.. Теперя, даже если выгонят, в шофера пойду!..

Глава 12. ПОЗДРАВЛЕНИЕ КРУЗЕНШТЕРНА

Машинист Владимир Арсеньев вышел из депо с ведром, полным металлических огрызков. Он хорошо ориентировался при тусклом свете фонарей и быстро оказался около контейнера для лома черного металла. Из-за старого тополя его окликнули: «Эй, приятель! Плачу сто баксов, если скажешь, есть ли в вашем депо свободные, желающие хорошо заработать машинисты, тепловоз и лихая тройка пустых вагонов». Арсеньев сказал, что он и есть «тот самый» машинист. Из-за дерева произнесли: «Держи сотку». Арсеньев принял из руки «коллеги» купюру. «Слушай, есть халтура, – сказал путеец-незнакомец. – На-

до перегнать в Петербург на завод «Монумент-скульптура» бронзовый лом. Тысяча долларов сейчас, плюс две по прибытии в Питер».

Выскользнув из рук машиниста, ведро с лязгом упало на землю...

Утром следующего дня – около десяти часов – майор Груша вместе с новоиспеченным «фотокорреспондентом» Василидзе вышагивали вдоль охраняемого объекта, укоряя дворянское сословие за его богомную привычку долго валяться в постели. В десять пятнадцать омоновское терпенье лопнуло, и они принялись отодвигать скрипучую дверь пульмана. Отодвинули. И тут майору в лицо брызнул жиденький поток света. Он увидел свой собственный фонарик, аккумулятор которого, похоже, основательно подсел. Фонарик стоял прямо перед его носом на полу, прижимая собою лист бумаги. Груша выключил его, взял лист и прочитал:

«Доброе утро, майор!

9 Мая не за горами. Поздравляю Вас и всех русских солдат с наступающим праздником!..

Старший караула адмирал Крузенштерн.

3 часа 40 минут по Мытищинскому,

1 час 40 минут по Гринвичу».

Просунув голову внутрь, майор крутнул ею влево-вправо. Вагон был пуст...

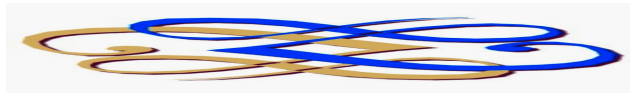
Ботало - колокольчик на шее коровы.

«Писатель» - вор, режущий карманы бритвой или другим острым предметом.

Большой человек Европы - прозвище, полученное Николаем Первым в период проведения Крымской кампании 1855 года.

Щипач - карманный вор.

Конец второй части.



СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Алексей ЦВЕТКОВ

БЕГЕМОТЫ

Без печали и заботы,
Вроде мелких лягушат,
В нашей луже бегемоты
После дождика кишат.

Сушат крылышки в полете,
Бьют хвостами по воде,
Хорошо у нас в болоте,
Лучше не было нигде!

А когда на темных елях
Вспыхнут зимние огни,
В торфяных своих постелях
До весны заснут они.

ВЕРБЛЮД

Льется желтый порошок
По барханной круче.
Быть горбатым хорошо,
А двугорбым – лучше.

Степь-пустыня широка,
Без запасов худо.
Два мохнатых рюкзака
На спине верблюда.
Там припрятана еда –
Колбаса, селедка,
Минеральная вода,
Инструменты для труда
И зубная щетка.

ПОНИ

Может, он такой от сырости,
 Как ольха из топких мест?
 Может, он не может вырасти,
 Потому что мало ест?
 Вот это вернее всего!
 Давайте накормим его –
 Картошкой, редиской, морковкой,
 Печеньем с цветной упаковкой,
 Травой и цветами с газона –

Пусть будет размером с бизона!
 Так проходит день за днем целый год,
 Только пони все равно не растет.
 Может, он не растет потому,
 Что расти неприятно ему?
 Он хочет остаться ребенком,
 Мохнатым смешным жеребенком,
 Чтoб дети, идущие спать,
 С собой его брали в кровать.

Вера МАХМУДОВА**Я ХУДОЖНИК**

Написать решил картину!
 Призадумался... и вдруг
 Увидал, что паутину
 Надо мной плетет паук.
 Черной дедушкиной шляпой
 Защитил себя, как мог,
 А котенок краски лапой
 Размешал – и наутек!
 Не беда – вода и мыло
 Смоют все следы с ковра.
 Ну, откуда знать мне было,
 Что в ведре была дыра?
 Я решил верхом на швабре
 Этот водный взять барьер,
 Но на нас напал мой храбрый,
 Мой веселый фокстерьер.
 После долгой бурной схватки
 Голова полна идей!
 Кисть нашел, но чем-то сладким
 Потянуло из дверей.
 Нет, не дам себе поблажки,
 Хоть поесть всегда готов,
 А зашью мою рубашку,
 Жертву белевых кльков,
 Паука сниму со шляпы –
 Удирай, прилежный ткач!
 Вымою котенку лапы –
 Потерпи, малыш, не плачь.
 Серой тряпкой-замарашкой
 В коридоре пол протру.
 Да... Искусство – это тяжкий,
 Но такой не скучный труд.
 Даже если помечтаю
 В мягком кресле пять минут,
 То меня, я точно знаю,
 Все художники поймут.

ГДЕ ЖЕ МОСТИК?

У ручья мой кот сидит –
 Серый хвостик!
 И во все глаза глядит –
 Где же мостик?

ТРУДНЫЙ ВОПРОС

Черный котенок прыгнул на стул,
 Знаком вопроса хвост изогнул:

«В книжку клевать не устала ли носом?
 Может быть, мы поиграем в вопросы?»

Если согласна, ответь поскорей,
 Сколько речных окуньков и ершей

Мама твоя мне дала на обед?
 Что загрустила? Не знаешь ответ?

Съел твой ответ я с большим аппетитом!
 И мой вопрос остается открытым».

В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Под ногами пол дрожит – мчится электричка.
 На руках у мамы спит младшая сестричка;

А в большой корзине кот-мурлыка плачет –
 Он не понимает, что все это значит?

Зайчики по стеклам солнечные скачут...
 Не волнуйся, глупый, нас везут на дачу.

Там нас встретит папа –
 потерпи немножко! –
 И мои устали без движенья ножки.

Там в пушистых шубках – камыши у речки,
 Там из рук печенье кушают овечки;

Там в капустных листьях
 мы найдем котенка,
 Рыжего, смешного, как у нас Аленка.

Не кричи, мне очень за тебя неловко.
 Скоро, скоро будет наша остановка!

Под ногами пол дрожит – мчится электричка.
 Сзади дядя громко спит –
 странная привычка.



ГОСТИНАЯ «ИС»

Ираида ЛЕГКАЯ (США)

Из сборника «ПОДЗЕМНАЯ РЕКА» (Нью-Йорк, 1999 год)

ЯБЛОКО

Слова большие словно яблоки
Н.Заболоцкий

Ничего нет на свете
Румяней и проще
Сорванного с ветки
В райской роще
Сорванного с дерева
Что всех зеленее
Сорванного Евой
Соблазненной змеем

* * *

Этот город фонтанов
И веселой воды
Завтра встану рано
Поднимусь как дым
Потянусь над парком
Покачаюсь на ветках
Завтра будет жарко
Уже не весна, а лето
Уже не весна, а все же
Ловлю глазами и кожей
Всех на тебя похожих

И нет на тебя похожих

* * *

Покачиваясь на грани
Безграмотности и рая
Я знаю что есть другая
Страна
 Далеко от рая
Который в себе скрываем

КАК У КРАСНЫХ ВОРОТ

А там отпаивали
Упавших пьяниц
Дерзок души разлив
И как в зверинце
Ужаленный иностранец
Голову в бок свалил

Спущены своры
Дорог голодных
Обличья сусальные
Встречает столица
Звон пасхальный
Патриархальный
Малиной и глиною
Лижет лица
И веселится
Красный платочек
Над заплаканным платьем
Из синего ситца

* * *

Я тебя не ждала не гадала
Я тебя забуду не запомнив
Я тебя не назову судьбою
Так
 Сижу и говорю с тобою
Не любовь
 Намек на неразрывность
Где не различить от тела тени
Где колени стынут от полынной
Полночи
 Где простыни и лень
Холодней руки не протянула
Никому еще
 Ушла как утонула
Черной каплей в желтой бочке меда
Птицей улетевшей в море

* * *

На перекрестке замирая
И вздрагивая
 Где следы
Вдруг видишь
В сером небе стая
Угля чернее и беды
Чернее ночи воскресает
Вся птичья стая
 Но увы
Из рук скользит и тает тает
Из скобок сонной головы
И только дождь тревожный
Мягкий и надоедливый чуть-чуть
С зонта сползает по плечу



Наталья АРТЕМЕНКОВА (Донецк)

* * *

Знаете, Жизнь, я устала от Ваших причуд:
 Вечных измен-возвращений –
 жестоких и странных...
 Я не хочу расставаться совсем! Мне бы только чуть-чуть
 Передохнуть, залатать бы прорехи да вылечить раны.

Наш с Вами бурный роман не подвластен словам –
 Клятвы, зароки, стенанья не дорого стоят...
 Слушайте, Жизнь! Я люблю Вас! Я предана Вам!
 Что вам угодно еще за минуту покоя?

* * *

Снов силуэты снуют по остывшей стене...
 Завтра не вызреют злаки заботы и зла:
 Ясная ягода яда явилась в вине,
 Прихоти приторный привкус питью придала.

Кружится красное кружево – крик костерка.
 Ветрено. Вертится вечера веретено.
 Ровный размеренный ритм разрушает рука –
 В нежную внешность вонзится виною вино.

Робкая ревность растает растением в костре,
 Прах переписки провалы дворов приютят...
 Меркнет мозаика мыслей. В мирской мишуре
 Вам – унаследовать утренний ужас утрат.

* * *

Который день одно и тоже –
 Дождь тяжелит плащи прохожих,
 Полощет плиты площадей.
 Все в чем-то меж собою схожи:
 Обличья, лица, лики, рожи,
 Зонты – и все как у людей.
 Дожди. Но дома отсидеться
 Едва ли существует средство,
 Когда при деле и здоров.
 И ежедневно, с малолетства,
 Кто раздраженье, кто кокетство,
 Привносим в свалку городов.

Чтоб выжить нужно быть колючим!
 Ведь жизнь – борьба за место в куче,
 А – на войне, как на войне!
 И вот – дожди! Прекрасный случай,
 Отгородясь зонтом от тучи,
 Побывать с собой наедине!

* * *

Облегчаю муку расставанья,
 Но не уменьшаю их число –
 Изучаю разочарованье
 Как науку или ремесло.

Знания коплю как сбереженья,
 Чтобы в нужный час узнать суметь –
 Смертное, но! – головокруженье
 Не принять за истинную смерть,

Чтоб не подниматься с первым светом
 Словно на свиданье к палачу...
 Вот за это знанье, вот за это
 Я учителям своим плачу!

Только мне нести в себе не легче
 Душу – опустевшую суму...
 Я боюсь понять в минуту встречи,
 Что всю жизнь училась не тому.



Дорогой читатель, если ты не впервые держишь в руках Санкт-Петербургский журнал «Изыщная словесность», то наверняка сумел обратить внимание на то, что он, при формировании каждого номера, не только опирается на работы авторов, составляющих костяк издания, но и находится в постоянном поиске новых имен.

Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию работы молодых поэтов, студентов Московского Литературного института имени А.М. Горького. Они молоды, амбициозны, не похожи друг на друга, и это, несомненно, позволяет нам с тобой предположить, что поэтическая палитра современной России достаточно привлекательна и у нее хорошее будущее. Пожелаем им творческих успехов!

Редколлегия «ИС»

Роман НЕНАШЕВ (Самара)

* * *

Война случится, и, положим, в среду.
Положим, что Шестая Мировая.
И я, пожалуй, загодя уеду,
Дождавшись тридцать первого трамвая.
И порох ляжет запахом на ели.
И по команде, скажем, сисадмина
Натаканные кокер-спаниели
Найдут в подвале залежь кетамина.
И будет раздаваться канонада,
И цвета хаки мчат велосипеды,
И мордами поблескивать торпеды,
Всплывая пузырьками лимонада.
И два матроса – Павел и Ерема,
Как хищники удачливы и ловки,
Достанут из оконного проема
Гранаты и тяжелые винтовки.
И город лопнет на две половины
И истины, что будут безусловны:
Одни, допустим, в знании невинны;
Другие – по незнанию виновны...
И город станет строить баррикады
И запастись йодом и бинтами.
А в пятницу сквозь облако блокады,
Маяча разноцветными бантами,
Пройдет, допустим, девочка живая
Походкой неуверенной и шаткой.
И вслед ей, начиненная брусчаткой,
Пещерным эхом ахнет мостовая.
И город, сев на антидепрессанты,
Украсит транспарантами аллеи.
И с неба будут падать диверсанты,
Как листья с пожелтевших тополей...

ИЗ ДНЕВНИКА

- 17.12. Тошнило от обилия стихов.
03.01. В глазах стояла рябь от серпантина.
Был Новый год.

* * *

Многим людям я нужен.
Меня многие ждут.
В обрамлении кружев
Поджидает уют.

Только все еще молод
И иду на излом –
Сразу чувствую холод,
Лишь повеет теплом.

- 17.01. ...Приятель Петухов
Сказал, что я последняя скотина.
Наверно прав... Да Бог с ним, проживу
И без его унылого бельканто.

23.02. Когда по праздникам летаешь наяву –
Ты «вещь в себе» по мнению И.Канта.
Ну, пусть не вещь, пусть мелкая вещица
Ценой в окисленный изломанный пятак,
Который молодая продавщица
Дала на сдачу. Но – пусть будет так.

27.02. Я не люблю людей, чьи имена –
Пустые звуки модного покроя,
И мне не нравится высокая цена
За звание народного героя.

01.03. Я думаю, явленье энуреза
И вовсе не постыдное, когда
Наводят на тебя зрачок обреза
И говорят: «Беги!», но иногда
Рискуешь. И становишься не целью,
Но пулей, и пружиной, и бойком...

08.03. Из большинства подверженных веселью,
Мне симпатичны те, кто босиком
И нараспев несет свои скрижали
С Синайских гор...

12.03. Предчувствия собак
Оправданны – с утра подорожали
Вино и водка, спички и табак.

26.03. Мне кажется, что в юморе - серьезно -
Есть панацея от семи грехов.

02.04. Вернулся от соседки. Было поздно.

15.04. Опять звонил приятель Петухов.

21.04. На днях клеивал разорванные ласты.

28.04. Закат похож на медный купорос.

01.05. Как все-таки мешаются балласты,
Когда летаешь. Наяву. Всерьез...

Андрей КУХНО (Самара)

Убегаю подальше,
Сторонюсь доброты.
Опасаясь не фальши,
А общенья на «ты».

Не затерян, не брошен.
И не враг никому.
Но, как дикая лошадь,
Хлеб из рук не возьму.

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ

Сто грамм разбавленного солнца
 Зима плеснет через оконце –
 Как мусульманство многоженцу,
 Как инвалиду сладкий сон.
 И, хлорофиллом наливаясь,
 Почует комнатная завязь
 Предметов деревянных зависть
 Из-под налаченных кальсон.

Меня оттаскивать от боли
 Проснутся две домашних моли,
 Спрошу, смеясь: «Влюбились, что ли,
 В мое пожившее пальто?»
 Пальто поношенное в транс...
 В промеждумолево пространство
 Не стану думать о коварстве
 И не убью их ни за что.

Две жизни в качестве подарка.
 Покину позднего Ремарка.

Природа комнатного парка –
 Грядущей оттепели знак.
 Природу тянет веселиться.
 Так пусть летают по гробнице
 Две очень маленькие птицы.
 Хотя бы так. Хотя бы так.

ЗАГАДКА

Тузик Жучку пригласил
 На кусочек хлеба.
 Тузик Жучку угостил,
 А потом потребовал.

Мол, сударыня, прошу.
 Мол, не погнушайтесь.
 А чего – и не скажу.
 Сами догадайтесь.

Отгадка: Приходить еще.



Алексей БОЛДЫРЕВ (г. Павловск, Воронежской обл.)

ВЕСНА

Кот рад весне,
 Бродяга снег прячется по углам;
 Солнце цветет в апрельский день,
 Сияет ярче, чем огни реклам.

Пахнет земля,
 Лелея в своем чреве семя
 Каплями березового сока,
 Будто бы в решето, бежит время.

Квартиры дышат форточками,
 Ветер играет занавесками,
 И в окна карточных домов
 Свет тянется от солнца тонкой лескою.

Весна несет слова любви,
 Краснеют девушки и светофоры,
 Туман, как сигаретный дым.

Как сигаретный дым
 полночные мечты и разговоры.

А дальше – все длиннее дни
 И в пику все смелее мини-юбки.
 «Весна... пришла весна» -
 Сказал мне утром тихий голос
 из телефонной трубки.

ОН ВИДЕЛ...

Он видел
 Глаза той самой красивой,
 Видел
 Кроваво-красный цветок Хиросимы,
 Видел
 Пограничные столбы России,
 Видел людей сильных
 И видел слабых,
 Но в роли мессии.
 Их голоса достали –
 Даже медали из позолоченной стали
 Звенеть устали.
 Теперь он слеп,
 По тротуару идет
 Заработать себе на хлеб.
 А на глазах очки черные,
 Застывшие зрачки, как вороны,
 Взгляд в прошлое –
 Как шаг в сторону...

ПРОСТУДА, ЗАРАЗА!

Не хочется говорить и слушать,
 В теле – слабость, на лбу – испарина,
 А за окном цветет яблоня
 Улыбкой Джоконды или Гагарина.

Дождь, который обычно радует,
 Неприятен, как плевок в лицо.
 Рифма не идет, все примитивно;
 Как любовь-морковь, кольцо-лицо.

Диван. Кроссворд. Зоценко.
 Ночь ложится на ботинки ваксой.
 Новости, чай с лимоном и спать,
 А завтра – буду пить пиво с Максом!

Снежана ХОЛОДОВА (Беларусь)

МЕТАМОРФИКА

Гиперборейская равнина
Бугрится мертвым исполином.
Торчат раздробленные кости
На сотни тысяч единиц,
И в них вгрызаются устало
Койоты, кондоры, шакалы.
Не видно ни тоски, ни злости
В расщелинах пустых глазниц.

Пуская корни в рыхлой туше,
Богатой порослью глушит
Простые русские ромашки
Кроваво-красный дикий мак.
Из каждой щели буйно лезет
Голубоватой массой плесень.
За грех непослушанья тяжкий
Стреляют выживших собак.

На теплых пляжах веселится
Наемный массовый убийца.
Заказчик тупо и глумливо
В ухмылке корчит гнусный рот.
Развившийся в усопшем теле,
Как многие того хотели,
Рождается неторопливо
Экономический урод.

Но первоцвет уже растет,
Пытаясь оживить руины.

КИБЕР

Моя душа из стали и бетона
Как монолит стоит, застыв на век.
Стихает гул моторов монотонный,
И шестеренки замедляют бег.

Все замерло в груди. Все неподвижно.
Спокойствия фундамент нерушим.
Последним механизмом еле слышно
Поскрипывает маятник души.

Холодный ясный блеск стальных деталей
Заполнил лабиринты плоскостей,
И ленты нержавеющей спирали
Томятся в неподвижности своей.

Последний выдох перед замираньем.
На сердце механическом покоей.
Холодный корпус спит могильным камнем.
Я жду, когда наступит век другой...



Георгий РАБЗЕТ (Санкт-Петербург)

ДОКТОРУ ВАХРУШЕВОЙ В.

ANAMNESIS № 2

Опустошая клизмы, шприцы,
Пугая близких и родню,
Объев две питерских больницы,
Провел я лето день ко дню...

Уж небо осенью дышало,
Менялся месяца анфас.
Забывать бы лето не мешало,
Когда бы я не встретил
ВАС...

И, теплым голосом сражен,
Я, старый питерский пижон,
Все образ Ваш лелею, нежу...
Лет двадцать словно бы и не жил!..

Теперь, тетрадами затарясь,
К Вам письма страстные пишу,
Столичным воздухом дышу,
С весны в студенчество ударясь;

Презрев недуги возрастные,
Брожу – платочки расписные
Ищу, – больной ногой скриплю
И Вас,
как юноша,
люблю!..

Сентябрь 2006 года, Москва.

ПРОЩАНИЕ С ГОРОДКОМ КРАСНОЕ СЕЛО

Тихий норовом, ликом не строгий,
Он стоит здесь не тысячу лет,
Словно яблок ведро при дороге –
Ничего в нем волшебного нет.

Вот уж листья почти облетели...
Эка невидаль! Осень – и пусть.
В небе чайки, в кустах свиристели,
На душе моей сладкая грусть.

В сердце колко...
Кусочками хлеба
«Воробьиных» кормлю и грущу,
И, уставившись в серое небо,
Петербургскую чайку ищу...

Ладной церковки шпиль впечатляет!
Только мне не снести головы...
Бог – молчит,
Дудергофка – петляет,
Я – люблю...

только Вас!
Только Вы...

Октябрь 2006 года.

НА КАНАЛЕ ГРИБОЕДОВА...

Не легка стезя поэта –
Не сподобился пока.

Над каналом Грибоедова
Извивается строка...
Только все ей не измыслиться,
Потрафляя красоте,
Не согнуться коромыслицем,
Вроде мостика,
К мечте
Давешней,
Почти ребяческой,
Не сплестись в тугую нить,
Чтоб легко соединить
Нас с тобой –
Как мост Подьяческий
Две гранитные стены
С замутившимися водами,
С катерами, теплоходами,
Две слободских стороны...

И теперь сиди, раскладывай
«Дам», «валетов» на столе,
Гладь морщины на челе,
Свечи жги да все разгадывай:
«Что за тайна скрыта в темени
Черной медленной воды?
Иль взгрустнулось не ко времени
С явным признаком беды...»

Октябрь 2006 года.

ОСЕНЬ

Который год на сердце осень –
Шуршат и кружатся слова
Который год...
Но ты не спросишь,
Чей образ я нарисовал.

Спроси!..
Я все тебе открою
И каждый лист переверну.
Не обманув тебя игрою,
Я все долги тебе верну
И отыщу иные краски
И подберу тебе кольцо...
Как я устал от этой маски,
Стянувшей мокрое лицо!..
Живя надеждой новых вёсен,
За февралем готов лететь...
Вот только
осень в сердце,
осень,
Увы,
никак не одолеть...

13 ноября 2006 года.

МОСКОВСКАЯ НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ

Плачет сердце – одолели дрёмушки,
Воет ветер, плещется вода...
В Петербурге снятся мне Черёмушки,
Как в Москве не снились ни-ког-да!

Ты прости меня седого, пьяного,
Не кори поэта-беглеца.
Я с души, как с пальца безымянного,
Не сниму Садового кольца.

Скоро, скоро, словом, словно бритовкой,
В дрёме наигравшись, я усну...
Там неосторожно Малой Дмитровкой
Душу, словно вены, полосну,

Отыщу во сне слова неспелые,
Подниму с земли, отмою кровь
И, рифмуя с ней свою любовь,
Ткнусь лицом в твои бутоны белые...

16 ноября 2006 года.



Петр ОБРАЗЦОВ (Москва)

ЗАРИСОВКИ**БРАГ**

Рожать повезли не в Ямбург, а в соседнее село Никольское к чудесному Якову Ильичу, и тот не подвел – мама собралась возвращаться домой чуть не на следующий день. Мальчишка орал как положено, отлично брал грудь и тяжелел на глазах. Отец в честь первенца закатил банкет на сто персон, прибывших из Петербурга на специальном поезде, и напоил три ближние деревни.

Маленький Николай в холщовой курточке катался на собственном пони, бегал купаться с деревенскими на пруд и мелкую Ямку, научился читать и ежедневно просматривал «Ведомости», особенно интересуясь сводками

с Трансваальского фронта. В лето перед гимназией он впервые влюбился в дочку гувернантки, которая вместе с Изольдой Генриховной жила в малом доме, но в конце августа пришлось уехать в Петербург.

К пятому классу Коленька уже отлично говорил с сыном французского атташе на языке Вольтера, именно о Вольтере. Парой лет позже он чуть не сбежал из дому, поругавшись с отцом по поводу университетских волнений. Началась война, отца призвали, но не в действующую, а только в Инженерный корпус – нужно было тянуть ветку от Либавской дороги. Николай окончил гимназию с похвальным листом, но было совершенно непо-

нятно – поступать ли в Высшее техническое, или все же в Университет на французскую филологию. Впрочем, все планы пришлось отставить, в городе было очень неспокойно и папа посоветовал переждать год под Ямбургом.

Их часть напоролась на батарею красных, и отсюда только взяли такие меткие ребята в этой глуши. Отступали к границе, но и там уже был заслон. Два офицера умерли от тифа, а может – просто от холода, но Николаю Сергеевичу удалось прорваться в город и затаиться у Оленьки. Все же проблему надо было решать кардинально, надежды на английский десант растаяли, большевики дошли уже до Сибири. На рынке Ольга выменяла еще довоенную бутылку шутовского коньяка на неплохие, скромные документы. И к началу НЭПа в Москве появился молодой гражданин Николай Сергеевич Васин, тут же поступивший на бухгалтерские курсы.

Дело «Промпартии» просто оголило третий и четвертый этажи Госплана, работников катастрофически не хватало. Тихий, излишне предупредительный и слишком безотказный Васин не очень нравился начальнику Отдела, но что делать? Так Николай Сергеевич попал на вооружение и боеприпасы. Работать приходилось много. Хозяин каждый месяц увеличивал задания по артиллерии и самолетам, хорошо хоть мало понимал в танках (к ним в библиотеку поступал «Милитари ньюс», и Васин уже давно понял, что Варшаву – а если повезет, то и Москву, – будет брать не кавалерия).

После войны с белофиннами его впервые послали за границу в составе делегации на крупновские заводы. Жена и сын, разумеется, остались заложниками в Москве, в новой квартире на Сretenском бульваре, но Николай Сергеевич и не собирался оставаться в Германии. Умершая в холодном малом доме мама, расстрелянный на проведенной им же ветке отец, осколок в ноге и – и речка Ямка, в конце концов, и тропинка через лес... План уже созрел, и возможности появились самые удачные, недаром он был первым по химии и алгебраическим уравнениям. Тем более, что после разговоров с немецкими сметчиками и инженерами Николай Сергеевич понял: война начнется самое позднее в 42-м. Он улыбнулся – как же трудно было изображать плохой немецкий!

Задание по марганцовистой стали потребовали сдать не позднее среды, а потом перенесли на вторник. Чуть не сто страниц, гигантские колонки таблиц, расчет по каждому параметру. Новое месторождение в Казахстане – отдельные выкладки с учетом непривычного состава руды. Это и хорошо, подумал Коленька, вот тут-то мы и вернем. И вернулся – из нолика так легко делается девятка! При второй перепечатке еще и повезло, дура-машинистка пропустила цифру в температуре плавкости, и внимательный Васин устроил ей при всех показательный разнос. После даже пришлось отмаливать машинистку перед Главным, а то он собрался ее чуть не посадить. Девятка под это дело прошла без заминки.

Разумеется, ему дали бронь. Наслаждаясь сводками Информбюро, Николай Сергеевич до утра просиживал над бумагами, отказался от эвакуации (но семью отпустил) и получил повышение – бюрократия действовала даже во время Южновского прорыва Гудериана. У него болели глаза, он начал путаться в расчетах, а однажды забыл на столе «Справочник по составу сталей» и вынужден был врать Главному, что это оставил тот кретин из Магнитогорска. К летнему наступлению на Сталинград и Майкоп завгруппой по бронесталам Николай Сергеевич отработал уже три танковых завода, а главное – оба мартеновских цеха в Нижнем Тагиле.

– Этого не может быть! – бормотал герр Фридштейн, глядя сквозь башню новенькой подбитой тридцатьчет-

верки. – Я знаю русских металлургов, я их сам учил еще в 31-м, и потом, в 39-м! У них была прекрасная сталь...

Снаряд, попавший в танк, пробил не просто лобовую броню, а всю башню и вышел с другой стороны, почему-то не взорвавшись по дороге. Такой скорости продвижения к Волге у них еще никогда не было – за день проходили по семьдесят километров, при минимальных потерях. Русские танки вспыхивали как нюрнбергские фейерверки, иногда для интереса стреляли даже не бронебойными – и все равно, одного попадания хватало даже на тяжелые «КВ».

Расследование на Урале привело к опасным результатам. Похоже, где-то засел настоящий вредитель, не липовый для НКВДэшной галочки. Состав стали, утвержденный НИИ им. Бардина и тремя военными институтами, проверенный тысячи раз на полигоне – был изменен самым уничтожительным образом. В сущности, это была уже не марганцовистая сталь, а что-то совершенно непотребное, годящееся разве лишь на зажигалки. Конечно, можно было бы расстрелять всю цепочку, но, во-первых, она была слишком уж длинной, и, во-вторых, где вы были раньше, а не надо ли и вас по тому же адресу?

Николай Сергеевич скоропостижно умер, подхватив вирусную ангину в феврале 43-го. Тридцатьчетверки, оказавшиеся лучшими танками II Мировой войны, победоносно разворотили всю берлинскую брусчатку. Его сын, полковник инженерных войск Васин, благополучно доживает на даче в Малаховке, иногда показывая отставным коллегам военные награды штатского отца, в том числе даже за Сталинград.

В музее Советской Армии хранится трофей – узел из стального прута толщиной в руку, символизирующий тесную связь германских промышленников и генералитета. Говорят, немцы сделали узел из брони наших танков.

Если бы кто-то из специалистов догадался сделать спектральный анализ этой стали, он был бы весьма удивлен.

ЖИЗНЬ Ё

Буквы Ё рождаются совсем маленькими, похожими на своих двоюродных сестричек Е и вовсе без точек. Только годам к трем у них начинает чесаться темечко, а к сентябрьскому Празднику правописания вырастают маленькие рожки с круглыми шишечками. Потом ножки у шишечек утоньшаются и становятся практически не видны. В шесть лет ёшек отправляют в школу.

Учатся они долго, до пяти лет. И нечему удивляться: нужно выучить, как аккуратно встать перед важной буквой Ж и получить симпатичного зверька. А то иногда противный и-краткий Й пытается влезть на это место, прихватив с собой круглую дуру О. Нужно не впустить сестрицу Е в слово ВСЁ, а то оно станет одушевленным предметом ВСЕ – а их и так куда девать. Очень важно проследить, чтобы глупый ОСЁЛ вел себя правильно, а то недавно из-за него ОСЕЛ целый дом на Большой Дмитровке. И в яму провалился джип помощника Генерального прокурора. Выучить ёшкам нужно так много!

Но и закончив школу, бедным Ё приходится нелегко. Их все время путают с сестрицами, даже просто игнорируют, а на клавиатуре вообще ставят в верхний левый угол, как провинившихся первоклашек. И даже не хотят обозначить на клавише. После Октябрьской революции наших Ёх просто отменили, и им пришлось скрываться в старых словарях, а многие были вынуждены эмигрировать в Прагу и Париж.

Сейчас стало полегче. Очень многие писатели полюбили ёшек и требуют от издателей их полной легализации. Хуже другое – лишь в одном-единственном слове, называть которое вовсе не хочется, даже самый последний бомж не делает ни одной ошибки и использует именно Ё.

ВЕЩЬ В СЕБЕ

Вещь жила трудной коммунальной жизнью. Проходя по коридору, ее все время задевал инженер закрытого завода Петухов, неизменно восклицая: «А, шпindelь обронный!» Вещь не обижалась, считая это похвалой. Быстрорастущий школьник Веня с каждым годом бил по ней кулаком все сильнее, и вещь радовалась, что может ответить ему густеющим басом. Тетка Полина время от времени внимательно смотрела на нее, но так ни к какой идее об использовании не пришла. Иногда в коридор забредали молодожены, целовались и радостно хихикали, показывая на нее пальцем. Потом все разъехались, а одинокая вещь так и осталась висеть на гвоздике.

Дом простоял в разрухе до самой приватизации. Летом подъехали два джипа, и важный тип в двубортном пиджаке осмотрел уже изрядно постаревшую вещь. «Зачем это здесь?» – спросил он жэковского зрителя. – «Всегда здесь висела...» – ответил выросший Вениамин и стукнул по вещи грязным кулаком. Вещь благодарно и гулко ответила. – «Ладно, берем», – сообщил пиджак и уехал оформляться.

Делавшие евроремонт хохлушки смотрели на вещь с ненавистью, но тронуть не посмели, обошли штукатуркой вокруг, а гвоздь покрасили под серебро. Двубортный

пиджак привез для вещи после ремонта изящный итальянский чехол. По ночам она мирно посапывала в хорошей коже, а днем, гордо расправив фурнитуру, переругивалась с охраной.

«Кто же я на самом деле? – иногда думала вещь, никогда не читавшая Канта. – Для чего я приспособлена, в чем смысл моего существования?»

Ответ, разумеется, пришел неожиданно. Новый хозяин особняка приказал выкинуть продырявленный в нескольких местах двубортный пиджак и велел Веньке-смотрителю показать помещение. Увидев ее, он благоговейно сказал: «Это Вещь! Я мечтал о ней с детства!» – и властной рукой снял вещь с гвоздя. Вениамин хотел было стукнуть по ней для демонстрации, но хозяин щелкнул Веньку железным пальцем в лоб, и смотритель упал. Он сильно постарел, теперь ему хватало каких-то стаграмм.

Для Вещи наняли массажистку, преподавателя литературы и французского, личного дизайнера и тренера по каратэ. На содержание Вещи у хозяина уходит до двухсот долларов в неделю, даже больше, чем на сына-наркомана. Иногда хозяин берет ее с собой в баню и хватается перед голыми девками, но Вещь не обижается – ведь и вправду есть чем гордиться!

Единственное, чего она до сих пор не понимает: как это ее угораздило очутиться в Кропоткинском переулке? Почему она не живет на родине, в зеленом городе Кенигсберге?

Но хозяин, хоть и с незаконченным средним образованием, предусмотрительно прячет от нее учебник истории XX века.



Журнал читают в странах ближнего и дальнего зарубежья.
А также в городах России – **Москве, Калуге, Вологде, Перми,
Оренбурге, Череповце, Волгограде, Юхнове**

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ № 8
СПб, 2007 г.

Издание некоммерческое.

Зарегистрирован Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным Управлением Министерства Российской Федерации по делам печати, телевидения и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № 2-5086 от 16 марта 2001 года.

Адрес редакции: Санкт-Петербург, Б. Конюшенная д. 29, 4-й этаж.
Главный художник – Юрий Сорокин
Редактор-корректор – Людмила Бубнова
Компьютерный набор, верстка и техническое редактирование – Анатолий Баранов

Сдано в набор: октябрь 2006 г.
Подписано в печать: 30.11.2006 г.
Тираж 250 экз.
Заказ № _____
Отпечатан в типографии: СПб, пр. Гагарина д. 65.